Ахматова

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге собраны отрывки из воспоминаний друзей, родных и близких А. А. Ахматовой людей, ее собственные дневниковые записи — те документальные свидетельства, что позволяют по-новому увидеть одного из самых крупных поэтов XX столетия.

- Павел Фокин
  - «Я стала песней и судьбой»
  - Личность
    - Облик
    - Голос
    - Характер
    - Творчество
    - Свойства ума и мышления
    - Собеседница
    - Интересы, увлечения, пристрастия
    - Вера
    - Привычки, обычаи, причуды
    - Отношение к еде
    - Адреса
    - Здоровье
    - Женщина
  - В кругу семьи
    - Предки
    - Родители
    - Николай Степанович Гумилёв, первый муж
    - Владимир Казимирович Шилейко, второй муж
    - Николай Николаевич Пунин, третий муж
    - Сын Лев Николаевич Гумилёв. Трагедия отчуждения
  - На Парнасе
    - Данте
    - Пушкин
    - Блок
    - Мандельштам
    - Цветаева
    - Пастернак
    - Бродский
    - Младшие современники
  - Жизнь и судьба
    - Детство и отрочество

        - «Из логова змиева, из города Киева…»
        - В Серебряном веке
        - Слепнёво
        - 1930-е. «Я была тогда с моим народом…»
        - «Реквием»
        - 1941–1944. Война. В эвакуации. Ташкент
        - «Поэма без героя»
        - 1946. Триумф и отчаяние
        - «Беспокойная старость»
        - «Легендарная Ордынка»
        - Будка
        - 1964. Европейское признание
        - 1965. Оксфордская мантия
        - 1965. Свидание с Парижем
        - 1966. Последние дни
        - Прощание
        - Златоустая Анна Всея Руси
    - Краткая летопись жизни и творчества А. А. Ахматовой
    - Библиографическая справка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

Павел Фокин
Ахматова без глянца

«Я стала песней и судьбой»

Она притягивала к себе не только своими стихами, не только умом, знаниями, памятью, но и подлинностью судьбы. В первую очередь подлинностью судьбы.

Анатолий Найман

Наследница Пушкина, героиня Достоевского, Анна Ахматова — поэт и гражданин — стала воплощением судьбы России в XX веке: горькой, грозной, смутной, скорбной, в кровавых язвах бед и терзаний, униженной, оскорбленной и — вдохновенной, окрыленной, пророческой, прославленной и воспетой, торжествующей. Ее душа стенала и ликовала вместе с душой России. Скорбела и веселилась. Замирала и воскресала.

Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был…

Эти бессмертные строки «Реквиема», конечно же, не только о лихолетье сталинского террора: о ночных арестах и обысках, о многочасовых очередях и тюремных передачах, об отчаянии и бессмысленных хлопотах, о томительном ожидании приговора. Они и о более ранних годах. И — на годы вперед. О блокадном Ленинграде. О радости победы. О надеждах и разочарованиях «оттепели». О праздниках и буднях.

Эмма Герштейн вспоминала: «Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела купить папиросы. Очередь расступилась. Но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окружавших нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления».

Я была тогда с моим народом…

Наталия Ильина рассказывает: «Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М. Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный

рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: «На следующей выходите?» Я крикнула: «Уступите кто-нибудь место!» Не помню: уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось…»

Там, где мой народ, к несчастью, был…

Мемуаристы вспоминают, сама Ахматова отмечала эти строки «Реквиема». Говорила, что считает большой поэтической удачей вводную конструкцию «к несчастью», которая здесь, сохраняя интонационную свободу разговорной речи, наполнена подлинным смыслом. Немного странно это. Выглядит каким-то неуместным кокетством: радоваться удачному *каламбуру,* когда речь идет о всенародной трагедии. Хотя можно понять творческую удовлетворенность поэта, который задачу художника видел в преображении «сора» повседневности, в том, чтобы из слов, которыми обычные люди зовут пить чай, создавать стихи. Это как раз тот самый случай. Почти эталонный образец. На грани абсолюта. И все же есть в этом какая-то тайна, некий второй смысл и — *недвусмысленное*, потому что шокирующее своей почти обнаженной формой — указание на него. Ахматова фиксирует внимание собеседника на двойном значении слов, поясняя на *очевидном примере* предлагая ключ к прочтению других, смежных, более важных, сокровенных слов и смыслов, о которых — страшится? избегает? — говорить прямо.

Мой народ.

Чьи это слова? Кто *так* говорит? Кто *имеет право* так говорить?

Это речь августейшей особы. Царицы. Королевы.

Ахматова была проста и естественна в жизни, но всегда — царственно возвышенна и обособленна. Люди вставали, когда она входила в комнату (в зал!). Разговор стихал, если она начинала говорить. Волнение и трепет охватывали присутствующих. Ее слова были сродни приговорам. Их спешили запомнить, записать, увековечить на скрижалях истории. Внимание приковывал каждый шаг, каждый взгляд. Ее движения, мимика, жесты вызывали сравнение с императрицей. Сосед Ахматовой по даче, литературовед Н. Я. Берковский с доброй улыбкой писал своему коллеге В. Г. Адмони: «По Комарову ходит Анна Андреевна, imperatrix, с развевающимися коронационными сединами, и, появляясь на дорожках, превращает Комарово в Царское Село».

Может, то был голос крови? Она вела свой род от татарских ханов, чингизидов. Или — большая игра? Насквозь театральный Серебряный век был ее колыбелью. Но в те тридцатые, когда писался «Реквием», было совсем не до игры. И все же, осознанно или подсознательно:

Я была тогда с моим народом.

Похоже, это как раз та самая проговорка по Фрейду (которого Ахматова, кстати, не жаловала), в которой человек, сам того не желая, высказывает свою затаенную суть.

Недоброжелатель тут же уличит поэта в мании величия. И ошибется. Величие было *на самом деле*. Без всякой мании. И природа его была совершенно особенной. Не гордыня, а, напротив, — смирение, готовность разделить *общую* участь, принять правду жизни без всякого ее оправдания, без позы и вызова, явились залогом человеческой силы Ахматовой, нескрываемого масштаба ее личности.

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу —

не все, должно быть, поверили этим словам, сказанным на пороге творческого пути. А они оказались заветными.

Гораздо позже, в 1961 году, в стихотворении «Родная земля» Ахматова напишет:

Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.

Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

«Мой народ» и «своя земля» — это владение, данное поэту по праву *смирения*. Того высшего смирения, с которым последний император России принял решение сложить свой царский венец, чтобы принять венец терновый и быть со *своим* народом, и лечь в *свою* землю, и стать ею. *Царское* смирение.

Земной отрадой сердца не томи,

Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.

И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

Выбрав смирение, Ахматова выбрала путь истины и свободы. И стала неуязвимой. Отныне и навсегда.

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то… Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

Долгое время современники считали, что это стихотворение связано с любовными переживаниями Ахматовой, ее разрывом с третьим мужем — Николаем Пуниным. А оно называлось «Приговор» и было составной частью «Реквиема». Написанное в 1939-м в связи с вынесением приговора сыну Ахматовой, Льву Гумилёву, оно носит программный характер. Те, кто видел в нем отражение любовной драмы, не так сильно и ошибались — все невзгоды, каждое «каменное слово», какой бы породы оно ни было, Ахматова преодолевала смирением: сначала душа каменела, а потом — училась жить. Как и должно в «этот *светлый* день».

Сегодня, из нового века, каким-то диким варварством выглядит борьба советской власти с Ахматовой. Она — частный человек, беспартийный, лирический поэт, одинокая женщина, не умеющая без посторонней помощи включить газовую конфорку, — трижды была предметом обсуждения и осуждения Центрального Комитета правящей партии. Три запретительных постановления ЦК ВКП(б)! Можно подумать, у большевиков

других забот не было: что там ГОЭЛРО, ликбез, внутрипартийная оппозиция, индустриализация, коллективизация, война с фашистской Германией, восстановление страны! Вот Ахматова — это да, пострашнее Антанты и Гитлера, Троцкого и Бухарина. Без каких-либо усилий со стороны Ахматовой большевики сами признали за ней статус *равноправного* и *равносильного* противника, вручили ей (трижды!) властный мандат, жалованную грамоту или, как там говорили татарские предки поэта, ярлык на княжение. Факт, достойный удивления потомков.

Полный абсурд — с точки зрения *реальной* политики. Но самая суть — в *метафизическом* плане. Сама Ахматова, хоть и польщенная таким вниманием власти, все же была склонна объяснять это болезненной личной неприязнью к ней Сталина, его иезуитской натурой. Не без этого. Но и эта вражда — неспроста. Муза Ахматовой говорила на языке «подслушанных слов» — и это был голос самой России. Тихий, глухой, непримиримый. Сталину нужна была покорная и подвластная страна, а Ахматова являла пример смирения и свободы. Не только личного, индивидуального, но — народного. Борясь с Ахматовой, Сталин боролся со смирением-свободой России.

Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас

Кто может быть грознее и опасней? И сильнее.

Английский друг Ахматовой, философ и общественный деятель сэр Исайя Берлин восхищенно признавал — а вместе с ним и весь западный мир: «Ее жизнь стала легендой. Ее несгибаемое пассивное сопротивление тому, что она считала недостойным себя и страны, создало ей место не только в истории русской литературы, но и в русской истории нашего века».

Образ Ахматовой постоянно двоится. «От ангела и от орла / В ней было что-то» (М. Цветаева). То «царскосельская насмешница», то «прокаженная». То «веселая грешница», то скорбная плакальщица. Беспомощная и могущественная. «Надменная» и «простая». То замкнутая в себе, то в сумасшедшем вихре «ахматовки». То нищая, в убогом рубище и с сумой, то сыпящая деньгами и подарками. Ленинградка и москвичка. Собеседница

Данта и Пушкина — соседка по коммунальной квартире. Жена без мужа. Мать без сына. Русский поэт с татарским именем. Все жило в ней органичной жизнью — жизнью родной земли, *своего* народа. Двойственность Ахматовой — это двойственность самой России: золотой России Пушкина и сумеречной России Достоевского.

Сама — легенда и миф, в биографических изысканиях Ахматова была точна до педантизма. Не любила мемуаристов. Вела непримиримый бой с разного рода неточностями и оговорами. С подозрением относилась к тем, кто записывал за ней слова.

Но как было не записывать!..

«Сколько глаз человеческих отражало ее с любовью и поклонением, в глазах скольких художников она жила. В моих поселилась давно и навеки» — так прощалась в своем дневнике с Ахматовой художница Антонина Любимова в марте 1966-го. И она была не одинока. Ахматова еще при жизни породила целую литературу о себе, а когда ушла — стала предметом заботливой памяти своих друзей и знакомых. Надо отдать им должное, многие из них (большинство) постарались сохранить живой облик поэта, без мрамора и бронзы, без льстивых слов и восклицаний. Без глянца.

Павел Фокин

Личность

Облик

Галина Лонгиновна Козловская, *либреттист, жена композитора и дирижера А. Ф. Козловского, знакомая Ахматовой по годам эвакуации в Ташкенте:*

Во все времена своей жизни она была прекрасна. Ее красота была радостью художников. Каждый находил в ней неповторимые, пленительные черты характера. Даже в старости, отяжелев и став тучной, она обрела особую благородную статуарность, в которой выявилось отчетливо и покоряющее величие великолепной человеческой личности.

Валерия Сергеевна Срезневская (урожд. Тюльпанова; 1888–1964), *подруга детства Ахматовой:*

Она очень выросла (к четырнадцати годам. — *Сост.),* стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой чуть развивающейся девушки, с черными, очень длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с белыми и красивыми руками и ногами, с несколько безжизненной бледностью определенно вычерченного лица, с глубокими, большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц.

Юрий Павлович Анненков (1889–1974), *художник, писатель, мемуарист:*

Я встретился впервые с Анной Андреевной в Петербурге в подвале «Бродячей собаки» в конце 1913 или в начале 1914 года. Анна Ахматова, застенчивая и элегантно небрежная красавица, со своей «незавитой челкой», прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полудвижений и полужестов, — читала, почти напевая, свои ранние стихи. Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова. <…>

Грусть была, действительно, наиболее характерным выражением лица Ахматовой. Даже — когда она улыбалась. И эта чарующая грусть делала ее лицо особенно красивым. Всякий раз, когда я видел ее, слушал ее чтение или разговаривал с нею, я не мог оторваться от ее лица: глаза, губы, вся ее стройность были тоже символом поэзии. <…>

Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы!

Георгий Викторович Адамович (1892–1972), *поэт,*

литературный критик:

Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание.

Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990), *литературовед, историк и теоретик литературы:*

Я помню Ахматову еще молодую, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную.

Движения, интонации Ахматовой были упорядочении, целенаправленны. Она в высшей степени обладала системой жестов, вообще говоря, несвойственной людям нашего неритуального времени. У других это казалось бы аффектированным, театральным; у Ахматовой в сочетании со всем ее обликом это было гармонично.

Всеволод Николаевич Петров (1912–1978), *искусствовед:*

Анне Андреевне было тогда лет 45. Высокая, стройная, очень худощавая, с черной челкой, она выглядела почти совершенно так же, как на портрете, написанном Альтманом.

Я вспомнил тогда строчки из воспоминаний графа Соллогуба о знакомстве с женой Пушкина. Соллогуб писал: «В комнату вошла молодая дама, стройная, как пальма». Так можно было бы написать и об Ахматовой.

Эмма Григорьевна Герштейн (1903–2003), *литературовед, мемуарист:*

Анну Андреевну Ахматову я впервые увидела в январе или феврале 1934 г. в домашней обстановке у Мандельштамов. <…>

Для московского житья она захватила с собой ярко-красную пижаму Пунина, которая подчеркивала ее высокий рост и линейность фигуры. Но матиссовские краски, ренуаровская челка, черные волосы делали ее похожей на японку. Впечатление неточное и, очевидно, неверное, особенно если вспомнить миниатюрность японок, но мы жили так серо, а облик Ахматовой был так необычен, что рождал какие-то неопределенные воспоминания и ложные ассоциации.

Лицо у нее было усталое, немолодое, землистого цвета, однако изящный и нежный рисунок рта, нос с горбинкой были

прелестны. Улыбка ее не красила. <…>

И зимой, и весной Анна Андреевна носила один и тот же бесформенный «головной убор»: фетровый колпак неопределенного цвета. Зимой она ходила в шубе, подаренной ей умирающей В. А. Щёголевой еще в 1931 г., весной — в синем непромокаемом плаще с потертым воротником. «Вы ошибаетесь, — возразил мне как-то Осмёркин, — она элегантна. Рост, посадка головы, походка и это рубище. Ее нельзя не заметить. На нее на улице оборачиваются». О десятых годах Анна Андреевна говорила весело и небрежно: «Это было тогда, когда я заказывала себе шляпы».

Лев Владимирович Горнунг (1902–1993), *поэт, переводчик.*

В этот ее приезд (1936 г. — *Сост.*) нельзя было не заметить бедности ее одежды. Она привезла с собой одно темное платье с большим вырезом вокруг шеи из дешевой тонкой материи, очень просто сшитое, и еще три ситцевых светлых платья. Туфли были только одни, черные, матерчатые — лодочкой, на кожаной подошве. На голове в солнечные дни она носила небольшой сатиновый платочек бледно-розового цвета. <…>

При встрече с Анной Андреевной этим летом я заметил в ней большую перемену, не то чтобы она очень постарела, но она была сплошной комок нервов. У нее какая-то неровная походка, срывающийся, непрочный голос.

Лидия Корнеевна Чуковская (1907–1996), *писатель, многолетняя знакомая и доверенное лицо Ахматовой:*

10 сентября 1940. Анна Андреевна в кресле возле стола, в белом платке поверх халата, строгая, спокойная, тихая, мрачная. Я еще раз про себя подивилась тому, как человек может быть таким совершенным и таким выраженным. Хоть сейчас в бронзу, на медаль, на пьедестал. Статуя задумчивости — если задумалась, гнева — если разгневана.

Галина Лонгиновна Козловская:

Она направилась к печке, стала к ней спиной и начала греть руки. И тут мы увидели, что она по-прежнему стройна и прекрасна. В тот вечер глаза у нее были синие. В иные дни они бывали и серыми, иногда голубыми. Еще не седые волосы, цвета соли с перцем, мягко и легко обрамляли ее патрицианскую голову, и вся ее фигура в светло-сером костюме обрисовывалась необычайно изящной, стройной и почти воздушной.

Дмитрий Николаевич Журавлёв (1900–1991), *артист,*

мастер художественного чтения:

Для меня в строгом облике Ахматовой всегда было нечто от классической красоты Ленинграда.

Наталия Александровна Роскина (1928–1989), *литературовед:*

Я познакомилась с Анной Андреевной летом 1945 года. <… > Разумеется, я никогда не забуду минуту, когда она открыла дверь и на шаг отступила назад, давая мне пройти. Как раз в том году она перестала носить челку и зачесала волосы назад, сделав на затылке обыкновенный пучок седоватых волос. Не было уже и худобы, известной мне по портретам. Я увидела полнеющую пожилую женщину, одетую в дешевый халат и домашние туфли на босу ногу. Но ее статность, скульптурность ее позы (в согнутой руке она держала папиросу), ее красота и непередаваемое благородство всего ее облика — все это меня потрясло больше, чем я могла предположить.

Виктор Ефимович Ардов (1900–1976), *писатель, многолетний друг Ахматовой:*

В сороковых и пятидесятых годах гардеробом Анны Андреевны стала заведовать Нина Антоновна (Ольшевская, жена Ардова. — *Сост.)*. Своеобразный стиль одежды был в какой-то мере сохранен. Ахматова носила просторные платья темных тонов. Дома появлялась в настоящих японских кимоно черного, темно-красного или темно-стального цвета. А под кимоно шились, как мы это называли, «подрясники» из шелка той же гаммы, но посветлее. Кроме Анны Андреевны, никто так не одевался, но ей очень шел этот несуетливый покрой и глубокие цвета, тяжелая фактура тканей…

Лидия Корнеевна Чуковская:

Она держала руку по-ахматовски: большой палец под подбородком, мизинец отставлен, а три пальца — вместе с папиросой — вытянуты вдоль щеки. (И я еще раз увидала, как неверно изображают ее руку портретисты: на самом деле никаких длинных костлявых пальцев, детская ладонь, а пальцы стройные, но маленькие.)

Питана Лонгиновна Козловская:

Ее руке характерен не жест, а я бы сказала выражение. Его чуть наметил Модильяни на ее портрете. Три полусогнутых от мизинца пальца, чуть поднятый указательный и слегка опущенный большой. И в спокойном состоянии, и в разговоре

руки в движении были красноречивы, ахматовски прелестны и неповторимы. Это были удивительные руки!

Лев Владимирович Горнунг:

2.VIII.1951. В последнее время она заметно пополнела, и волосы ее сильно поседели. После войны и Ташкента она уже отказалась от своей традиционной челки и теперь зачесывает волосы назад в пучок.

Лидия Корнеевна Чуковская:

13 июня 1952. …Вот оно, значит, что: горе, годы, болезнь. Совсем другая, не та. Расплылась, отяжелела. Лицо полное, рот кажется маленьким между полных щек. Лицо утратило свою четкую очерченность, свою резкую горбоносость, словно и нос сделался меньше и неопределеннее, чем был. Даже руки переменились: огрубели, набухли. А были такие легкие, детские! Десять лет… Только взгляд остался прежний. И голос.

Наталия Иосифовна Ильина (1914–1994), *писатель, мемуарист:*

Вот я стою на перроне, передо мной медленно плывут вагоны, и в окне я вижу лицо Ахматовой. Оно поразило меня выражением какого-то гневного страдания. Будто ничего доброго не ждет она и от этого своего приезда. Ничего, кроме бед, не ждет и вполне к этому готова. «У меня только *так* и бывает!» — часто слышала я от нее.

Оглушенная «шумом внутренней тревоги» (она любила эти пушкинские слова и часто их повторяла), Ахматова не видела ни перрона, ни людей и увидела меня лишь в тот момент, когда поезд остановился и я подошла к окну вплотную. Лицо ее смягчилось, подобрело, а я подумала: «Неужели, неужели у нее всегда такое лицо, когда она одна?»

Анатолий Генрихович Найман (р. 1936), *поэт, переводчик, мемуарист, в 1960-е гг. литературный секретарь Ахматовой:*

В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания; жестикуляция почти совсем отсутствовала.

Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987), *литературовед, критик:*

Теперь это была величавая женщина, уже не молодая, с лицом благородным и, как прежде, ни на кого не похожим. Возраст, полнота, некоторая грузность, болезненность не лишали

ее грации и не стирали следов былой, очень своеобразной, хорошо знакомой по портретам и фотографиям красоты. Своими движениями, речью, глазами она управляла с неизменным самообладанием, уверенно и спокойно.

Анатолий Генрихович Найман:

А сама она была ошеломительно — скажу неловкое, но наиболее подходящее слово — грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. Первое впечатление было, что она выше меня, потом оказалось, что одного со мной роста, может быть, чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную — мгновениями казалось, высеченную, — классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской ваятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной, соединившись с записью Ахматовой о Модильяни, считавшем, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях.

Лидия Корнеевна Чуковская:

20 января 1954. Опять она показалась мне сегодня изваянием самой себя — а может быть, собственной Музы. Каждое ее движение и, главное, каждую ее неподвижность необходимо запечатлевать — кистью, резцом, а лучше бы всего кинопленкой. Вот сидит на постели, опираясь на обе ладони, голова поднята, в глазах — ум и насмешка, каждая черта оживлена, на устах слово, которое сейчас зазвучит — насмешливое или гневное; вот наклонилась над столиком, на котором раскрыта тетрадь, — в руке карандаш, — глаза опущены, веки неподвижны, лицо как на замке… ее будто нет здесь, она где-то у себя, далеко, «у памяти в гостях». Мрамор? Бронза? Подпись: «Ахматова над своими стихами».

Юлиан Григорьевич Оксман (1895–1970), *литературовед, пушкинист:*

13 октября 1959 г, вторник. За те несколько месяцев, что мы не видались, она — чисто внешним образом — очень изменилась. Как-то погрузнела — не то что пополнела, а вся «раздалась» и в то же время окрепла, успокоилась, стала еще монументальнее, чем была. К семидесяти годам исчез последний налет Ахматовой эпохи не только «Четок», но и «Anno Domini».

Михаил Васильевич Толмачёв (р. 1935), *литературовед, поэт-переводчик:*

…В профиль, на низкой тахте, стоящей вдоль стены, сидит Ахматова. Первое зрительное впечатление сильно «разочаровывающее», в прустовском смысле: полное несоответствие заранее созданному образу. Я, конечно, знал, что Ахматова 60-х годов с трудом соотносится со своими обликами на фотографиях Наппельбаума или образами, созданными Альтманом, Анненковым или Данько. У меня была ее недавняя фотография, на которой она, если не чертами лица, то осанкой, статью походила на Екатерину II. Но это перед объективом фотоаппарата. А сейчас… я мгновенно констатировал, что старая седая полная женщина, безмолвно, жестом, пригласившая меня сесть, весьма похожа на гимназическую подругу моей бабушки, жену петербургско-ленинградского врача, Иду Борисовну Мандельштам, — даже что-то еврейское в чертах лица проглядывалось (впоследствии, наблюдая старых украинок, я вставил для себя это «еврейское» в более широкий, южный контекст). И, как почти сразу выяснилось, Анна Андреевна к старости стала туга на ухо, что она, впрочем, не скрывала, а обыгрывала, приставляя ладонь козырьком к уху, чтобы говорили громче.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Одна из последних наших встреч с Ахматовой состоялась в Ленинграде вскоре после возвращения Анны Андреевны в 1964 году из Италии, куда она ездила для получения присужденной ей международной премии. <…>

До этого мы довольно долго не встречались. Поразила перемена, происшедшая с ней. Она очень пополнела. Ее прекрасное лицо изменилось. Такой особенный «ахматовский» нос с горбинкою почти тонул в лице. Давно исчезла знаменитая челка. Седые волосы были заколоты небрежным пучком.

Наталия Иосифовна Ильина:

До последних дней своей жизни она оставалась и величавой и красивой, но время не было милосердно и к ней. Она полнела. С ее высоким ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно ее видела. Но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние три-четыре года, как ее твердо очерченное лицо римлянки эту твердость очертаний утрачивало, расплываясь.

Алексей Владимирович Баталов (р. 1929), *киноактер, кинорежиссер:*

…Человеческие изменения, происходившие с Ахматовой, довольно ясно отражены даже в самом простом подборе ее фотографий. Она менялась вместе со временем, но оставалась собой, ее голос никогда невозможно было перепутать с другими.

Голос

Александр Семенович Кушнер (р. 1936), *поэт:*

Все эти впечатления, скажу еще раз, подправлены и дополнены последующими, заслонены фотографическими изображениями, но голос… Вот что запомнилось прочно и навсегда. Глуховатый, ровный. Медленная, отчетливая, не сомневающаяся в себе речь. Так никто не говорил, никогда, нигде.

Татьяна Михайловна Вечеслова (1910–1991), *балерина:*

Обычно я робела и затихала в ее присутствии и слушала ее голос, особенный этот голос, грудной и чуть глуховатый, он равномерно повышался и понижался, завораживая слушателя.

Лев Владимирович Горнунг:

В конце 60-х годов фирма «Мелодия» выпустила долгоиграющую пластинку с голосом Ахматовой, читающей свои стихи. Запись ее голоса была сделана, к сожалению, очень поздно, примерно затри года до ее кончины — в 1963 году. Мне, которому приходилось много раз слышать голос Ахматовой — приятный, грудной, а я в первый раз его услышал, когда ей было только 37 лет, очень тяжело слушать эту пластинку с таким уже старческим, сухим, не ахматовским голосом.

Виталий Яковлевич Виленкин (1911–1997), *искусствовед, театровед, литературовед, мемуарист:*

Как она читала? Негромко, мерно, но с ощутимым биением крови под внешним покоем ритма. Ничего не подчеркивая, не выделяя, ни стиха, ни строфы, ни одного отдельного слова, ни одной интонации, так что каждое стихотворение выливалось как бы само собой, на едином дыхании, но каждое — на своем дыхании, в своей особой мелодике. Ближе всего из того, что мне приходилось слышать из авторских чтений, это было, пожалуй, к фонографической записи Блока.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина (1903–1987), *мастер художественного слова, жена художника А. Осмёркина:*

При чтении Ахматовой мне послышались звуки отдаленного органа. Она читала ровно, без каких-либо актерских приемов, но стихи звучали торжественно и, казалось, доходили до нас тут же, со всей полнотой ее чувств и размышлений.

Игнатий Михайлович Ивановский (р. 1932), *поэт-переводчик:*

Как читала Ахматова в последние годы жизни? Голос низкий, ниспадающий. Последняя строка почти пропадает, замирает где-то внизу. Общее впечатление — сдержанного величия. По манере то, что называется завыванием, но очень в меру. При таком чтении подробности не выделяются, слушатель как бы видит всю строку, становится читателем.

Чтение — не бытовое, не разговорное. Наоборот, священнодействие. Звук полный, глубокий.

И еще одна особенность: последнюю строку стихотворения Ахматова иногда произносила с чуть заметным оттенком какой-то необъяснимой досады.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Свои стихи Ахматова читала, легко прерывая беседу и не меняя позы. Она произносила их ровным тихим голосом, как бы сообщая. Только в некоторых местах прорывалось исступление, тотчас умеряемое. Я до сих пор не забыла, как она читала в 1936 г. стихотворение «От тебя я сердце скрыла». Может быть, потому что она читала его не с глазу на глаз, а в присутствии четырех человек в мастерской художника А. А. Осмёркина, волнение начало овладевать ею в строках:

Осторожно подступает,
Как журчание воды, —

и, нарастая, достигло апогея в двух следующих:

К уху жарко приникает
Черный шепоток беды… —

слегка вибрирующий голос позволял догадываться о неистовстве, породившем эти строки. Но она тотчас овладела собой и закончила на ровном спаде. Еще больнее ранил меня вырвавшийся у нее возглас «Не забыть!» из трагического стихотворения «Уводили тебя на рассвете», которое она прочла здесь, не боясь.

Поздние магнитофонные записи чтения Ахматовой уже не передают этого впечатления. Голос ее с годами стал ниже и глуше, к тому же магнитофон сам по себе сгущает звук. Главное же в том, что стихи в этих записях текут беспорядочной вереницей, и это нарушает художественный эффект. Сохраняется

только строгий ритмический рисунок авторского исполнения.

Галина Лонгиновна Козловская:

Читая свои стихи, она довольно часто, не соразмерив высоты, начинала читать на низком звуке, так что порой чуть задыхалась.

Наталия Александровна Роскина:

Закончив стихотворение, она как бы — голосом — отодвигала его от себя.

Александр Григорьевич Тышлер (1898–1980), *художник:*

Анна Андреевна читала свои стихи эпически спокойно, тихо, выразительно, так, что между нею и слушателем словно бы возникала прозрачная поэтическая ткань. Создавалось своеобразное мягкое звучание тишины…

Характер

Надежда Яковлевна Мандельштам (урожд. Хазина; 1899–1980), *мемуарист, жена поэта О. Мандельштама:*

Откуда-то с самых ранних лет у нее взялась мысль, что всякая ее оплошность будет учтена ее биографами. Она жила с оглядкой на собственную биографию, но неистовый характер не допускал ни скрытности, ни идеализации, которой бы ей хотелось.

Надежда Григорьевна Чулкова (1874–1961), *жена поэта Г. Чулкова:*

Я видела ее и в старых худых башмаках и поношенном платье, и в роскошном наряде, с драгоценной шалью на плечах (она почти всегда носила большую шаль), но в чем бы она ни была, какое бы горе ни терзало ее, она всегда выступала спокойной поступью и не гнулась от уничижающих ее оскорблений.

Светлана Александровна Сомова (1911–1989), *поэт, переводчик:*

Наверное, одно из главных слагаемых в характере Ахматовой — сила сопротивления.

Алексей Владимирович Баталов:

Мужество не покидало Анну Андреевну никогда, и полагаю, что это вполне естественно, поскольку мужество — качество, отличающее людей высшего порядка и по иронии судьбы стоящее на противоположном конце от тех мышечно-звериных признаков, которыми природа наделяет сильный пол. Человеческое мужество представляет собой силу, почти всегда направленную внутрь себя, в то время как звериное — чаще напоказ, в сторону окружающих, главным образом более слабых.

Наталия Александровна Роскина:

Анна Андреевна всегда была очень терпелива и непритязательна. Антонина Петровна Оксман как-то зашла к ней без звонка и — разбудила; огорченная, стала извиняться. Анна Андреевна ответила: «Ничего. Не сахарная».

Вячеслав Всеволодович Иванов (р. 1928), *филолог, поэт:*

Она была настолько вне быта и над ним, что застревать на всем этом значило бы изменить ее духу.

Корней Иванович Чуковский (1882–1969), *литературный критик, литературовед, переводчик, мемуарист, детский писатель:*

Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю, Аполлону Григорьеву, Кольриджу и другу своему Мандельштаму, она была бездомной кочевницей и до такой степени не ценила имущества, что охотно освобождалась от него, как от тяготы. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. Даже в юные годы, в годы краткого своего «процветания», жила без громоздких шкафов и комодов, зачастую даже без письменного стола.

Вокруг нее не было никакого комфорта, и я не помню в ее жизни такого периода, когда окружавшая ее обстановка могла бы назваться уютной. Самые эти слова: «обстановка», «уют», «комфорт» — были ей органически чужды — и в жизни и в созданной ею поэзии. И в жизни и в поэзии Ахматова была чаще всего бесприютна.

Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, — все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.

То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться…

Единственной утварью, остававшейся при ней постоянно, был ее потертый чемоданишко, который стоял в углу наготове, набитый блокнотами, тетрадями стихов и стихотворных набросков — чаще всего без конца и начала. Он был неотлучно при ней во время всех ее поездок в Воронеж, в Ташкент, в Комарове, в Москву.

Даже книги, за исключением самых любимых, она, прочитав, отдавала другим. Только Пушкин, Библия, Данте, Шекспир, Достоевский были постоянными ее собеседниками. И она нередко брала эти книги — то одну, то другую — в дорогу. Остальные книги, побывав у нее, исчезали…

И чаще всего она расставалась с такими вещами, которые были нужны ей самой.

Маргарита Иосифовна Алигер (1915–1992), *поэт:*

Деньги нужны были ей прежде всего для того, чтобы раздавать их людям. Ей самой нужно было очень немного из того, что оплачивается деньгами.

Виктор Ефимович Ардов:

Она многие годы бедствовала. Знавала и голод… Но если у нее появлялись деньги, она раздавала их всем, кто только ни попросит. А как ей нравилось делать подарки!

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Сама бессребреница, она была щедрой. В границах своих малых возможностей, совсем не будучи филантропкой, а только по своему душевному устройству, она оказывала помощь, моральную и даже материальную, своим близким, а иногда — почти посторонним! Когда в последние годы ее обстоятельства изменились к лучшему, с какой легкостью она раздаривала деньги из своих гонораров, книги и вещи! И за всем этим можно было увидеть не только душевную широту, но и сознание добровольно принятого на себя долга, как бы чувство круговой поруки, которое связывает людей и обязывает их помогать друг другу. И она хотела бы, чтобы это чувство разделяли с нею ее близкие и знакомые.

Юрий Павлович Анненков:

Непосредственность, простота, порой — застенчивая шутливость (с грустной улыбкой) и полное отсутствие претенциозности всегда удивляли меня при встречах и беседах с ней.

Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991), *поэт, переводчик, стиховед:*

Вообще трудно оценить ту необычайную скромность, которую Анна Андреевна проявляла в обыденной обстановке. Не могло быть гостьи более нетребовательной, более уживчивой. Она умела вливаться в быт еще недавно далекой ей семьи без всякого насилия над собой и над теми, с кем ее свела судьба. Это не значит, что жить рядом с ней было легко: Ахматова несла, как нелегкий груз, окрепшее бессознательно и сознательно величие, которое никогда не покидало ее…

Павел Николаевич Лукницкий (1900–1973), *поэт, прозаик, биограф Н. С. Гумилёва:*

АА *не* тщеславна, *не* носится с собой, *не* говорит о себе <…> излюбит, когда о ней говорят, как об «Ахматовой», *не* выносит лести, подобострастия… Чувствует себя отвратительно, когда с ней кто-нибудь разговаривает как с метром, как со знаменитостью, робко и принужденно-почтительно. Не любит, когда с ней говорят об ее стихах.

Михаил Борисович Мейлах (р. 1944), *литературовед:*

Ко всему, связанному с автографами, Анна Андреевна относилась слегка иронически — фетишизм в отношении чего бы то ни было, связанного с поэтом, вызывал ее резкое неодобрение (дорогой на какие-то давние блоковские торжества она сказала покойной Зое Александровне Никитиной: «В Пушкинском Доме они хранят недокуренную папиросу Блока…»). Так, написав однажды небольшое письмо в Москву, она произнесла: «Обычный средний автограф».

Алексей Владимирович Баталов:

…Всегда оставаясь собой, Анна Андреевна тем не менее удивительно быстро и деликатно овладевала симпатией самых разных людей, потому что не только взаправду интересовалась их судьбой и понимала их устремления, но и сама входила в круг их жизни, как добрый и вполне современный человек. Только этим я могу объяснить ту удивительную непринужденность и свободу проявлений, то удовольствие, которое испытывали мои сверстники — люди совсем иного времени, положения и воспитания, — когда читали ей стихи, показывали рисунки, спорили об искусстве или просто рассказывали смешные истории.

Корней Иванович Чуковский:

Живую жизнь со всеми ее радостями, страстями и бедами она ставила превыше всего.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Она любила шум, доносящийся со двора: кто-то выбивает ковер, кто-то зовет домой детей, хлопает дверца машины, лает собака… Она смеялась над теми писателями, которые стараются изолировать себя от звуков проходящей рядом жизни. С иронией приводила в пример, кажется, братьев Гонкур, добившихся полной тишины в своем деревенском уединении, но вот ночью лошадь в конюшне переступала с ноги на ногу… Анне Андреевне не мешало ничто.

Виктор Ефимович Ардов:
Как любила Анна Андреевна веселое застолье!..

Татьяна Михайловна Вечеслова:
Как бы порой ни приходилось ей тяжко, она никогда не жаловалась, не роптала и с присущим ей величием жила, влюбленная в жизнь. Анна Андреевна умела радоваться, казалось бы, пустякам, незначительным вещам, событиям, явлениям, всему тому, что ласкало глаз, утешало сердце, — запела ли птица, расцвел ли цветок, зажглось ли небо вечерним светом. Она была требовательна в больших делах, поступках, в отношении к людям, к их поведению. Особенно ценила она простое внимание друзей своих.

Надежда Яковлевна Мандельштам:
Ахматова вступала в глубоко личные отношения с неслыханным количеством людей (когда людям перестало грозить тюремное заключение за дружбу с Ахматовой) и гляделась в них, как в зеркало, словно ища свое отражение в их зрачках. Это совсем не эгоцентризм, а тоже высокий дар души, потому что она со всей щедростью дарила себя каждому из своих друзей, жила в них, как в зеркалах, искала в них отзвука своих мыслей и чувств.

Лев Адольфович Озеров (1914–1996), *поэт, литературный критик:*
Жизнь учила ее недоверию к людям. Было множество случаев в ее жизни, когда она, доверчивая по натуре, обманывалась в людях. Но если уж доверяла, то всецело и навсегда.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Ахматова бесспорно владела даром дружбы: когда она хотела встретиться с кем-нибудь, она этого не скрывала. У нее начисто отсутствовало то ложное самолюбие, которое нередко мешает делать первые шаги, чтобы повидаться со своими друзьями и приятелями. Почувствовав такое желание, она звонила сама, не ожидая инициативы со стороны ее знакомых. Она поддерживала долгие и прочные дружеские связи с близкими ей людьми. И она старалась, как могла, быть им полезной. В первый раз я пришел к ней на Фонтанку накануне или незадолго до того дня, когда она должна была отправиться в далекий и чреватый жизненными осложнениями путь в Воронеж к своему другу О. Мандельштаму. И она действительно ездила к нему. И сколько таких жестов

дружбы и внимания к людям от нее исходило!

Эмма Григорьевна Герштейн:

Сама Анна Андреевна значила для своих друзей очень много. В один из московских приездов она рассказывала: «Я позвонила N. «Вы приехали вовремя», — отозвался он таким мрачным голосом, как будто, снимая одной рукой телефонную трубку, другой уже держал у виска дуло заряженного пистолета». Эту способность Анны Андреевны приезжать вовремя я знала по себе. Бывали минуты, когда казалось — нет, больше нельзя, все дошло до предела в моей жизни, и тогда в телефонной трубке слышалось: «Говорит Ахматова», — ее голос звучал как весть и спасение.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

В самые страшные годы А.А. всегда первая приходила в дома, где ночью орудовали «дорогие гости».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Нужно сказать, что трагические перипетии в судьбах ее современников, вообще говоря, в высшей степени ее волновали и влияли на ее оценочные суждения.

Наталия Александровна Роскина:

Сострадание Анны Андреевны к жертвам сталинского террора было вообще очень широко. Без этого чувства она не написала бы «Реквиема»…

Эмма Григорьевна Герштейн:

Окружающих она не поучала, не наставляла, не расспрашивала. «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала», — говорила она. Думаю, что благодаря такому такту дружбы Анны Андреевны длились годами и десятилетиями.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Она была удивительно человечна и подчас неожиданно для своего величественного облика внимательна к мелочам, что всякий раз изумляло и трогало меня. Однажды мне пришлось внезапно положить в больницу близкого человека. Я уехала из дому рано утром, а днем примчалась, чтобы собрать и отвезти в больницу необходимые вещи и кое-что из продуктов. У Анны Андреевны кто-то был, она лишь на минутку заглянула в кухню, где я собиралась, и я ничего не стала ей говорить, а рассказала о

случившемся лишь вечером, когда мы остались одни. — Я поняла, — сказала она. — Я догадалась. Когда набивают маслом баночку из-под майонеза, значит, уж непременно ее повезут в больницу…

Наталия Иосифовна Ильина:

Много раз поражала меня ее чуткость, ее полное понимание того, как настроен человек, рядом с ней сидящий, что он чувствует, что думает… Она сама про себя говорила, что на семь аршин под землей видит. И видела.

Беспомощная, зависимая от окружающих, вынужденная к ним постоянно прибегать (то сопровождать ее надо было куда-то, то купить для нее что-то), она совершенно точно знала, кого можно попросить, а кого нельзя. Она умела не ставить ни себя, ни другого в неловкое положение отказывающего и отказ выслушивающего.

Виктор Ефимович Ардов:

Очень деликатна. Готова хвалить еду, платье, внешность — словом, что угодно, лишь бы не обидеть кого-нибудь.

Но в оценке стихов беспощадно искренна. Тут никогда не лукавит и, преодолевая свою деликатность, говорит прямо: «Мне не нравится».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Анна Андреевна была органически гуманна, человечна в самом высоком и ответственном смысле слова. Как можно думать, она никогда не соблазнялась распространенным в начале века слишком подвижным отношением к добру и злу и тем более лозунгами ницшеанского аморализма. Она тихо и целомудренно, без показных восторгов, фанфар и сентиментальностей любила свою родину, но была совершенно чужда дурному национализму и нетерпимости к другим нациям…

Анна Андреевна была доброй, как об этом сама, просто, без всякой позы, писала в первой из «Северных элегий». Эта доброта питалась в ней волей ее широкого сердца, в котором Красота, в смысле моральной эстетики, и Добро (добро как благодать и добро как долг) сливались в одно.

Ника Николаевна Глен (р. 1928), *переводчик, редактор, секретарь комиссии по литературному наследию Ахматовой:*

О том, какой Ахматова казалась иногда величественно неприступной, какой «королевой», писали многие. Я тоже не раз видела ее такой — правда, не по отношению к себе. Со мной Анна

Андреевна всегда держалась просто, тон ее был ровно дружеским, а помню я ее даже и домашне ласковой, «доброй бабушкой» — хотя это бывало нечасто. Такой, например, пустяк — но и сейчас перед глазами. Утренний чай-кофе у нас за обеденным столом. Я размешиваю сахар и, не вынув ложки, собираюсь пить. Анна Андреевна быстрым и точным движением вынимает ее, кладет мне на блюдце, смотрит смеющимися глазами: «Вы не знали? Теперь будете знать». И еще кое-каким правилам хорошего тона учила — писать на конверте не инициалы, а имя и отчество адресата (разумеется, перед фамилией) и не подчеркивать имя и фамилию, не резать заранее сыр, когда подаешь его к столу, комкать свежевыглаженный носовой платок, когда кладешь его в сумочку…

Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1988), *критик, литературовед, мемуарист:*

Анна Андреевна была отзывчива и добра. И доброта ее была деятельной. У нее было удивительное дарование и потребность помогать людям. При первом знакомстве она производила впечатление человека замкнутого, даже нелюдимого. Но эта холодность, скованность, недоступность скрывала не только ранимость, но и чуткое внимание к окружающим, бережное отношение к тем, кто нуждается в помощи. Я всегда бывал бесконечно благодарен ей, когда она обращалась ко мне с просьбой позаботиться о ком-нибудь, похлопотать о чем-то.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

К людям она относилась благожелательно и старалась выделить и подчеркнуть в них то, что признавала хорошим и ценным. Нередко от нее можно было услышать такие определения: замечательный ученый, знаменитый художник, неслыханный успех, дивные стихи (слово «дивный» она особенно любила). Подобные этим оценки были рассеяны и в ее лирике («мой знаменитый современник», «белокурое чудо» и др.). Это изначальное желание Ахматовой видеть в людях прежде всего хорошее, их «актив», если не ошибаюсь, первым в литературе отметил в статье о ней как о поэте ее близкий друг Николай Владимирович Недоброво («Русская мысль», 1915, № 7), в статье, которую она считала едва ли не лучшим из того, что было о ней написано. От Анны Андреевны уходили чаще всего с облегченным сердцем, не смущенными и растерянными, а ободренными.

Валерия Сергеевна Срезневская:

Есть одна черта у Ахматовой, ставящая ее далеко от многих

современных поэтов и ближе всего подводящая ее к Пушкину: любовь и верность сердца к людям… <…> Осуждения и ненависти я в ней не видела ни к кому из окружавших ее. Кроме «врагов человечества», вообще жестоких к человеку как таковому и считавших себя «сверхчеловеками».

Корней Иванович Чуковский:

Так как в поэзии и в жизни Анны Ахматовой было много скорбей и обид, читатели могут, пожалуй, подумать, будто характер у нее был угрюмый и мрачный.

Ничто не может быть дальше от истины. В литературной среде я редко встречал человека с такой склонностью к едкой иронической шутке, к острому слову, к сарказму.

Странным образом эта насмешливость совмещалась в ней с добротой и душевностью.

Валерия Сергеевна Срезневская:

А насмешлива она была очень, иногда и не совсем безобидно. Но это как-то шло от внутреннего веселья. И мне казалось, насмешка даже не мешала ей любить тех, над кем она подсмеивалась, за редкими исключениями — таких на моей памяти были единицы. Стоит ли называть их?

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Более чем снисходительность, заранее сверхположительное отношение к чужим стихам было у Анны Андреевны установочным, если это были стихи ее современника, особенно не преуспевающего. Не раз, упрекая в разговоре со мной, иной раз и неосновательно (если это касалось ее стихов) Бориса Леонидовича Пастернака в невнимании к поэтам — его современникам, Ахматова противопоставляла ему Пушкина. Она напоминала, как он старался найти хорошие если не стихи, то хотя бы строки у поэтов своего круга. Говоря о современной нам поэзии, Анна Андреевна — с небольшими вариантами — нередко повторяла один и тот же набор имен тех, кого считала самыми одаренными: Петровых, Тарковский, Самойлов, Корнилов — о нем от Ахматовой я не раз слышал как о поэте, который сумел ввести в поэзию теперешнюю разговорную речь, язык прозы.

У каждого из окружавших ее молодых поэтов ей хотелось отметить что-то в его пользу: у одного богатство словаря и напор, у другого — тему, раньше не затронутую. О прочитанных ей стихах после по телефону: «Я не могу ни забыть их, ни вспомнить, о них думаю».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Даже слабых поэтов, которые в большом количестве несли или посылали ей слабые стихи, она предпочитала не огорчать резкими оценками, ограничиваясь нейтральными репликами или несколькими маловыразительными словами о частных удачах. Если же поэт был действительно достоин похвалы, она рада была преувеличить его достоинства.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Если Ахматова видела в ком-то из молодых хотя бы проблеск дарования, она не раздумывая приходила на помощь. Вернее было бы сказать «бросалась на помощь», если бы речь шла не о женщине преклонного возраста и далеко не прежнего здоровья.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Нужно добавить, что этика Ахматовой не имела ничего общего с прекраснодушием. О тех людях, которые не отвечали ее моральным требованиям, она говорила с уничтожающей резкостью и совершенно бескомпромиссно.

Наталия Иосифовна Ильина:

Гневалась она и вступала в споры, лишь когда речь касалась предметов, близко принимаемых ею к сердцу. По другим поводам до споров и опровержений не снисходила.

Сергей Васильевич Шервинский:

Крайне редко Анна Андреевна не выдерживала чего-нибудь и вспыхивала. Так, однажды за обедом в Старках одна наша родственница, большая любительница поэзии, позволила себе с ненужной авторитетностью что-то высказать о Пушкине. Анна Андреевна тут же наложила на нее руку, и бедная любительница Пушкина затрепетала, как мотылек на ладони. Хорошо, что божественный гнев прорывался не часто, его суровость ставила жертву в трудное положение.

Лидия Корнеевна Чуковская:

Сознание, что и в нищете, и в бедствиях, и в горе она — поэзия, она — величие, *она,* а не власть, унижающая ее, — это сознание давало ей силы переносить нищету, унижение, горе. Хамству и власти она противопоставляла гордыню и молчаливую неукротимость. Но сила гордыни оборачивалась пустым капризом, чуть только Анна Андреевна теряла свое виртуозное умение вести себя среди друзей как «первая среди равных». Это случалось с ней редко, но увы! случалось.

Наталия Александровна Роскина:

У Анны Андреевны были, конечно, свои недостатки, но они как-то ничего в ней не нарушали. Она была очень цельным и крупным человеком и очень ясным — как и ее поэзия.

Иосиф Александрович Бродский (1940–1996), *поэт, лауреат Нобелевской премии 1987 года. Из бесед с Соломоном Волковым:*

…Каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих — почти всех — его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной внутренней щедрости, от нее исходивших.

Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. Не все из нас, по крайней мере. Мы шли к ней, потому что она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного-духовного — да не знаю, уж как это там называется, — уровня, на котором находился, — от «языка», которым ты говорил с действительностью, в пользу «языка», которым пользовалась она. Конечно же, мы толковали о литературе, конечно же, мы сплетничали, конечно же, мы бегали за водкой, слушали Моцарта и смеялись над правительством. Но, оглядываясь назад, я слышу и вижу не это: в моем сознании всплывает одна строчка Из того самого «Шиповника»: «Ты не знаешь, что тебе простили». Она, эта строчка, не столько вырывается из, сколько отрывается от контекста, потому что это сказано именно голосом души — ибо прощающий всегда больше самой обиды и того, кто обиду причиняет. Ибо строка эта, адресованная человеку, на самом деле адресована всему миру, она — ответ души на существование.

Примерно этому — а не навыкам стихосложения — мы у нее и учились. «Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка», — говорила она. С другой стороны, стихосложение и есть отрыв от контекста. И нам, знакомым с ней, я думаю, колоссально повезло — больше, я полагаю, чем окажись мы знакомы, скажем, с Пастернаком. Чему-чему, а прощать мы у нее научились.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Общение с ней было не меньшей школой, чем ее поэзия. Я знал Анну Андреевну около десяти лет, приходил то довольно

часто, то через годы, и продолжительность пауз никогда не имела значения. Ничто не ослабевало и не стушевывалось. Все было важно — и как она писала, и как жила.

Творчество

Ирина Николаевна Пунина (1921–2003), *искусствовед, дочь третьего мужа Ахматовой Н. Н. Пунина:*

В своем творчестве и в человеческой судьбе Анна Ахматова шла твердо, уверенно, целеустремленно; интересовавшие ее в юности, в молодости поэты, друзья, знакомые в дальнейшем, как бы исчерпав ее интерес к ним, отстранялись ею, иногда даже безжалостно. Ее душа, ее творческая сущность жаждали нового общения, новых открытий. Почти до самых последних лет жизни она редко обращалась к прошлому, прежние знакомства и дружеские связи поддерживала лишь иногда, временами. И это было не только в силу сложившихся обстоятельств… Огромная личная сила, направленная, главным образом, на творчество, как будто заставляла ее выпивать до дна, исчерпывать взаимоотношения с людьми и затем отстранять со своего жизненного пути тех, кто ей больше не был интересен.

Наталия Иосифовна Ильина:

Литература была делом, ее близко касающимся, непосредственно задевающим, тут она ничего прощать не собиралась, тут была неумолима.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

А.А. раздражалась, когда ее называли *поэтессой,* а по поводу рубрики *женская поэзия* (Каролина Павлова, Ахматова, Цветаева) говорила: «Понимаю, что должны быть мужские и женские туалеты. Но к литературе это, по-моему, не подходит».

Анна Андреевна Ахматова:

Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет (оно было чудовищным), но уже раньше отец называл меня почему-то «декадентской поэтессой»… Кончать мне пришлось (потому что семья переехала на юг) уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую), в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах… Все это время (с довольно большими перерывами) я продолжала, писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, «Песня последней встречи» мое двухсотое стихотворение.

Pro domo mea[1] скажу, что я никогда не улетала или не

уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. «Знакомить слова», «сталкивать слова» — ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь — точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но, когда это удается, люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Самая тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее.

Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует, просто невозможно.

Лидия Корнеевна Чуковская:

3 *июня 1940*. …Я решилась спросить у нее: сейчас, после стольких лет работы, когда она пишет новое, — чувствует она за собой свою вооруженность, свой опыт, свой уже пройденный путь? Или это каждый раз — шаг в неизвестность, риск?

— Голый человек на голой земле. Каждый раз.

Помолчав, она сказала еще:

— Лирический поэт идет страшным путем. У поэта такой трудный материал: слово. Помните, об этом еще Баратынский писал? Слово — материал гораздо более трудный, чем, например, краска. Подумайте, в самом деле: ведь поэт работает теми же словами, какими люди зовут друг друга чай пить…

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Однажды Анна Андреевна рассказала о том *особом самочувствии,* какое предшествует у нее рождению стихов. Неясный еще для самой себя внутренний шум, внутренняя музыка и ритм возникают сначала невнятно, в каком-то звучании-мычании, выливаясь потом в поэтический образ.

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов

Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Когда Анна Андреевна жила вместе с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела восьмидесятилетняя бабка <…> бабка все огорчалась, что у хозяек нет денег: «Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень… И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные — как я им пальто подаю». Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а жужжать — означало сочинять стихи. В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала).

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Труднее всего сказать о самом главном в жизни Ахматовой — о том, как рождалась ее поэзия. Ее домашние рассказывали, что, сочиняя стихи, она ходила по своей комнате и, как они выражались, «гудела». Это значило, что она повторяла и проверяла вслух возникавшие в ней слова и строки (Маяковский называл эту изначальную стадию своего стихосозидания «мычанием» — «Как делать стихи?»). Она обращалась к бумаге чаще всего лишь тогда, когда в ней складывалось все стихотворение, и записывала его на одном из случайных листочков. Самую суть зарождения и протекания творческого процесса и его природу она лучше всего характеризует сама в большом лирическом цикле «Тайны ремесла» (1936–1959) и примыкающих к нему стихотворениях.

Валентин Дмитриевич Берестов (1928–1998), *поэт:*

Когда приходило вдохновение, Ахматова внезапно исчезала от нас в свою комнату, сказав на прощанье в мужском роде: «Я ушел!» А иногда она вообще к нам не выходила. Окно было завешено. Дверь плотно прикрыта. И вдруг дверь на мгновение

открывается, из темноты возникает и машет, как крыло, обнаженная белая рука: «Я — больной!» Но если бы Ахматова не занавесила окно, не легла, не отключилась от мира, она бы и вправду заболела. Вдохновение, как она признавалась в стихах, трепало ее, будто лихорадка. «А потом весь год ни гугу»…

Нельзя представить Ахматову в очках. Она берегла свой облик. В Ташкенте у нее уже не было знаменитой челки. Думаю, расставшись с ней, Ахматова как бы отделилась от себя прежней, повела какой-то новый отсчет времени. И все же я помню Ахматову в очках. Бредет по двору, как лунатик, но только дневной, если такие бывают. Бредет, не видя препятствий, но и не натыкаясь на них. Петляет между дымящимися дворовыми очагами-мангалами, не замечая ничего вокруг, даже того, что забыла очки на носу. Значит, сочинив, отдернула штору, оделась, бросилась к столу и, нацепив скрываемые от мира очки, принялась записывать, править. Но письменного стола и бумаги ей мало, она, не думая о своем виде, вышла из дому. Кружит по двору, шевелит губами, неслышно проговаривает вариант за вариантом. Когда мы первый раз увидели ее в окно (через комнату мимо нас она прошла незаметно, как тень), она была в сереньком с белой оторочкой по вороту выходном платье, в туфлях на высоких каблуках, очки скрадывают горбинку на «бурбонском» носу.

Анатолий Генрихович Найман:

Говорить про Ахматову «она писала стихи» — неточно: она записывала стихи. Открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто, вместо строчки еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом, иногда через несколько дней. <…> Некоторые стихи она как будто находила: они уже существовали где-то, никому на свете еще не известные, а ей удавалось их открыть — целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишия… <…>

Когда она «слагала стихи», этот процесс не прерывался ни на минуту: вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала-проборматывала — «жужжала» — неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым, и потому всеми слышимым, выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. <…> Она

настаивала на том, чтобы в стихах было меньше запятых и вообще знаков препинания, но широко пользовалась знаком, который называла «своим», запятой-тире, при этом ссылалась на того же Лозинского, который сказал ей: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Когда я однажды указал ей на одно место в рукописи: «Тут следовало бы поставить запятую», — ответ был: «Я сама чувствовала, что тут есть что-то запятое». <…>

Стихи не оставляли ее и во время болезни — в больнице она написала много известных стихотворений — и даже в бреду, в тифозном бараке сочинила:

Где-то почка молодая,
Звездная, морозная…
Ой худая, ой худая
Голова тифозная, —

и так далее — стихи, которые, по ее словам, некий почтенный профессор цитировал студентам-медикам как пример документальной фиксации видений, посещающих больного тифом. Иногда стихи ей снились, но к таким она относилась с недоверием и подвергала строгой проверке на трезвую, дневную голову.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я часто вспоминаю, вернее всегда помню, один коротенький рассказ про Анну Андреевну, который я однажды слышал от Любови Давыдовны Стенич-Большинцовой. Когда она впервые приехала к ней в Комарово, чтобы Анна Андреевна не оставалась там одна, и спали они в одной комнате, первые ночи она подолгу не могла заснуть, потому что Анна Андреевна во сне все время не то что-то бормотала, не то пела. Слов нельзя было различить — только ритм, совершенно определенный и настойчивый: «Казалось, она вся гудит, как улей».

Ника Николаевна Глен:

Одно из самых пронзительных моих воспоминаний: по воле случая я оказалась свидетелем таинства — или, по крайней мере, мне так показалось. Зимой, кажется, 1959 года Ахматова жила в Доме творчества в Комарове. Я приехала туда на два дня повидаться с ней. После обеда, который ей принесли в комнату, Анна Андреевна сказала, что полежит, может быть, заснет, но меня просила не уходить. Я сидела на диване, что-то читала, Анна Андреевна ушла за портьеру, отделявшую кровать. Через некоторое время я услышала стон, испугалась, приоткрыла

портьеру — Анна Андреевна лежала с закрытыми глазами, лицо спокойное — по всей видимости, спит. Стон повторился, но тут уже он показался мне каким-то ритмически организованным. Потом еще, а потом Ахматова произнесла довольно внятно, хотя слова и не совсем еще выделились из гудения-стона:

Неправда, не медный,
Неправда, не звон —
Воздушный и хвойный
Встревоженный стон
Они издают иногда.

Когда через некоторое время Анна Андреевна проснулась и вышла ко мне, я сказала ей, что произошло. Отозвавшись на мою потрясенную физиономию лишь лукавым взглядом («А вы что думали? Так оно и бывает» — можно было его истолковать), она заговорила спокойно: «Да, вы знаете, в сегодняшней газете стихи Дудина, и он пишет, что у сосен медный звон, что сосны медные. Это неправда, посмотрите — какие же они медные. Я их хорошо знаю, я всегда их в Будке слушаю. Как там у него? Прочтите, прочтите, это в «Ленинградской правде»». Я прочла:

И доносится сквозь сон
Медных сосен медный звон.

Ахматова повторила свои строчки и сказала: «А дальше будет лучше». Но, кажется, «дальше» не было.

Здесь же уместно, вероятно, привести один записанный «по свежим следам» телефонный разговор. Позвонив, я, видимо, спросила Анну Андреевну, не помешала ли я ей. В ответ услышала: «…вы ничему не можете помешать. Стихи я сочиняю рано утром, перед тем как проснуться, а в остальное время ничего важного быть не может. Да, да, в молодости я сочиняла вечером и потом спокойно засыпала, уверенная, что не забуду И не забывала. А теперь уже не то, да вечером как-то и не получается, а утром, перед тем как проснуться, иногда еще ничего, выходит».

И еще о том, как ведут себя стихи. В открытке, которую я получила от Ахматовой из Италии, из Катаньи, Анна Андреевна написала: «Стихи — молчат».

Игнатий Михайлович Ивановский:
Настоящей рабочей порой для Ахматовой всегда была ночь.

Татьяна Михайловна Вечеслова:

Как-то, когда я ближе узнала Анну Андреевну, я спросила ее:

— Анна Андреевна, скажите, как вы пишете стихи?

Мы сидели за столом, было много народу. Она ответила мне тихо, на ухо:

— Это таинство.

Галина Лонгиновна Козловская:

Приблизительно через полгода после знакомства я успела присмотреться к тайне возникновения ее стихов. И хотя тайна всегда оставалась тайной, но были приметы жизни, которые чудесным законом поэзии вписывались, включались в стихи. Было удивительно наблюдать, как реалии жизни вдруг преображались в ее поэзии.

Иногда было достаточно одного слова, какого-нибудь впечатления, нечто случайное и неожиданное — и совершалось магическое преображение. Она сама точно об этом рассказывала: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда».

Лев Владимирович Горнунг:

Софья Яковлевна (Парнок, поэт. — *Сост.),* рассказывая нам о своей поездке, в основном говорила о встрече с Ахматовой.

Очень ее удивило, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый.

Анна Андреевна объяснила это тем, что после смерти Александра Блока все его черновые рукописи стали доступны посторонним, в них рылись и пытались разобраться уже в первые дни после кончины Блока, и ей видеть это было неприятно. <…> Парнок хотела подарить свою книгу стихов Ахматовой и подписать ее чернилами, как обычно, но у Ахматовой не нашлось чернил, зато на столе лежал огромный карандаш, толстый, длиною около аршина. Он был остро заточен.

Наталия Александровна Роскина:

Читала она по тетрадке — и я впервые увидела ее косой, округлый, своеобразный почерк, строчки, загибающиеся кверху, как вьющееся растение.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Писала она наискосок, концы строк загибались вверх. В конце каждого стихотворения непременно стоял год, месяц и место

сочинения.

Михаил Борисович Мейлах:

Анна Андреевна делала надписи обычным для нее четким и предельно простым почерком с очень изящными очертаниями букв — в ее почерке было что-то общее с ее произношением. Строчки пересекали страницу немного наискось (снизу вверх):

> Опирая на ладонь свою висок,
> вы напишете о нас наискосок

(строки Бродского, из которых последняя взята Ахматовой эпиграфом к стихотворению «Последняя роза»).

Анатолий Генрихович Найман:

Она любила быстрым росчерком рисовать на первой странице рукописи не то знак, не то букву «а», и это была единственная выходившая из-под ее пальцев — если оставить в стороне почерк — графика.

Лидия Корнеевна Чуковская:

11 января 1964. …Мы сели работать. Анна Андреевна в кресле. Я за столом. Перед нею две табуретки, на табуретках старый чемодан. На чемодане: очки — без футляра, оправа дыбом! и почему-то, как всегда, неочиненный карандаш. Тупой. Говорит, ей на чемодане удобнее, чем за столом. Высоко над этим табуретно-чемоданным сооружением плечи и прекрасная голова Анны Ахматовой. Наклоняться над бумагой ей не требуется: она зрячая, читает издали. Голова закинута, опущены на бумагу глаза.

Владимир Григорьевич Адмони (1909–1993), *поэт, переводчик, литературовед:*

Необычайно устойчивым было отношение Ахматовой к поэзии, к стихотворению. Во всех наших бесчисленных разговорах о стихах, при оценке услышанного стихотворения, всегда, среди прочих замечаний, возникала оценка двух его сторон. Первую из них можно было бы назвать тематической, потому что сама Ахматова нередко, но не постоянно употребляла, касаясь этой стороны стихотворения, слово «тема». Точнее, может быть, здесь было бы слово «постижение» — слово, которое использовала в наших общих беседах и потом сформулировала в своей книге «Заметки о лирике» Тамара (Тамара Исааковна Сильман, жена Адмони. — *Сост.)*. И Ахматова порой тоже употребляла это

слово, но оно все же не было ее словом, в отличие от слова «тема». Иногда, с прямым вызовом, Ахматова употребляла, впрочем, вместо слова «тема» даже слово «содержание» — слово, отвергнутое новейшей во времена Ахматовой поэтикой, как слишком внешнее и грубо противопоставлявшее смысл стихотворения и его форму. Но Ахматова считала исключительно важным, чтобы стихотворение что-то о чем-то говорило, чтобы оно открывало что-то читателю, притом открывало правильно, касаясь сути того, о чем в стихотворении было сказано. Это относилось в полной мере и к пейзажным стихам. Я запомнил это особенно хорошо потому, что почти каждое мое стихотворение, которое я читал ей, она оценивала, в частности, «правильное» это стихотворение или нет. И если ей казалось, что оно «правильное», верно говорившее о чем-то читателю, она была удовлетворена. Сначала она объясняла такой свой подход теми соображениями, о которых я уже сказал. Затем перестала это делать и просто говорила, верно ли то, что сказано в стихотворении.

А второе соображение, постоянно принимаемое Ахматовой в расчет при формулировке своего отношения к стихотворению, это мера его лаконичности. Чем сжатее, короче было стихотворение, тем больше ценила его Ахматова и не раз говорила, что сама всячески стремится, хотя и тщетно, к сконцентрированности. На наши восклицания, что она всегда была великим мастером краткого стихотворения, Ахматова отвечала, что прежде ее поэзия была действительно такой, но что теперь (это «теперь» прозвучало в первый раз в конце сороковых годов) такая лаконичность порой не дается ей и что порой в таких случаях она предпочитает оставить стихотворение фрагментом.

Конечно, говорилось не только о теме и краткости стихотворения. Более того, говорилось об этом лишь тогда, когда — молчаливо или явно — стихотворение считалось состоявшимся, когда оно звучало как подлинная поэзия. Но это не разбиралось, как не разбираются в самом факте чуда, если ему поверили; Ахматова разбиралась, скорее, в том, не злоупотребил ли поэт этим чудом и был ли он достаточно строг к себе.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Ахматова создала лирическую систему — одну из замечательнейших в истории поэзии, но лирику она никогда не мыслила как спонтанное излияние души. Ей нужна была поэтическая дисциплина, самопринуждение, самоограничение творящего. Дисциплина и труд. Пушкин любил называть дело поэта — трудом поэта. И для Ахматовой — это одна из ее пушкинских традиций. Для нее это был в своем роде даже

физический труд.

Один из почитателей Анны Андреевны как-то зашел к ней, когда она болела, жаловалась на слабость, сказала, что пролежала несколько дней одна в тишине.

— В эти дни вы, должно быть, писали, Анна Андреевна…

— Нет, что вы! Разве можно в таком состоянии писать стихи? Это ведь напряжение всех физических сил.

Труд и самопроверка. В разговоре с Анной Андреевной я как-то упомянула о тех, кто пишет «нутром».

— Нутром долго ничего нельзя делать, — сказала Анна Андреевна, — это можно иногда, на очень короткое время.

— А как Пастернак? В нем все же много иррационального.

— У него это как-то иначе…

Лирика для Ахматовой не душевное сырье, но глубочайшее преображение внутреннего опыта. Перевод его в другой ключ, в царство *другого слова,* где нет стыда и тайны принадлежат всем. В лирическом стихотворении читатель хочет узнать не столько поэта, сколько себя. Отсюда парадокс лирики: самый субъективный род литературы, она, как никакой другой, тяготеет к всеобщему.

В этом именно смысле Анна Андреевна говорила: «Стихи должны быть бесстыдными». Это означало: по законам поэтического преображения поэт смеет говорить о самом личном — из личного оно уже стало общим.

Наталия Иосифовна Ильина:

Как-то в присутствии Анны Андреевны я спросила Марию Сергеевну Петровых об одной молодой поэтессе. «Она способная!» — ответила Мария Сергеевна. И тут Ахматова гневно: «Способных поэтов не бывает! Или поэт, или нет! Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол: дай, дескать, потружусь. Стихи — это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так — читатель сразу поймет и почувствует!»

Анна Андреевна Ахматова:

Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых поэт может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других — стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле «Шиповник цветет» действительно одуряюще благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом. Это, однако, относится не только к собственным стихам. У Пушкина я слышу царскосельские

водопады («сии живые воды»), конец которых еще застала я.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Как-то, когда я пришел к Анне Андреевне на Ордынку, она мне сказала, что к ней вернулось раньше написанное стихотворение, которое она забыла. Оно было посвящено Пастернаку: «И снова осень валит Тамерланом…» Ахматова была обрадована случайной находке: из-за того, что она плохо помнила свои стихи и далеко не всегда (из осторожности) их записывала, а архив ее много раз погибал (при обысках, а иногда и когда сама она сжигала часть бумаг), у нее не так много сохранялось из сочиненного после тридцатых годов. Многое хранилось в памяти таких ее слушательниц, как Лидия Корнеевна Чуковская. Но часть стихов пропала навсегда.

Лидия Корнеевна Чуковская:

3 *февраля 1964.* …Анна Андреевна надела очки и принялась читать. Страницу за страницей читала весьма сосредоточенно. Собственною рукою не исправляла ничего, но мне иногда диктовала поправки и даты. С датами беда: то продиктует не только год, но и месяц и число, и даже час суток, а один раз — число, но ни года, ни месяца. Не обошлось и без внезапных приступов гнева: она так иногда сердится на строки, ею самою созданные, будто это не она сочинила, а кто-то другой, очень глупый.

Владимир Григорьевич Адмони:

Вопреки всей своей внутренней цельности и устойчивости, Ахматова, когда мы познакомились, весьма неодобрительно относилась к поэзии своих молодых лет, которая сделала ее знаменитой. Ахматовой казалось, что эта ее прежняя поэзия заслоняет поэзию новую, более значительную, более мощную. Ахматовой представлялось необычайно несправедливым, что она все еще слывет — и у нас, и за рубежом — автором преимущественно любовных и камерных стихов. Я постоянно спорил с Ахматовой и защищал от нее ее собственные стихи.

Анна Андреевна Ахматова:

У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.
Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя сменить, сестра…» — там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чем до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной.

Маргарита Иосифовна Алигер:

К своим молодым стихам она относилась безжалостно, судила их жестоко, как людей: они и недобры, и неумны, и даже бесстыдны. Разъяснила мне природу такого отношения. Когда после долгого непечатания держала корректуру сборника «Из шести книг», увидела их вдруг совсем другими глазами, другим зрением, из другого времени, из другой жизни, из другой себя. И безжалостно осудила. Если кто-нибудь заговаривал о них или, не приведи господи, из самых добрых намерений, обмирая от восторга, произносил какие-нибудь общеизвестные строки, у нее делалось отчужденное, замкнутое лицо и она торопливо произносила: «Да, да, благодарю вас!» — торопясь оборвать разговор и повернуть его в другое русло. — И это уже непоправимо, — сухо говорила она. — И я решительно не могу понять: чем, почему они так нравились людям?

Алексей Владимирович Баталов:

…Анна Андреевна позволяла себе иронизировать по поводу собственных знаменитейших стихов. И это ничуть не противоречило ее внешней царственности, не нарушало ее внутренней поэтической гармонии. Напротив, только дополняло и обогащало ее образ, сообщая ему то четвертое измерение, по которому Мандельштам отличал поэзию от рифмованных строк. <…>

Но самое безжалостное, публичное издевательство над стихами Анны Андреевны устраивалось в виде представления. Гости, которых Ахматова развлекала таким образом, особенно

преданные почитатели, каменели и озирались, точно оказавшись вдруг в дурном сне. Теперь я могу засвидетельствовать, что вся режиссура и подготовка этого домашнего развлечения принадлежат самой Анне Андреевне. Хотя, конечно, тут есть и своя предыстория.

Когда, вернувшись в Москву, на эстраде вновь появился Вертинский, кажется, не было человека, который избежал бы увлечения этим артистом. …Благодаря множеству общих друзей Вертинский скоро появился и в доме Ардова. А на лето наши семьи поселились в дачном поселке Валентиновка, где издавна отдыхали многие актеры театра, певцы, писатели и художники. Таким образом я получил возможность не только часто бывать на концертах Александра Николаевича, но и наблюдать его дома. Необычайно доброжелательный, остроумный и какой-то открыто талантливый человек, Вертинский легко заражал окружающих своей фантазией и постоянно поддерживал малейшие проблески творческих начинаний, так что ни одно домашнее торжество не обходилось без выдумки и всяческих веселых сюрпризов.

И вот для одного из таких дачных собраний силами молодежи Давид Григорьевич Гутман подготовил Вертинскому ответное представление, в котором я должен был изобразить самого Александра Николаевича.

…Александр Николаевич смеялся больше всех и после подготовленного номера заставил меня спеть еще несколько куплетов из разных песен. Надо сказать, что секрет успеха заключался не столько в самом исполнении, сколько в невероятном знании материала. Кроме слов всего репертуара Вертинского, бывая на концертах, я выучил и все его жесты, притом не только вообще присущие ему, а точно к каждому куплету.

С тех пор номер и остался для разных домашних и студенческих развлечений. Постепенно я настолько приспособился к пластике и характеру интонации, что легко подменял текст, заменяя слова песен нужными к случаю сочинениями. Особенно несуразно и смешно звучали в манере салонного романса стихи Маяковского. Анна Андреевна не раз заставляла меня повторять эти пародии и таким образом прекрасно знала весь мой репертуар. И вот однажды при большом собрании гостей после чтения стихов, воспоминаний и всяческих рассказов вечер постепенно перешел в веселое застолье. Стали перебирать сценические накладки, изображали актеров, читали пародии и так постепенно добрались до Вертинского. Ничего не подозревая, я изобразил несколько куплетов, в том числе и на стихи Маяковского, и уже собирался уступить площадку

следующему исполнителю, как вдруг Анна Андреевна сказала:

— Алеша, а вы не помните то, что Александр Николаевич поет на мои стихи?

Я, конечно, помнил переложенные на музыку строки Ахматовой «Темнеет дорога приморского сада…», но Вертинский в те годы не включал этот романс в программу концертов, и его можно было слышать только в граммофонной записи. На этом основании я и стал отговариваться от опасного номера.

— Но это неважно, — улыбнулась Анна Андреевна, — тогда какие-нибудь другие, как вы берете из Маяковского… Пожалуйста, это очень интересно.

Так я во второй раз оказался лицом к лицу с автором. Только теперь напротив меня вместо Вертинского сидела Ахматова, а вокруг, как и тогда, — несколько притихшие настороженные гости. Отступать было некуда, мой верный аккомпаниатор уже наигрывал знакомые мелодии. Здесь следует заметить, что даже переложение Маяковского выглядит не столь противоестественно и разоблачающе, как в случае с Ахматовой, потому что у него речь идет все-таки от лица мужчины, в то время как сугубо женские признания и чувства Ахматовой в соединении с жестом и чисто мужской позицией Вертинского превращаются почти в клоунаду.

Я сразу почувствовал это и потому решительно не знал, что же делать. Тогда, как бы помогая, Анна Андреевна начала подсказывать на выбор разные стихи. И тут мне стало совсем не по себе — это были строки ее лучших, известнейших сочинений… Но она явно не хотела отступать. В такие минуты глаза Ахматовой, вопреки царственно-спокойной позе, загорались лукаво-озорным упрямством и казалось, она готова принять любые условия игры. Подсказывая, как опытный заговорщик, каждое слово, она наконец заставила меня спеть первые строки. Я осмелел, и романс стал понемногу обретать свою веселую форму.

Так в тот раз Анна Андреевна публично организовала и поставила этот свой пародийный номер, которым потом нередко «угощала» новых и новых гостей. Думаю, многие из них и сегодня не простили мне того, что я делал со стихами Ахматовой, поскольку не знали ни происхождения этой пародии, ни той лукавой мудрости и внутренней свободы, с которыми Ахматова относилась к любым, в том числе и своим собственным творениям.

Все это можно бы оставить в сундуке сугубо домашних воспоминаний и не связывать с представлениями о поэзии Ахматовой, но в таких, несколько варварских развлечениях, а главное, в том, как относятся к ним сами герои, мне всегда

чудится и некоторое проявление скрытой силы, ясности авторского взгляда на мир и на свое место в нем. Будучи совершенно явным исключением среди всех окружающих, Анна Андреевна никогда сама не огораживала свои владения, не исключала ни себя, ни свои стихи из окружающей ее жизни.

Она всегда охотно читала свои новые сочинения друзьям, людям разных поколений и спрашивала их мнение и слушала их противоречивые суждения, а главное, до последних дней действительно была способна слышать то, что они говорили.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Помню, как Ахматова раз отозвала меня в сторону и стала читать незадолго до того написанные стихи «Родная земля» («В заветных ладанках…»). Впервые написанное (так было и со стихотворением, где есть строки «Такое выдумывал Кафка и Чарли изобразил») Анна Андреевна читала иногда очень тихо (но обычно наизусть — видимо, последнее написанное помнила хорошо, сбивалась редко). Ей нужна была рецензия, необходимо было удостовериться в качестве только что написанного. Ее заботила реакция того, кто слушал одним из первых. Потом она могла прочитать их и еще — или на следующий раз, или в более широком обществе (первое чтение Анна Андреевна предпочитала при одном слушателе). Так, «Родную землю» вскоре я услышал, когда мы вместе были у Ивана Дмитриевича Рожанского.

Виталий Яковлевич Виленкин:

На какое-нибудь замечание по поводу ее нового стихотворения, или отдельного стиха, или слова никогда не возражала, но, помолчав, обычно говорила: «подумаю», а иногда просто молча кивала в ответ головой. Бывало, проверяла себя, заранее требуя от слушателя полной откровенности. Несколько раз я от нее слыхал: «Я знаю, вы мне скажете *всю* правду», «Только скажите мне совершенно откровенно, хорошо?» и т. д.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Ахматова много думала о большой повествовательной форме. Часто она фиксировала внимание на неиспользованных сюжетах современности. Однажды мы обсуждали судьбу общей знакомой. Десятилетиями она питала душу обманчивыми надеждами.

— Еще один пропавший сюжет, — заметила я.

— Нет, — возразила Анна Андреевна. — Об этом уже написано. — И она стала излагать содержание рассказа Джона Стейнбека «О мышах и о людях», тогда еще у нас не переведенного. <…> Когда рассказ Стейнбека был напечатан по-

русски, я сопоставляла его с изложением Ахматовой и не находила пластических сцен, запомнившихся с ее слов, не испытывала пронзительной жалости к убогим и трагическим душам этих людей и не ощущала так явственно сквозной идеи рассказа о безнадежной надежде.

То же самое было с «Процессом» Кафки, который Анна Андреевна прочла по-французски. Она пересказывала содержание романа гостям, собравшимся в ее ленинградской квартире на улице Красной Конницы. Лет через 6–7 «Процесс» вышел у нас в русском переводе. Я начала его читать. Где эти мрачные предзнаменования и предчувствия, набегавшие как волны? Где огненные повороты сюжета? Почему я не чувствую острой новизны будней? Мне виделись два просторных ленинградских окна, большой обеденный стол, за ним мы все — немного чужие друг другу — молча слушаем сдержанный и раскаленный рассказ Ахматовой.

Видимо, эти пересказы были для Ахматовой каким-то вторичным творческим процессом. Отсюда ее живейший интерес к построению сюжета. Каждый новый прочитанный роман подвергался ее придирчивой критике. Она проверяла линии развития сюжета, правильность мотивировок. Если она находила отклонения от истины в деталях, все произведение для нее разваливалось. Она прочла известный французский роман, где завязка строится на уличной сцене, увиденной из окна мансарды. Анна Андреевна проанализировала топографию описанного места и пришла к выводу, что улица не могла быть видна из этого окна. И какой бы острой ни была проблематика или динамичной фабула, после таких ошибок роман уже не мог привлечь ее внимания.

Все это признаки непрерывной внутренней работы, знаменовавшей тяготение Ахматовой к выходу в новые литературные жанры. Как-то я сделала мимолетное признание, вовсе не ссылаясь на лефовскую теорию «литературного факта» и не цитируя Льва Толстого, хотя можно было тогда привести его известные слова: «Со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Петровича… Писатели… будут только рассказывать то значительное… что им случилось наблюдать…» Без привлечения этих авторитетов я говорила Анне Андреевне о том же, но как о своей индивидуальной склонности. — Значит, просто в вас этого нет, — воскликнула Анна Андреевна. — Это — *самое главное!* Итак, самое главное — художественный вымысел. Восклицание Ахматовой — ключ к ее затаенным интересам. Ни занятия Пушкиным, ни мемуарные

очерки, ни работа над автобиографией, ни публицистические статьи (а публицистическим темпераментом пронизаны многие работы Ахматовой о Пушкине) — вся эта деятельность не покрывала ее тяги к прозе. Мне кажется, что Ахматовой владело неосознанное стремление создать традиционный психологический роман на широком историческом фоне XX века. Но все это брожение творческих сил впитала в себя «Поэма без героя».

Надежда Яковлевна Мандельштам:

А.А. сказала, что, вероятно, писала бы прозу, а не только стихи, если б жизнь сложилась иначе. Мне не очень верится: в исследованиях о Пушкине звучит ее жесткий голос и чувствуется сила анализа, в отдельных же автобиографических отрывках она как-то все смягчает, осторожничает, стушевывает. Писем же, по которым можно судить о свободной прозе, она никогда не писала, чтобы неосторожным словом не выдать в них себя. У нее был хороший предлог отказаться от писем: противно писать, когда знаешь, что твое письмо вскроют и прочтут не те, кому оно адресовано, но и в юности она на этот счет была сдержанна.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Как-то раз у меня собралось довольно много народа, и Анна Андреевна вошла в комнату во время разговора о Кафке, которого тогда, впрочем, еще мало кто из нас читал в подлиннике или хотя бы в переводе. Усевшись в кресло, она без малейшей паузы включилась в этот разговор и моментально им завладела. Мы все рты разинули, когда она по общей просьбе стала пересказывать нам роман «Процесс», причем пересказывать так, что было впечатление, будто мы слушаем самого автора. До сих пор думаю, что это было какое-то наитие сотворчества: ни одного лишнего слова в этом потоке подробностей, как бы перегонявших одна другую, но в то же время поразительно рельефных. Продолжалось это странное действо чуть ли не целый час, но Анна Андреевна не устала нисколько, только щеки у нее разгорелись и глаза необычно блестели.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Творческая работа происходила в ней всегда и принимала подчас неожиданные формы. Никто не знал и не видел, когда она писала стихи, — это естественно и нормально. Но иногда она говорила: — Сегодня всю ночь не спала и совершенно придумала сценарий. Ну до того придумала, что остается только сесть и записать.

Мне было удивительно это слышать: Анна Ахматова — и сценарий! Вот уж не вяжется! А она, значит, думала и о кино.

Рассказывала о написанной во время войны пьесе о летчике. Опять странно: Анна Ахматова — и авиация! Но все это влекло ее, присутствовало в ней.

Анатолий Генрихович Найман:

К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской «почтовой лошадью просвещения», а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов, и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь, главным образом, переводами. Свои стихи она писала когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего, — а переводила каждый день, с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней — за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена. Это вовсе не значит, что она неохотно работала: все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным: она называла себя, чуть-чуть на публику, профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос («вслед за Пушкиным»), некоторые из корейской классической поэзии, «Скиталец» румына Александру Тома…

Она переводила Незвала, которого называла «парфюмерным», Гюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и т. п. критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. «Мы все переводим с подстрочника: тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник». Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод «Гильгамеша», сделанный Дьяконовым, точнее гумилёвского: «Коля занимался культуртрегерством, и только, он переводил с французского — как тут можно сравнивать!»

Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи? — говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. — Что ж, благородно с его стороны». Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Стихотворный перевод Ахматова называла трудным и благородным искусством. Сама она обратилась к переводу лишь на склоне лет. Переводила по подстрочникам, причем сразу отличала и высоко ценила хороший подстрочник. Но даже хороший подстрочник не удовлетворял Анну Андреевну. Вникнув в него и, если была возможность, послушав чтение стихотворения в подлиннике, Ахматова создавала свой собственный подстрочник и только тогда принималась переводить. Она не ставила переводы в общий ряд с собственными стихотворениями, как это делали Пушкин и Лермонтов, но никогда не переводила равнодушно. Ее внутренний отклик мог быть сильнее или слабее, но чувствуется он в каждом переводе. <…> Как-то сказала:

— Рифма в своих стихах помогает, ведет. В переводе это орудие пытки. <…>

Когда Ахматова взялась за переводы с корейского, встал вопрос о стихотворном размере. Русская и корейская системы стихосложения несоизмеримы. Как быть?

По просьбе Анны Андреевны к ней пришли студенты-корейцы. Пели, играли на своих инструментах. Ахматова вслушивалась. На размер она махнула рукой и просто написала стихи, соображаясь со смыслом и настроением подлинника. Это был единственно правильный выход.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

И она обладала особым даром *чтения.* В детстве, в ранней юности мы читаем бескорыстно. Мы перечитываем, перебираем прочитанное и твердим его про себя. Постепенно это юношеское чтение вытесняется профессиональным, вообще целеустремленным чтением, ориентированным на разные соображения и интересы. Анна Андреевна навсегда сохранила способность читать бескорыстно. Поэтому она знала свои любимые книги как никто. Готовя комментарий к различным изданиям, приходилось нередко сталкиваться с нераскрытой цитатой из Данте, Шекспира, Байрона. По телефону звоню специалистам. Специалисты цитату не находят. Это вовсе не упрек — по опыту знаю, как трудно в обширном наследии писателя найти именно ту строку, которая вдруг кому-то понадобилась. Остается позвонить Анне Андреевне. Анна Андреевна любила такие вопросы (их задавала ей не я одна) — она называла это своим справочным бюро. Иногда она определяла цитату сразу, не вешая телефонную трубку. Иногда говорила, что для ответа требуется некоторый срок. Не помню случая, чтобы

цитата осталась нераскрытой.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Ахматова говорила, что у поэта непременно должен быть досуг. Время, когда он, по-видимому, ничем не занят.

Конечно, она имела в виду не ленивое и никчемное безделье, а тот досуг сознания, когда открывается полная свобода подсознательной работе мозга.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда Анна Андреевна брала в руки русскую книгу писателей-эмигрантов первой волны, она прежде всего останавливала свое внимание на их языке. Ей бросалась в глаза его правильность. Но это — мертвый язык, говорила она. Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя, утверждала она.

Анна Андреевна очень придирчиво относилась к отклонению от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если в общении с близкими звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки. <…>

Бранное обращение «свинья» Анна Андреевна заменяла домашним арго: «свин», «полусвин», «свинец». <…>

Специфические советские выражения Анна Андреевна вводила в свою речь сознательно.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Ахматову занимал тот сор, из которого растут стихи («Когда б вы знали…»). Она говорила, что поэзия вырастает из таких обыденных речений, как «Не хотите ли чаю?». И из них нужно сделать стихи. В этом для нее было и чудо поэзии, и невыносимые трудности сочинения стихов.

Она мне признавалась, что у нее бывает страх, что стихов вообще больше не будет. От него даже она не была ограждена.

Эдуард Григорьевич Бабаев (1927–1997), *поэт, писатель, литературовед:*

В моей записной книжке сохранились отдельные ее высказывания о поэзии, непохожие на афоризмы, но имеющие законченную форму, благодаря которой они и запоминались как стихи:

— В стихах главное, чтобы каждое слово было на своем

месте.

— Писать надо по крайности. Если этого нет, то лучше воздержаться.

— Многописание не делает поэта…

— Лучшие стихи пишут «на случай», как «Вчерашний день, часу в шестом…» Некрасова…

Игнатий Михайлович Ивановский:

— Если вам скажут, что стихи — занятие для молодых людей, не верьте. Возраст не играет роли. Она это доказала.

Свойства ума и мышления

Лидия Корнеевна Чуковская:

24 июня 1940. Понимает она, угадывает, схватывает с удивительной тонкостью и верностью.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Много думавшая и глубоко переживавшая «личное» и «общее», то, что относилось к исторической и духовной жизни, она была человеком с позицией, с убеждениями, с принципами. Но все это, как часто бывает у людей артистического строя, не приобретало у нее характера системообразных построений. В этом отношении она была далека от символистов, которые редко обходились без концепций или систем — собственных или заимствованных у их предшественников. И однако это отнюдь не лишало мировоззрение Ахматовой направленности и постоянства.

Исайя Берлин (Berlin; 1909–1997), *английский философ, общественный деятель:*

В Ахматовой ум, способность к острой критической оценке и иронический юмор сосуществовали с представлением о мире, которое было не только драматичным, но иногда — провидческим и пророческим…

Анатолий Генрихович Найман:

В ее оценках людей, притом что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему.

Исайя Берлин:

Ее суждения о личностях и поступках других людей совмещали в себе умение зорко и проницательно определять самый нравственный центр людей и положений — и в этом смысле она не щадила самых ближайших друзей — с фанатической уверенностью в приписывании людям мотивов и намерений, особенно относительно себя самой. Даже мне, часто не знавшему действительных фактов, это умение видеть во всем тайные мотивы казалось зачастую преувеличенным, а временами и фантастическим. Впрочем, вполне вероятно, что я не был в состоянии до конца понять иррациональный и иногда до невероятности прихотливый характер сталинского деспотизма. Возможно, что даже сейчас к нему неприменимы нормальные

критерии правдоподобия и фантастического. Мне казалось, что на предпосылках, в которых она была глубоко уверена, Ахматова создавала теории и гипотезы, развивавшиеся ею с удивительной связностью и ясностью. <…> У этих концепций, казалось, не было видимой фактической основы. Они были основаны на чистой интуиции, но не были бессмысленными, выдуманными. Напротив, все они были составными частями в связной концепции ее жизни, жизни и судьбы ее народа, основных проблем, о которых Пастернак когда-то хотел говорить со Сталиным, в картине мира, которая формировала и питала ее воображение и искусство.

Виктор Ефимович Ардов:

Ее суждения о людях, событиях, о нравах — жизненных и литературных — были бескомпромиссны. Иной раз Анна Андреевна произносила свое суждение:

— Это против добрых нравов литературы. И переубедить ее, уговорить, что дело обстоит не так, было невозможно.

Конечно, всегда права была Ахматова, а не ее не слишком щепетильные оппоненты.

Исайя Берлин:

Ахматова ни в коем случае не была визионером, напротив, у нее было сильное чувство реальности. Она могла описывать литературную и светскую жизнь Петербурга до Первой мировой войны и свою роль в ней с таким ярким и трезвым реализмом, что все представало как живое перед глазами.

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Качество памяти было у нее поразительное. О чем бы вы ее ни спросили, она всегда без большого напряжения называла год, месяц, дату. Она помнила, когда кто умер или родился. И действительно, определенные даты были для нее очень важны.

Виктор Андроникович Мануйлов:

Она помнила не только все когда-либо прочитанное и услышанное, но и даты исторических событий, выхода в свет тех или иных книг. Меня всегда удивляли ее точные, с множеством характерных подробностей воспоминания о ее молодых годах в Царском Селе, о встречах с И. Ф. Анненским — директором Царскосельской гимназии, известном поэте, которого она позже назвала своим учителем, о литературной жизни дореволюционного Петербурга.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

В разговорах с Анной Андреевной особенно поражала ее блистательная, феноменально точная память, которая распространялась на явления культуры в такой же мере, как и на мелочи жизненных отношений. (Мне приходилось, например, слышать от нее приблизительно такие фразы: «А прошлым летом вы говорили мне то-то и то-то».)

Наталия Иосифовна Ильина:

Бывало, расскажешь ей что-то с тобой случившееся, тебя касающееся, забудешь, а она помнит. Несколько раз у меня были случаи убедиться в том, что мои обиды, на которые я в свое время жаловалась ей и которые потом забывала, она помнила. Она не забывала ничего. Это удивляло меня и трогало.

Анатолий Генрихович Найман:

Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней.

Михаил Борисович Мейлах:

Ахматова обладала редкостной памятью, наблюдательностью, зоркостью, она тотчас замечала то, на что другие не обращали внимания. Взяв однажды в руки выпуск «Paris Match», посвященный незадолго до того умершему Черчиллю, который остальные перед тем успели просмотреть, она указала на нескольких фотографиях детали, которых никто не заметил, такие как орден Подвязки на ноге Черчилля, или то, что на одном из снимков министр пьян. Она удерживала в памяти не только, как это бывает у пожилых людей, события давнего времени, но и все текущие события.

Анатолий Генрихович Найман:

Ее острый слух («собачий», «как у борзой» — если использовать ее замечания о других) вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении несколько слов, которые, произнесенные ею, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес.

Наталия Иосифовна Ильина:

…Ахматова видела вещи под каким-то иным, непривычным углом: всякие обыденности в устах ее становились значительными — это поражало меня. Той осенью в Голицыне я

открыла в ней блестящий сатирический дар, а несколькими годами позже — и дар комический, что тоже поразило меня… Как-то в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: «Если вдуматься, одного чулка мало!»

Юмор Ахматовой был мне близок, доставлял наслаждение необыкновенное, я хохотала до слез, она меня останавливала, сама не сдерживая улыбки: «Перестаньте смеяться над старухой!» У этой величавой женщины, умевшей оцепеняюще действовать на присутствующих, был абсолютный слух на юмор, а основной признак присутствия такого слуха — это, мне думается, умение смеяться над собой, умение видеть себя в смешном свете.

Виктор Борисович Кривулин (1944–2001), *поэт:*

Уже тогда (при первой встрече. — *Сост.*) *я* почувствовал особую природу ахматовского юмора. Почти все, что она говорила, можно было понимать двояко, двусмысленно. Чем дольше я общался с ней, тем очевиднее становилось, что любое ее высказывание может быть прочитано вплоть до обратного смысла. Это была ирония по отношению ко времени, к себе, по отношению к современникам и к прошлому и, естественно, по отношению к нам. Какая-то тотальная, удивительная ирония, можно сказать, небесная, моцартианская. Ирония, которая для меня до сих пор значит гораздо больше даже, чем ее стихи. Потому что этот самый воздух, которым может дышать поэзия, где каждое слово имеет двойные, тройные смыслы.

Анатолий Генрихович Найман:

Чувство сценичности происходящего было свойств венно ей в высшей степени. Есть очень живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, — сделанная незадолго до смерти и его, и ее. А.А. комментировала снимок: «Эта сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается: «Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын — не твой». Он хватается за голову… А сын тем временем уже профессор в Стокгольме».

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Но в чем я убежден, так это в важности для Ахматовой юмора как очень существенной части европейской культуры (в отличие от восточной, по ее мнению). Она умела находить смешные черты во многом, что иначе казалось бы непереносимо страшным или неизгладимо скучным. Она могла быть язвительной или

изысканно остроумной, но понимала и вкус грубой шутки. Как-то Анна Андреевна сказала мне: «И как мы разговариваем? Обрывками неприличных анекдотов». Один из таких обрывков она любила особенно. Не раз я слышал от нее уместную реплику: «Тоже красиво».

Анатолий Генрихович Найман:

В ее стихах юмор редкость, а в разговоре, особенно с близкими, она часто шутила, и вообще шутливый тон всегда был наготове. Иногда она намеренно сгущала краски, описывая какое-то событие, какое-то свое дело, — ей предлагали тот или иной выход, она говорила: «Не утешайте меня — я безутешна». Негодовала из-за чего-то, ее пытались разубедить — это называлось «оказание первой помощи». Ей советовали что-то, что было неприемлемо, она произносила иронически: «Я благожелательно рассмотрю ваше предложение». Ольшевская жаловалась на нее, что вот, столько дней безвыходно просидела дома, не дышала свежим воздухом, она добродушно защищалась: «Грязная клевета на чистую меня». Она смеялась анекдотам, иногда в голос, иногда прыскала. Вставляла в разговор центральную фразу из того или другого, не ссылаясь на самый анекдот. «И как правильно указывает товарищ из буйного отделения…»; «Сначала уроки, выпить потом…»; «То ли, се ли, батюшка, а то я буду голову мыть…». К пошлости была нетерпима, однажды сказала, возмутившись: «Все-таки есть вещи, которые нельзя прощать. Например, «папа спит, молчит вода зеркальная», как недавно осмелились при мне пошутить. А сегодня резвился гость моих хозяев: «Отчего Н. лысый — от дум или от дам?»» Терпеть не могла и каламбуры, выделяя только один — за универсальное содержание: «маразм крепчал». Однажды сказала: «Я всю жизнь была такая анти-антисемитка, что когда кто-то стал рассказывать еврейский анекдот, то присутствовавший там Х. воскликнул: «Вы с ума сошли — как можно, при Анне Андреевне!»» <…> Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше — точностью своих замечаний, и никогда — абсурдностью, в те годы входившей в моду.

Она шутила, если требовалось — изысканно, иногда и эзотерично; если требовалось — грубо, вульгарно; бывали шутки возвышенные, чаще — на уровне партнера. Но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не «добивала» шутку, видя, что она не доходит, а всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны — подобно шуту-

профессионалу, в разгар поднятого им веселья помнящему о высшем шутовстве.

Михаил Борисович Мейлах:

Ахматова умела находить решения простые и естественные, подсказанные самим ходом вещей. Однажды к ней приехала молодая поэтесса, которая во всем произвела на нее хорошее впечатление, кроме выбранного ею псевдонима. Анна Андреевна спросила у нее фамилию бабушки, которая оказалась подходящей, и вопрос был решен, как более полувека назад для самой Ахматовой. Что-то похожее было и в том, как Ахматова регулировала продолжительность визитов: если посетитель выказывал нерешительность, следует ли ему оставаться дольше, она говорила, взглянув на часы: «Сейчас без четверти шесть? Посидите до шести». Она мудро обращалась со временем: «В день надо делать не больше одного дела».

Собеседница

Галина Лонгиновна Козловская:

Искусство высокого собеседничества, а это действительно ныне утраченное искусство, у Ахматовой было ослепительным.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Общение с Анной Андреевной при свиданиях с ней с глазу на глаз всегда было нелегким. Трудность эта иногда даже переходила в какую-то тяжесть: уж очень крепким концентратом становились порой ее беседы, с их неожиданными углублениями и поворотами, с их какой-то, как я теперь понимаю, непрерывной, неослабевающей существенностью, то есть, проще говоря, с полным отсутствием болтовни и с невольно возникающим отсюда чувством ответственности за свои собственные слова. Хотя, в отличие, например, от Булгакова или, как рассказывают, от Мандельштама, Анне Андреевне, по-моему, совершенно не была свойственна способность незаметно экзаменовать своего нового собеседника.

Михаил Борисович Мейлах:

Создавалось впечатление, что в словах собеседника она встречается с чем-то давно знакомым, с чем ей приятно встретиться снова и черты чего она готова вновь опознать, а эти ее petits mots только соразмеряют происходящее с тем, ей хорошо известным. Попробую определить такое их свойство, как «модальность» — установление зависимости от чего-то, что, однако, трудно было бы назвать. Так, когда собеседник вспоминал что-то, что не представлялось ей значительным, но что она помнила тоже, она говорила: «Что-то было…» «Так тоже бывает», — говорила она, когда, например, узнавала что-нибудь, что как-то выпадало из обычного хода вещей (так, когда я снова навестил ее в Боткинской больнице в Москве после того, как давно уже должен был уехать в Ленинград: «Вы не уехали? Так тоже бывает…»). «Ни за что! Лучше смерть!» — это шутливо, по незначительному какому-нибудь поводу, так же, как: «Этого я вам никогда не прощу». Иногда Анна Андреевна обращалась к собеседнику за подтверждением того, в чем вполне была уверена сама: «Ведь правда?» На вопрос засидевшегося гостя, не занимает ли он рабочее время Ахматовой, ответ прозвучал: «Все равно все пропало».

Такие реплики, как «однако» или «тоже неплохо», позволяли Ахматовой не принимать настоящего участия в разговоре,

который был ей неинтересен, не обижая при этом собеседника. На какой-нибудь вопрос вроде: «Правда ли, что она сейчас пишет книгу о Пушкине?» — она могла с веселой интонацией ответить: «Говорят!» «И всё так…» — могло быть сказано по поводу мелкой неудачи или в ответ на жалобу, которая не казалась Ахматовой достойной. Зато — «только так и бывает» — по поводу очередной какой-то нелепой истории.

Наталия Александровна Роскина:

Анна Андреевна была удивительной собеседницей — терпеливой, расположенной; не помню, чтоб она хоть раз дала мне почувствовать мое невежество, а ведь только теперь мне ясно, сколько раз она могла это заметить!

Анатолий Генрихович Найман:

В беседе всегда была самой собой, произносила фразы спокойным тоном, предельно ясно и лаконично, не боялась пауз и не облегчала, как это принято, ничего не значащими репликами положение собеседника, если ему было не по себе. К тому, что приходят из любопытства или тщеславия, относилась покорно, как к неизбежному, и бывала довольна, если во время такого визита возникало что-нибудь неожиданно интересное. Некоторые решались прийти к ней просто поделиться горестями, чуть не исповедаться — и уходили утешенные: хотя она говорила мало.

Наталия Иосифовна Ильина:

Бессмысленных слов она не говорила никогда. Тем паче слов, которые способны задеть или встревожить собеседника. Английская поговорка: «Воспитанный человек никогда не бывает груб без намерения» — подходила к ней, как ни к кому другому. Так называемых неосторожных слов у нее не вырывалось. Она твердо знала, *что* она говорит и *зачем*…

Наталия Александровна Роскина:

Она никогда не говорила зря. Болтливость, суесловие, ломанье — все это было ей, как никому, чуждо. Она говорила интересно — или молчала. Притом ее высказывания были так лаконичны и остроумны, что, казалось бы, чего проще донести их до бумаги. Но, во-первых, это только казалось. Речь ее была такой, что теперь, вспоминая ее, я чувствую: на бумаге слишком много слов. Она никогда не употребляла современных словечек, а если употребляла, то иронически, приговаривая: «Знаете, как теперь говорят…» И вместе с тем никогда не выражалась старомодно. Очень терпима она, кстати, была к тому, как

говорили при ней.

Анатолий Генрихович Найман:

Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов.

Михаил Борисович Мейлах:

Труднее сказать о том, как говорила Ахматова, и такие слова, как «неторопливо», «делая паузы», «величественно», пожалуй, мало что пояснили бы. Легче сказать о ее произношении, которое по некоторым фонетическим признакам относится к так называемому старому петербургскому. Ахматова произносила глубокое заднее *а* (но сильно редуцированное в безударном положении после шипящих: «шеги», «шелить»), ее речи было свойственно упрощение групп согласных, — но прежде всего четкость, ясность артикуляции. Быть может, еще и потому стихи Ахматовой в ее собственном чтении приобретали особенную выразительность. (На преимущественно артикуляционную ориентированность стиха Ахматовой в свое время указывал Б. М. Эйхенбаум.) Речь Ахматовой воспета в русской поэзии: «Твое чудесное произношенье», «Ваша горькая божественная речь». Замечу, кстати, что слова «поэт», «поэзия» Ахматова по традиции, поддержанной Гумилёвым, произносила с отчетливым, нимало не редуцированным *о*. Некоторые йоты она вокализовала, например, в слове «пейзаж» (без слогового *и* не удастся прочесть стих, которым открывается вторая «Северная элегия»: «Так вот он, тот осенний пейзаж…»). Всякое слово приобретало в ее устах почти вещественную плотность, становилось единственно возможным. И, может быть, не стоило бы специально останавливаться на том, что романские слова — латинские, итальянские, и почему-то русские фамилии, восходящие к тюркским корням (включая собственную: «Имена пяти поэтов начинаются на «Ах»», — шутила Ахматова), звучали в ее произношении удивительно красиво.

Анатолий Генрихович Найман:

При общении с ней возникало отчетливое ощущение трех временных потоков, самостоятельно, но и во взаимодействии включавших в себя каждую протекающую минуту. Во-первых, реальное время — суток, года, состояния здоровья, домашней атмосферы, политической обстановки и т. д. Во-вторых, как это бывает у старых людей, время возраста, время жизни, в котором ничего из прожитого не пропадает, в котором сиюминутный собеседник, или снегопад, или смена правительства оказываются

среди других, когда-то реальных собеседников, снегопадов, смен правительств. Тут появлялись тени, множество теней, почти материализующихся из ее памяти, своим призрачным присутствием вмешивающихся в беседу, корректирующих твою речь и поведение. «Очень переменилась одежда, — сказала она. — Неожиданно и быстро: я не могу представить себе Колю одетым, как вы, в куртку и свитер». И в тот же миг «Коля», в черном сюртуке и белой рубашке со стоячим воротником, оглядывал меня скептически. В-третьих, сама осознавая свою жизнь составной частью исторического времени, она обыденным замечанием вовлекала в эту тысячелетия текущую реку тех, кто оказывался близ нее. В детстве я услышал от друга моих родителей, ориенталиста, фразу, произнесенную к случаю, которая во многом сформировала мое последующее отношение к истории: «У нас в Ассирии за это на кол сажали». «У нас в Египте», «у нас в Риме», «у нас — гибеллинов, елизаветинцев, ордынцев» — было не столько острым словцом в устах Ахматовой, сколько непосредственным ощущением.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Разговаривать с нею о литературе и о чем угодно всегда было интересно и приятно, но нередко как-то невольно, стихийно она направляла беседу от общего к частному, к темам, касающимся ее лично — ее поэзии или ее жизни, — и это было тоже интересно, но все же ограничивало горизонты общения, отнимало от него какую-то долю свободы и непринужденности.

Анатолий Генрихович Найман:

Контекст ее биографии переделывал «под себя» все попадавшее в ее орбиту, даже явления периферийные, даже чуждые ей.

Эмма Григорьевна Герштейн:

В беседе Анна Андреевна любила цитировать поэтов-современников. Иногда к слову, как, например, в тридцатых годах пастернаковское: «Повесть наших отцов, точно повесть из века Стюартов, отдаленней, чем Пушкин, и видится точно во сне». А еще чаще без внешнего повода. Анна Андреевна высоко ценила стихотворение Мандельштама на смерть Ольги Ваксель и часто скандировала:

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей

Холодной стокгольмской постели, —

или:

Я трамвайная вишенка страшной поры,
И не знаю, зачем я живу.

Не раз возвращалась к отдельным строкам ее любимого воронежского стихотворения «…кого, как тень его, пугает лай и ветер косит…».

Анатолий Генрихович Найман:

Как будто из бездонного мешка, набитого ее прошлым, она доставала нужные ей или собеседнику факты, эпизоды, фразы, при надобности снабжаемые академически пунктуальным комментарием дат, мест и обстоятельств, а чаще — без ссылок на происхождение, оторванно от времени, или упоминая о нем приблизительно, или намеренно темно.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

В разговорах Ахматовой были некоторые излюбленные темы, иногда и повторявшиеся формулы и остроты или целые рассказы. Она сама знала за собой склонность к их повторению и сама над собой подшучивала: «Есть у меня такая пластинка».

Анатолий Генрихович Найман:

«Пластинками» она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего, в интонации, в соотнесенности с сиюминутными обстоятельствами, свою импровизационную первооснову. «Я вам еще не ставила пластинку про Бальмонта?., про Достоевского?., про паровозные искры?» — дальше следовал блестящий короткий этюд, живой анекдот наподобие пушкинских table-talk, с афоризмом, применимым и применявшимся впоследствии к сходным или обратным ситуациям. Будучи записанными ею — а большинство она записала, — они приобретали внушительность, непреложность, зато, как мне кажется, теряли непосредственность.

Наталия Александровна Роскина:

У нее ничего нельзя было узнать ни о ком. Я знала о ее дружбе с профессором Н. Я. Берковским, и когда вышла в свет его

великолепная книга статей, то стала о нем расспрашивать Анну Андреевну, но никак не могла ничего выудить — какой он. Тогда я спросила по-женски: «А какая у него жена?» Она ответила: «Жена… Елена Александровна». На один мой монолог обвинительный она не ответила ни одним возражением, а сказала только: «Я ее люблю». Ее правилом было не рассказывать о близких людях никаких подробностей.

Михаил Васильевич Толмачёв:

…Она умела каменно молчать в тех случаях, когда разговор о «третьих лицах» был ей нежелателен.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Впрочем, обычно всякое несогласие с ней она принимала терпимо, конечно, за исключением принципиальных разногласий. Она не спешила признавать свою неправоту или ошибку, но умела уважать и даже как-то внутренне принимать возможность иного мнения, другой точки зрения — качество вообще редкое. Очень умела терпеливо и внимательно выслушивать всякую более или менее серьезную критику…

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Анна Андреевна принимала с видимым удовольствием выражение удивления и радости (а у экспансивных посетителей — восхищения), вызванных ее стихами. Она относилась к мнению слушателей очень внимательно и, как показал мой опыт, хорошо и надолго запоминала отдельные оценочные замечания. При этом в тех очень редких случаях, когда мои суждения имели критический оттенок, она, в отличие от многих других поэтов, не испытывала или не обнаруживала досады. Бывало и так, что мои сомнения как будто отвечали ее собственным раздумьям, и тогда на мои осторожные советы она кратко отвечала: «Подумаю» — или что-нибудь в этом роде. Но иногда сомнения мои решительно отводились. Когда, например, послушав в комаровской Будке ее прекрасное стихотворение «Читатель», я позволил себе высказать сомнение по поводу введенного в его текст чужеродного английского термина («Лайм-лайта холодное пламя»), она решительно настаивала на его уместности и необходимости.

Сергей Васильевич Шервинский:

Анна Андреевна вообще была неразговорчива. Более того, у нее была тягостная манера общения. Она произносила какую-нибудь достойную внимания фразу и вдруг замолкала. Беседа прерывалась на какие-то мгновения, и восстановить ее бывало

трудно. Тема не подхватывалась, приходилось делать новое усилие, и эта «прерывность», противоречащая самому существу «беседы», была тяжела. Лишь изредка Анна Андреевна оживлялась как собеседница. Иногда — после нескольких глотков вина. Может быть, подобные уходы в себя во время разговора были следствием долгих, год за годом, тяжких переживаний. Может быть, выработавшаяся, тоже годами, величавость поведения сдерживала свободное излияние мысли.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Вообще Анна Андреевна отнюдь не казалась молчальницей, хотя была склонна скорее к молчанию, чем к разговору. Я не слышал от нее длинных монологов или продолжительных рассказов. Она любила сжимать свои мысли в афоризмы, часто меткие, яркие и остроумные. Отзывалась на шутку и сама хотела и умела шутить. Но иногда среди беседы неожиданно замолкала.

— Да… — говорила она в каком-то слегка печальном, медленном раздумье.

И становилось тихо и грустно. А она казалась не большим поэтом, а просто старым, усталым человеком.

Виталий Яковлевич Виленкин:

На бумаге воспоминания о любом человеке — это все-таки некая искусственная штриховка его облика, а главное — невольная концентрация его высказываний. Вот и я, перечитывая написанное, боюсь, как бы Ахматова не стала на этих страницах «речистой», с готовыми к случаю рассказами, суждениями, характеристиками. А ведь она была молчаливой. Правда, это вовсе не противоречило ее способности вдруг чем-то загореться, разговориться, вести горячую, увлекательную беседу. Естественно, что такие моменты особенно и запоминались. Но все-таки фон ее обычного немногословия, даже на людях, даже в гостях, нужно иметь в виду.

Интересы, увлечения, пристрастия

Маргарита Иосифовна Алигер:

Всю жизнь она много читала на разных языках и никогда, по-моему, просто беллетристику и развлекательную литературу. Читала она тоже по-своему: всегда одновременно несколько книг и никогда не подряд, страницу за страницей. И удивительно помнила прочитанное. Однажды, увидев у меня четырехтомную «Золотую ветвь» Фрэзера, стала вспоминать почти наизусть целые страницы.

А когда она лежала в больнице с первым инфарктом, В. Ардов заказал для нее специальный пюпитр, на который ставились книги, большие, тяжелые, серьезные книги. Иногда английские или французские.

Виктор Ефимович Ардов:

Анна Андреевна много читала по-английски, по-немецки, по-французски и даже по-итальянски. Часто делилась с нами впечатлениями о прочитанном. Ее оценки всегда были значительны и принципиальны. Многие модные новации вызывали в ней иронию. Особенно она не любила продолжателей Фрейда в беллетристике. И вообще-то она терпеть не могла великого психоаналитика. Говорила, что он перенес на весь мир частую для венских аристократов расстановку сил: престарелый отец, в свое время женившийся на молодой девушке против ее воли, и для самой этой дамы, и для ее ребенка представляется врагом и соперником. А в нормальной семье так не бывает.

Галина Лонгиновна Козловская:

У Анны Андреевны было три великие любви, которые она перечитывала каждый год. Это были — дантовская «Божественная комедия», которую она читала по-итальянски, Шекспир — все трагедии, в подлиннике, и конечно же Пушкин целиком. Я заметила, что она почти никогда не вспоминала театр, то есть постановки и актеров (хотя сама в ту пору, писала пьесу). Она так хорошо знала Шекспира, что ей не нужны были ни театр, ни актеры. Лучшим театром было ее воображение. Но английским произношением не владела, и было трудно ее понять, в то время как трудностями и архаизмами она почти не смущалась. Ей нравился мой английский язык, и она часто просила ей читать вслух Шекспира. Помню, что особенно мы любили перечитывать начало пятого акта «Венецианского купца» с дивными стихами Лоренцо и Джессики — «В такую ночь». Я потом иногда думала,

не откликнулись ли годы спустя в творчестве Ахматовой строчки Шекспира: «В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу». Хотя Энеида всегда была при ней. Образ Дидоны не раз возникал в ее стихах.

Анна Андреевна довольно равнодушно слушала мои воспоминания о шести великих Гамлетах, виденных мной в Англии, но зато с интересом расспрашивала о моем американском детстве, довольно причудливом…

Наталия Александровна Роскина:

Лет тридцати она, по ее словам, подумала: «Как глупо прожить жизнь и не прочесть в подлиннике Шекспира». Шекспир был ее любимейшим писателем из нерусских. (Из русских — Пушкин и Достоевский.) Она стала заниматься английским языком: первые несколько уроков ей дал Маршак, а потом сама читала всякие грамматики и самоучители, часов по восемь в день. «Через полгода я свободно читала Шекспира».

Анатолий Генрихович Найман:

Она рассказывала, что некий молодой англичанин жаловался на трудности чтения шекспировского текста, архаичный язык и проч. «А я с Шекспира начала читать по-английски, это мой первый английский язык». Вспоминала, что, отыскав незнакомое слово в словаре, ставила против него точку; попав на него снова, вторую точку и т. д.: «Семь точек значило, что слово надо учить наизусть». «Основную часть англичан и американцев я прочла в бессонницу тридцатых годов», — упомянула она однажды. Среди них были Джойс и Фолкнер. Читала она по-английски, почти не пользуясь словарем, а говорила с большими затруднениями, с остановками, ошибаясь в грамматике и в произношении.

Исайя Берлин:

После некоторого молчания она спросила меня, хочу ли я послушать ее стихи. Но до этого она хотела бы прочесть мне две песни из «Дон Жуана» Байрона, поскольку они имеют прямое отношение к последующему. Даже несмотря на то что я хорошо знал поэму, я не мог бы сказать, какие именно песни она выбрала, поскольку, хоть она и читала по-английски, ее произношение было таким, что я не мог понять ничего, за исключением одного или двух слов. Закрыв глаза, она читала наизусть, с большим эмоциональным напряжением. Чтобы скрыть свое замешательство, я поднялся и выглянул из окна. Позднее я сообразил, что, может быть, именно так мы декламируем классическую греческую или латинскую поэзию. И ведь нас

неизъяснимо волнуют эти слова, которые в нашем произношении, может быть, были бы совсем непонятны их авторам и слушателям.

Корней Иванович Чуковский:

Она была одним из самых начитанных поэтов своей эпохи. Терпеть не могла тратить время на чтение модных сенсационных вещей, о которых криком кричали журнально-газетные критики. Зато каждую свою любимую книгу она читала и перечитывала по нескольку раз, возвращаясь к ней снова и снова.

Ее отзывы о книгах, о писателях всегда восхищали меня своей самобытностью. В них сказывался свободный, проницательный ум, не поддающийся стадным влияниям. Даже не соглашаясь с нею, нельзя было не любоваться силой ее здравого смысла, причудливой меткостью ее приговора.

Галина Лонгиновна Козловская:

В своих суждениях о писателях она не была чужда некоторого максимализма и непостоянства. Так, когда ей дали впервые прочесть «Прощай, оружие» Хемингуэя и спросили, что она о нем думает, она сказала: «Просто обыкновенный гений». Говорят, годы спустя она его невзлюбила и отказывала ему в достоинствах. Хотя этому противоречит множество эпиграфов, которые она из него брала. Она была удивительно пристрастна к Толстому. Она не могла простить ему его отношения к Анне Карениной. Для нее словно не он создал этот женский образ во всей пленительности и правде, она упрямо не могла простить ему его внутреннего осуждения ее. И ни эпиграф к роману и никакие доказательства не могли убедить ее. Она считала, что в глубине души моралист и человек Толстой, Толстой-ревнивец, был врагом женщины, ушедшей от мужа. Она говорила: «Да, он, конечно, гениален, но…» — и она продолжала защищать создание Толстого от него самого.

Не любила она и Чехова. У нее был странный угол зрения на его творчество. Несправедливый и непонятно почему очень пристрастный. Она говорила: «Была великолепная жизнь, как прекрасна всякая жизнь, дарованная, чтобы ее прожить. А Чехов словно закутывает все в пепел. Все у него скучно, и люди серые, и носятся они со своей скукой и тоской неизвестно почему. И живут, не зная жизни». Зато как она была забавна и неистощима, разнося в пух и прах Брюсова: «Скажите, разве это поэт, который говорит себе: «Сегодня я должен написать два сонета, три триолета и один мадригал. Завтра мне надо написать балладу, романс и три подражания древним»?» Эти *надо* и *должен*

обыгрывались ею очень смешно. Ее не трогали его эрудиция и ум. Она предпочитала образованность иного склада, как, например, Вячеслава Иванова.

К женщинам-поэтам была строга и говорила, что за всю жизнь встретила двух настоящих — Марину Цветаеву и Ксению Некрасову. Некрасову, трудную и непохожую на других, она очень ценила, верила в нее и бесконечно много ей прощала. Так было в Ташкенте, что было потом, не знаю. Бедную, голодную, затурканную, некрасивую и эгоцентрично агрессивную Некрасову легко было пихать, высмеивать и отталкивать. Но Анна Андреевна была самой прозорливой и самой доброй. Она прощала ей все ее выходки, грубости, непонимание, словно это было дитя, вышедшее из леса, мало знавшее о людях и еще меньше о самой себе.

В противоположность Толстому она с какой-то петербургской страстью любила Достоевского. В особенности сферу его города, квартир, площадей, домов, всю его ауру — как-то почти сценически. К Гоголю она часто возвращалась и видела в нем обладателя самого фантастического, самого фантасмагорического взора на жизнь и людей, когда-либо бывшего в России…

К моему удивлению и огорчению, высказывания Анны Андреевны о Тургеневе носили оттенок той самой снисходительности, полууважительности, которые отмечают отзывы о нем именно русских, как современников, так и многих потомков. Я высказала Анне Андреевне свои огорчения и сказала, что всю жизнь удивлялась тому, что ни один литературовед не написал книгу-исследование «Тургенев глазами русских и глазами великих деятелей европейской культуры». <…>

Из всех видов искусств кроме поэзии наиболее близким и наибольшего охвата и понимания была для нее живопись. Здесь она знала все, все оценила, все любимое пронесла через жизнь. Она хранила в себе поистине огромное богатство. Жизнь подарила ей встречи с великим множеством художников. Для многих она сама стала объектом художественного воплощения.

Но ни на одном портрете, писанном художником, не запечатлено самое ее удивительное выражение. Это выражение появлялось на ее лице только тогда, когда упоминались два имени. Это были Иннокентий Анненский и Михаил Булгаков. Сколько у нее было более близких друзей, скольких людей она любила, но лишь эти двое, вспоминаемые ею, были единственными, которые вызывали нечто в ее душе, что порождало это чудесное, нежное, слегка отрешенное выражение лица. Мне почему-то казалось, что в основе лежало особое чувство преклонения, которым она больше никого не почтила.

Наталия Александровна Роскина:

Она следила и за новой литературой. Между прочим, очень любила детективные романы («Ночь с детективом — это чудесно»); но, кажется, это был единственный род плохой литературы, который она признавала. Чаще всего она читала замечательные книги. Все великое было ей сродни. Я заставала ее за перечитыванием Данте по-итальянски. Когда вышел пастернаковский перевод «Фауста», она сказала: «Всю жизнь читала это в подлиннике, и вот впервые могу читать в переводе».

Корней Иванович Чуковский:

Историю России она изучала по первоисточникам, как профессиональный историк, и когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте, — казалось, что она знала их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле. Диапазон ее познаний был широк. История древней Ассирии, Египта, Монголии была так же досконально изучена ею, как история Рима и Новгорода.

Наталия Александровна Роскина:

Анна Андреевна была противницей популярного литературоведения и особенно столь распространившегося к середине XX века жанра vie romanisee (романизированная биография, *фр. — Сост.)*. Ей были интересны строгие исследования, построенные на документах, она читала их основательно, запоминала.

Сергей Васильевич Шервинский:

Я очень ценил в Анне Андреевне то, что она хорошо чувствовала архитектуру. В этом смысле она отражала и увлечение века, открывшего архитектуру для русских интеллигентных профанов, а отчасти и ее личное окружение зодчеством Петербурга, — впоследствии, уже под старость лет, Анна Андреевна в вызывающем стихотворении о Царском Селе открыто декларировала свое утомление от восхищения петербургскими красотами…

Она не только в поэзии, но и во всех искусствах была знатоком. Как в одной-двух строчках стихов она умела, еще смолоду, сказать так много о любимом ею «городе беды», так беглым замечанием или даже просто внимательно направленным взглядом могла оправдать художественное бытие того или иного памятника. Сама Анна Андреевна с ее строгостью и стройностью

внешней и внутренней, с не изменявшим ей чувством России замечательно сочеталась с памятниками древнерусской архитектуры.

Наталия Александровна Роскина:

Ленинград знала она изумительно, в архитектуре была как дома (говорила: «Люблю архитектуру больше всех искусств»). Знала автора каждого здания, знала историю его перестроек — с той культурой знания и той дотошностью, которую она, при кажущемся отсутствии педантства, вносила во все, чем увлекалась. Она любила подвести меня к красивому месту каким-то новым ходом, чтобы оно открылось внезапно, любила обращать мое внимание на всякие тонкости зодчества и трогательно радовалась моему восхищению.

Однажды она указала на башенку Кунсткамеры: «Правда, прелесть?» «Да, — сказала я и добавила: — Ведь так приятно с вами соглашаться». Она улыбнулась лукаво: «Ну почему же. Вы могли бы, например, сказать: эта башенка могла бы быть чуть-чуть пошире». Ярко помню одну нашу прогулку к Инженерному замку, где ей нравились красиво и обдуманно посаженные цветы. Еще хлеб давали по карточкам (да и все прочие продукты), а ленинградцы послеблокадные украшали свой измученный город, и это ее восхищало. Она была оживлена и несколько раз повторила: «Какие молодцы! Ах, какие молодцы!» Был чудесный солнечный день, и весь облик Ахматовой был так гармонически близок архитектурному пейзажу, и так весело она щурилась на солнце…

Виктор Ефимович Ардов:

Анна Андреевна всегда проявляла интерес к архитектуре.

Однажды она заметила, что Лев Толстой был равнодушен к красоте зданий. Он знал только одно: старое или новое здание — то, в котором живут персонажи его произведений.

В 1937 году мы шли с ней по Фонтанке, я провожал ее домой, в Шереметевский дворец. Она спросила меня:

— На вас действует ленинградский пейзаж?

Я ответил восторженно.

Ахматова вздохнула и промолвила:

— А я уже привыкла, к сожалению…

Виталий Яковлевич Виленкин:

Никаких особых разговоров о живописи, вообще об изобразительном искусстве у нас не было. Но как-то повелось, что, приходя ко мне, Анна Андреевна просила достать с полки

какую-нибудь хорошую монографию или репродукции картин какого-нибудь музея и с удовольствием, не торопясь их перелистывала. При этом иногда обнаруживались ее пристрастия: например, европейскую готику, Джотто и итальянское кватроченто она явно предпочитала Рафаэлю и Леонардо, а Эль Греко — всем другим «испанцам». Сезанна и Дега любила больше, чем последовательных импрессионистов, а Гогена ей было просто «не нужно». Мне казалось, что не очень нужен ей и Пикассо, и я всегда удивлялся, что, прожив столько лет рядом с Н. Н. Пуниным, с таким талантливым и влиятельным знатоком новейшего искусства, Анна Андреевна сохранила полную самостоятельность своих вкусов. А вот о Шагале она никогда не говорила равнодушно и всегда готова была еще раз его посмотреть, хотя бы в репродукции. Недаром Витебск Шагала попал в ее «Царскосельскую оду», да еще в каком качестве — как параллель к собственному поэтическому замыслу: «Но тебя опишу я, / Как свой Витебск — Шагал».

Виктор Ефимович Ардов:

Театр она не любила.

Например, никогда не была в Художественном. Но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать, заочно:

— Ну, так… Теперь я вам скажу: все, что относится к современности, они умеют делать хорошо, а исторические пьесы у них не удаются. Особенно плох у них должен быть Шекспир. На мой взгляд, это удивительно верно!

Галина Лонгиновна Козловская:

Как хорошо слушала она музыку!..

Когда разговор зашел о Дебюсси, Анна Андреевна сказала: «А я была с ним знакома». Только много лет спустя, в Москве, при встрече с Анной Андреевной мы узнали, как однажды во время банкета, который давал в честь Дебюсси Кусевицкий, рядом с ней весь вечер сидел Дебюсси. В конце он подарил Ахматовой музыку своего балета «Мученичество Святого Себастьяна» с дарственной надписью. И вдруг Анна Андреевна, повернувшись к Алексею Федоровичу, сказала: «Я вам ее подарю». И, улыбаясь, подошла к телефону, набрала номер своей ленинградской квартиры и, указав Ирине Николаевне, где лежат ноты, велела ей их немедленно выслать в Москву Ардовым. Муж мой был счастлив, но как же опечалились они оба, когда на следующий день из Ленинграда ответили, что ноты не нашлись.

Если говорить о музыкальных пристрастиях Ахматовой, надо в первую очередь отметить ее особую склонность к полифонистам XVII и XVIII веков. Она любила Вивальди, но больше всех Баха.

Вообще на всю сферу чувств и эмоций Баха Ахматова откликалась живо и глубоко.

У Моцарта из того, что она знала, она больше всего любила «Реквием» и часто просила играть ей Масонскую траурную музыку. Всегда узнавала музыку «Дон Жуана».

Но должна отметить, что к опере как к жанру она, по-моему, была довольно равнодушна. Явно отдавала предпочтение балету. Она с юности до поздних дней дружила с блистательными балеринами Мариинского театра. И вся атмосфера балетных подмостков навсегда была окутана особой поэтической аурой.

Всю жизнь она оплакивала смерть Лидии Ивановой, которую она считала самым большим чудом петербургского балета.

Из русских опер она знала и любила по-настоящему «Хованщину» и «Пиковую даму». Зато печалилась и кляла Модеста Чайковского за ужасающе плохие стихи. И все повторяла, как мог Чайковский писать такую музыку на такие бездарные слова.

Ахматова часто удивлялась тому, как многие композиторы были невзыскательны в отношении художественных достоинств стихов, на которые писали музыку. «Что Тютчев, что Ратгауз — все равно».

Лучшим русским романсом она считала «Для берегов отчизны дальней» Бородина, прекрасными — «Пророк» Римского-Корсакова и «Сирень» Рахманинова. «Многое уйдет, а сирень останется», — говорила она.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Почти не бывало случая, чтобы, придя ко мне, Анна Андреевна не попросила музыки (так и слышу ее: «А музыка будет?»). Ей достаточно было нашего убогого проигрывателя и заигранных пластинок. На вопрос, что она хотела бы послушать, чаще всего отвечала: «Выберите сами» (что это будет классическая музыка, а если современная, то либо Прокофьев, либо Стравинский, — разумелось само собой). Но иной раз «заказывала» совершенно определенно: Бетховена, Моцарта, Баха, Шумана, Шопена. И почти как правило, чтобы играл Рихтер. Он ее не только восхищал как музыкант, но и как личность интересовал ее чрезвычайно; она меня часто о нем расспрашивала, зная о нашей давней дружбе.

Я любил незаметно смотреть на нее, когда она слушала музыку. Внешне как будто ничего в ней не менялось, а вместе с

тем в чем-то неуловимом она становилась иной: так же просто сидела в кресле, может быть, только чуть-чуть прямее, чуть-чуть напряженнее, чем обычно, и что-то еще появлялось незнакомое в глазах, в том, как сосредоточенно смотрела куда-то прямо перед собой. А один раз, когда мы с ней слушали в исполнении Рихтера шумановскую пьесу с обманчивым названием «Юмореска» (кажется, один из самых бурных полетов немецкой романтики), я вдруг увидел, что она придвигает к себе мой блокнот, берет карандаш и довольно долго что-то записывает; потом отрывает листок и спокойно прячет его к себе в сумку. Когда музыка кончилась, она сказала: «А я пока стишок сочинила». Но так тогда и не показала и не прочла, а я не осмелился попросить. Но потом несколько раз читала это стихотворение у меня и у себя, и всегда с предисловием: «Вот стихи, которые я написала под музыку Шумана»:

…И мне показалось, что это огни
Со мною летят до рассвета,
И я не дозналась — какого они,
Глаза эти странные, цвета.

И все трепетало и пело вокруг,
И я не узнала — ты враг или друг,
Зима это или лето.

<…> А любимым ее произведением Стравинского, творчество которого она хорошо знала начиная с «Петрушки» и «Весны священной», была «Симфония псалмов».

Михаил Борисович Мейлах:

Музыку Анна Андреевна слушала сосредоточенно, часто закрыв глаза.

Анатолий Генрихович Найман:

Она слушала музыку часто и подолгу, и разную, но получалось, что на какой-то отрезок времени какая-то пьеса или пьесы вызывали ее особый интерес. Летом 1963 года это были сонаты Бетховена, осенью — Вивальди; летом 1964 года — Восьмой квартет Шостаковича; весной 1965-го — «Стабат матер» Перголези, а летом и осенью — «Коронование Помпей» Монтеверди и особенно часто «Дидона и Эней» Пёрселла, английская запись со Шварцкопф. Она любила слушать «Багателли» Бетховена, много Шопена (в исполнении Софроницкого), «Времена года» и другие концерты Вивальди, и

еще Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя. Адажио Вивальди, как известно, попало в «Полночные стихи»: «Мы с тобой в адажио Вивальди встретимся опять».

Наталия Александровна Роскина:

У Ахматовой был чрезвычайно высок интерес и вкус ко всему современному. Она охотно читала все новое, все, о чем говорили; интересовалась выставками, любила ходить в кино. После инфаркта возможности ее были ограничены, она стала очень грузной и, хотя ела чрезвычайно мало, никак не могла похудеть. Ходить ей было трудно, а по лестницам в особенности, каждый ее выход был осложнен необходимостью иметь провожатого, ловить такси. А до инфаркта она не пропускала хороших картин, и итальянский неореализм увлек ее, как и всех молодых. Она мне рассказывала, как полюбила кино с самого его детства, с маленького кинотеатрика, когда кино еще совсем не было искусством. Вот в таком кинотеатрике на Петербургской стороне показывали «познавательную ленту» про живопись, и под знаменитой картиной Репина был титр: «Пушкин читает, Державкин слушает». И, вспомнив это, она залилась своим милым смехом.

Эмма Григорьевна Герштейн:

— Это какое дерево? — указывала Анна Андреевна на большую крону вдали и удивлялась: — Как можно не знать? — Она называла вяз или тополь, не уставала любоваться старым дубом перед нашим домом и разного возраста кленами.

Анатолий Генрихович Найман:

Вообще же к деревьям относилась с нежностью старшей сестры и с почтительностью младшей и, по ходу разговора о пантеизме, в ответ на мою реплику сказала — не продекламировала как стихи, а выставила как довод, так что я стихи не сразу и услышал, — начало гумилёвского стихотворения из «Костра»: «Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величье совершенной жизни». И через мгновение, уже как стихи, уже для своего удовольствия, прочла напевно:

Есть Моисеи посреди дубов,
Марии между пальм…

Заметив на руке комара, она не била его, а сдувала. Высказывалась против кровожадного старичка-паучка из «Мухи-цокотухи», который «муху в уголок поволок», приговаривала:

«Вовсе это детям необязательно знать». Огромного дачного кота Глюка, который с грохотом прыгал с сосновой ветки на крышу дома, называла «полтора кота» и однажды сказала про Бродского: «Вам не кажется, что Иосиф — типичные полтора кота?» Когда мужа Пуниной укусила оса и он с возмущением и многословно обрушился на соседского мальчика, интересовавшегося насекомыми, за то, что тот «свил осам гнездо в жилом доме», она невозмутимо возразила: «Им никто ничего не вил, они сами вьют где хотят».

Сергей Васильевич Шервинский:

Я не замечал ни в поведении, ни в высказываниях Анны Андреевны особого пристрастия к животным, подобного рода чувствительность была ей чужда. Да и в творчество свое она не впускала «животнолюбия». Только птицы удостоились внимания поэтессы, и их «Белая стая» приобрела значение символа.

Маргарита Иосифовна Алигер:

В разговоре с интересными людьми, с учеными и специалистами в разных областях, она была бесконечно интересна, неожиданно много и глубоко знала и замечательно умела слушать других — свойство драгоценное и отнюдь не столь распространенное. Помню, как слушала она, когда десять лет спустя я, вернувшись из Латинской Америки, рассказывала о чилийских индейцах племени мапуче.

— Удивительно интересно! Я этого не знала, — сказала она, внимательно выслушав меня, и стало ясно, что теперь она уже крепко и навсегда это знает. И тотчас продолжила мой рассказ ценнейшими сведениями об ацтеках и инках.

Она знала все на свете. Иногда совсем неожиданные вещи.

— Память у меня стала совсем худая, — как-то пожаловалась я. — Никак не могу вспомнить, как называется чилийская река, та, самая главная… Мы проезжали ее, когда ехали в Консепсьон… По ней еще во время колонизации проходила граница…

— Био-био, — небрежно бросила через плечо Анна Андреевна, словно речь шла о Мойке или о Карповке.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

О ту пору (1961 г.) вышло первое издание книги астрофизика И. С. Шкловского «Вселенная, жизнь, разум». Я с увлечением за одну ночь ее прочитал и пересказывал при встрече на Ордынке, у Ардовых, Ахматовой. Она очень заинтересовалась и тут же откликнулась: «Такую книгу я хотела бы прочитать». На следующий раз оказалось, что она уже ее прочла и очень хвалила.

До того когда я зашел к Анне Андреевне на старую ленинградскую квартиру, она сказала, что при разборке старых книг на полке оказалось что-то по теории относительности. Она заговорила о ней с пониманием. Ее эти темы всегда занимали.

Как-то в стихах, которые я ей прочитал, она усмотрела переложение современных физических теорий и, как она умела, в очень отчетливых и прозрачных формулировках пересказала то, что в стихах было неясным и запутанным: «Это что, имеется в виду представление о потоке частиц?..»

Такая же ясность и четкость ее прозаических переформулировок чужой стихотворной путаницы мне открывалась еще несколько раз, причем (всякий раз) по поводу стихов, ей понравившихся. Если в них при этом она обнаруживала что-то невнятное, она сама пробовала пересказать неудачную строку, как бы ее редактируя (я обязан ей двумя или тремя такими редакциями).

Маргарита Иосифовна Алигер:

Человек огромной эрудиции и образованности, она была в курсе новейших научных течений, открытий и дискуссий. Если речь заходила о политике, совершенно лишенная всякого дамского жеманного невежества, она могла вдруг заговорить о каком-либо далеком политическом деятеле как о своем добром знакомом. Я уже не говорю об истории — там у нее были попросту близкие и до деталей знакомые друзья и враги. И бесконечно много помнила — память у нее была удивительная, умная память, умеющая отделять мелкое от крупного.

Наталия Александровна Роскина:

Очень хорошо училась в гимназии и благодаря своей богатой памяти помнила все, чему ее учили. Она сказала: «Я и физику помню, но ведь при мне ее знали только до телефона». Всем она интересовалась и ценила реальные знания, особенно если они были сформулированы кратко и выразительно. И ее суждения о политике всегда были самостоятельны и интересны. Например, когда японцы напали на Пирл-Харбор и потопили американский флот, она сказала: «Американцы — простодушные дети, но своим зверством японцы превратят их в зверей». Эти свои слова она вспомнила и повторила мне, когда на Японию была сброшена американская атомная бомба.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Первый полет в космос ошеломил Ахматову. Ее, так любившую Землю, потрясли сообщения о том, как выглядит

оттуда наша планета. Она взволнованно ходила по ордынской столовой и повторяла строки Гумилёва (из стихотворения «Природа»):

Земля, к чему шутить со мною:
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть, звездою,
Огнем пронизанной насквозь!

— Коля был визионер, — утверждала она. — Он писал это о нашем и еще более далеком времени.

— Самое страшное в космосе — абсолютная тишина, — содрогаясь, говорила Ахматова.

Вера

Наталия Александровна Роскина:

Она была религиозна, и это, конечно, было весьма существенной стороной ее личности. Основой ее мужества и патриотизма была именно вера. Она верила как современный человек, со всей широтой философского восприятия жизни и с широким приятием православной церкви.

Своей религиозности она не скрывала, но никогда не афишировала и крайне редко о ней говорила. Фрида Вигдорова рассказывала мне, — быть может, анекдот, выдуманный самой Ахматовой, — что ей как-то позвонили из антирелигиозного журнала с просьбой дать стихи, и она ответила: «Это не мой профиль».

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда я приносила какую-нибудь хорошую новость о моих делах, Анна Андреевна говорила: «Спасибо». А прощаясь — благословляла: «Господь с вами». Я не слышала, чтобы Анна Андреевна вела с кем-нибудь философские, вообще теоретические разговоры о религии. Она только приводила подходящую к случаю какую-нибудь евангельскую заповедь, всегда смиренно добавляя: «Но выполнять ее очень трудно». Эти слова она произносила в применении к самой себе.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Записано у меня где-то, что она ответила на мой вопрос, верит ли она в Иисуса Христа не только как в историческую личность. «Разумеется, — как и все более или менее интеллигентные люди». И только. А ведь Анна Андреевна, при всем своем немногословии в подобных случаях, иногда (правда, очень редко, но все-таки) допускала и настоящие, серьезные разговоры о религии, о христианстве, о христианской философии.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Надю (Н. Я. Мандельштам. — *Сост.*) раздражало, что Анна Андреевна крестится на каждую церковь. Ей казалось это демонстрацией.

Анатолий Генрихович Найман:

Ахматова была человеком верующим, и нельзя сказать, что нецерковным. По-видимому, когда-то посещение храма было для нее непременным и обычным делом:

А юность была — как молитва воскресная,
Мне ли забыть ее?

Напев Херувимской
У закрытых дверей дрожит…

Поднимались, как к обедне ранней.

Церковные установления были для нее непреложны, и она рассказала мне после поездки в 1965 году в Англию, как ее спросили в Лондоне, не хочет ли она встретиться с тамошним православным архиереем. «Я отказалась. Потому что говорить ему всю правду я не могла, а не говорить правды в таких случаях нельзя».

Но в последние годы она в церковь не ходила. Зайти, перекреститься, постоять помолиться могла, церковный календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо знала службу. В Прощеное воскресение 1963 года сказала: «В этот день мама выходила на кухню, низко кланялась прислуге и сурово говорила: «Простите меня грешную». Прислуга так же кланялась и так же сурово отвечала: «Господь простит. Вы меня простите». Вот и я теперь у вас прошу. «Простите меня грешную»».

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Если Ахматова была в Москве в день большого православного праздника, она всегда мне звонила утром по телефону и поздравляла. Для нее праздники, православная традиция, церковь много значили — специально мы об этом не говорили; как и многое другое, это подразумевалось.

Владимир Сергеевич Муравьев (1939–2001), *филолог, переводчик:*

О религии прямых разговоров никогда не было. Ахматова в этом смысле была поразительно целомудренна. Она очень красиво, благородно придерживалась обрядоверия. Я не знаю, читала ли она молитвы. Сомневаюсь, что она читала молитвы. Сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот это о ней сказано. Но религиозного словесничанья я за ней не помню.

Анатолий Генрихович Найман:

Но если воспользоваться ее собственными словами, она скорее была «вне церковной ограды», во всяком случае, в конце жизни. То говорила, что с общей исповедью согласиться не может,

что введение общей исповеди вбило клин между нею и церковью; то — «я хочу верить, как простая бабка».

День ангела Ахматовой был 16 февраля (по новому стилю), именины справлялись скромно, она принимала поздравления по телефону, вечером за стол садилось несколько гостей. «Я Анна сретенская», — говорила она, ее покровительницей была пророчица Анна, встретившая в Иерусалимском храме младенца Христа. Стих «И вовсе я не пророчица» отталкивается, конечно, от образа этой святой. Что же касается дня рождения, то тут была известная путаница. Начать с того, что она писала в автобиографии «Я родилась 11 (23) июня», а праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то 12 дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то 13 — поскольку отмечалось в тот же день уже в новом. Во-вторых, она любила заметить мимоходом, что родилась в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, установленный в память избавления Руси от ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, на котором кончилось татарское иго. Но этот день — 23 июня по старому стилю, 6 июля по новому.

Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишнюю, но и ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять-таки на 24 июня по старому, 7 июля по новому стилю.

Привычки, обычаи, причуды

Лидия Корнеевна Чуковская:

8 июня 1940. …Она сидела на диване, поджав ноги, и курила папиросу за папиросой.

Антонина Васильевна Любимова (1899–1983), *художница. Из дневника 1944 года:*

Она курит. Мне как-то не приходило это в голову. Но делает это, как и все, что делает, красиво.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина:

Осмёркин, который стал моим мужем, ездил каждый месяц из Москвы в Ленинград, где он занимался в Академии художеств с дипломниками. Я работала на эстраде, выступала в литературных концертах и имела возможность свободно распоряжаться своим временем. Мы стали жить на два города. Появилось много новых друзей среди ленинградцев. Александр Александрович часто бывал у Ахматовой. Как-то раз он обратился ко мне с неожиданным вопросом: «Скажи, ты давно была в зоопарке? Ходила ли смотреть птиц?» — «Да, и с большим интересом». — «А обратила внимание на какаду? Какая интересная птица! Вокруг нее щебечут, перелетают с места на место разные птицы, подают голоса другие попугаи, а она сидит спокойно, очевидно не слыша и не видя никого кругом, с устремленным вдаль взглядом. Я не раз вспоминал эту птицу, бывая у Анны Андреевны. Она так же замыкается иногда, тоже ничего не видит и не слышит вокруг, погруженная во что-то свое». — «Ну что же, теперь мне понятно ее поведение, когда я занесла ей книгу. Очевидно, я пришла не вовремя. У меня было такое чувство, какое бывает перед светофором: «Красный свет! Не приближайся! Остановись!»» — «Да, об этом надо знать. С тех пор как я это понял, я всегда спрашиваю у нее по телефону: «Анна Андреевна, можно прийти? Какаду сегодня не будет?» А она, смеясь, отвечает: «Нет, не будет. Приходите»».

Это свойство Ахматовой, видимо, хорошо знал ее друг Н. И. Харджиев. Однажды, когда Анна Андреевна остановилась в Москве у нас, он при мне зашел к ней утром. Я хотела выйти из комнаты, но Анна Андреевна благодушно и весело пригласила меня остаться. Мы оживленно беседовали втроем, как вдруг Анна Андреевна замолчала, глядя куда-то в пространство. Мы тоже замолчали. Прошло несколько минут, молчание не нарушалось. Николай Иванович слегка потянул меня за рукав: «Пойдемте.

Наверное, Анна Андреевна хочет… — тут он стал подыскивать подходящее выражение, — сочинять». Мы вышли с ним из комнаты в мастерскую. А там собрались друзья Осмёркина. Говорили, смеялись, пили сухое вино. Час пролетел незаметно. Наконец дверь в мастерскую отворилась, и Анна Андреевна как ни в чем не бывало присоединилась к нам. «Как хорошо, — шепнул мне Осмёркин, — какаду улетел». А я подумала, что зажегся зеленый свет.

Галина Лонгиновна Козловская:

Всегда у людей, впервые знакомившихся с Анной Андреевной, случалось почти всегда одно и то же.

В первые минуты и люди почтенного возраста, и молодые, знаменитые и не знаменитые, почти каждый, знакомясь с ней, робел и лишался обычной непринужденности. Пока она молчала, это бывало даже мучительно. <…>

Потом мы как-то об этом с ней заговорили, и она сказала (помню почти дословно): «Да, вот почти всегда так, но это случается только с теми, кто слыхал мое имя. Когда же я еду, скажем, в поезде и никто меня не знает, все чувствуют себя со мной легко, свободно. Бабы потчуют меня пирожками и рассказывают, сколько у них детей и чем они болеют. Мужчины запросто рассказывают анекдоты и всякие истории из своей жизни. И никто никого не стесняется, и никто не робеет».

В результате многие, кто дальше первого знакомства не пошел, говорили, что Ахматова надменна и неприступно горда. Мне же кажется, что это был тайный защитный плащ — она совершенно не терпела фамильярности и амикошонства, и при жизни ее это было невозможно. Она хорошо знала, как легко и часто люди склонны это навязывать при первой же встрече.

Вот, вероятно, почему ею ставился заслон — как самозащита.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

А. А., равнодушная к выступлениям, публике, овациям, вставанию и прочим никому не нужным почестям, обожала аудиторию за чайным столом, разновозрастную толпу друзей, шум и веселье застольной беседы. В этом она была неповторима: люди падали со стульев от хохота, когда она изволила озорничать. В роли дамы она долго выдержать не могла, но всегда, получив приглашение в приличный дом, готовилась к ней. Что же касается до приглашений, то она их принимала все, сколько бы их ни было, потому что обожала бегать по гостям, приводя в ужас и меня, и Харджиева: куда она еще побежит? В гости ей всегда приходилось брать с собой какую-нибудь

спутницу — ведь она боялась выходить одна.

Владимир Григорьевич Адмони:

Ахматова боялась (даже очень боялась) переходить улицу, по которой сновало много транспорта. Знаки светофора и приглашения милиционера, регулировавшего движение, ее не убеждали. Не доверяла и уговорам спутников. Надо было взять ее под руку и уверенно повести. Чем увереннее это делалось, тем успешнее. Любопытно, что, пройдя так несколько шагов, Ахматова совершенно успокаивалась и даже могла продолжить начатую беседу.

Михаил Викторович Ардов:

Анна Андреевна уверяла, что с распространением электрического освещения у всех людей ухудшилось зрение. Она говорила:

— В юности я зажигала свечу в своей комнате, ложилась и читала на ночь. Если бы я вздумала зажечь две свечи, вошла бы моя мама и сказала: «Что за иллюминацию ты устроила?»

Михаил Борисович Мейлах:

Язык жестов — лаконичных и чрезвычайно отточенных — был не менее выразителен, чем язык слов: медленный поворот головы и взгляд в окно, взмах руки, взгляд вверх или тот особенный неторопливый округлый жест, которым Ахматова протягивала собеседнику письмо или фотографию. Если разговор был ей неинтересен, жесты, как и интонация, делались чуть-чуть преувеличенными — род «формального присутствия». Сидя в креслах или за столом, Ахматова обыкновенно опирала голову на левую руку — большой палец под подбородком, ладонь и пальцы поднимаются к виску, либо пальцы отставленной руки упираются прямо в висок, и когда Анна Андреевна плохо слышала, она небольшим движением отодвигала ладонь назад к уху. На тахте она сидела прямо, касаясь ее руками и слегка на них опираясь. В больнице Анна Андреевна сидела в постели так же прямо, не спуская ног. Все, кто знали Ахматову, помнят особое выражение ее лица, когда она гляделась в зеркало, держа его правой рукой на высоте головы, левой поправляя прическу, чуть-чуть поджимая губы. Такой момент счастливо запечатлен на ее, вероятно, последней фотографии, сделанной у Ардовых всего за несколько дней до смерти. Особенной была и улыбка — то воспетое «движенье чуть видное губ», от которого расцветало мгновенно все лицо. «Вы только губы стронете в ответ, / Прилаживаясь будто для свирели», — сказал о ней в посвященных Ахматовой стихах

Дмитрий Бобышев.

Анатолий Генрихович Найман:

В обиходе она нередко как приемом пользовалась произнесением вслух — от декламации до пробормативания — чьих-то известных строчек, как правило, парадоксально подходящих к месту. Например, ища запропастившуюся куда-то сумочку, могла сказать из любимого ею «Дяди Власа», переменив некрасовскую интонацию: «Кто снимал рубашку с пахаря? Крал у нищего суму?» («Власу худо; кличет знахаря, да поможешь ли тому, кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего суму?») — причем поощряла скорее утилитарное и даже свойское отношение к стихам, чем трепетное, как к священному тексту. Некрасов был употребителен в таких случаях, особенно: «Не очень много шили там и не в шитье была там сила» — из «Убогой и нарядной»; или: «Хоть бы раз Иван Мосеич кто меня назвал» — из «Эй, Иван» («Пил детина Ерофеич, плакал да кричал: «Хоть бы раз Иван Моисеич кто меня назвал!..»»). Последнее — жалобно, наравне с «Фирса забыли, человека забыли!» из нелюбимого «Вишневого сада» — когда собиралась куда-то ехать, шофер вызванного такси уже звонил в дверь, поднималась суматоха, внимание провожавших сосредоточивалось на том, «все ли взято»: нитроглицерин, сумочка, если нужно — чемоданчик, а она, в пальто, в платке, с палкой в руке, садилась в коридоре на стул и приговаривала: «Фирса забыли…»

Это легкое и веселое обращение со стихами она распространяла и на собственные: переодевшись в ожидании гостей, выносила из своей комнаты затрапезное кимоно и совала его в руки кому-нибудь из домашних со словами: «Ах, милые улики, куда мне прятать вас?» («Он дал мне три гвоздики, не поднимая глаз: ах, милые улики, куда мне прятать вас?»)

Сильва Соломоновна Гитович (1913–1974), *жена поэта А. И. Гитовича, соседка Ахматовой по даче в Комарове:*

В житейских делах она была беспомощна. Все знали, что Анна Андреевна боится техники, не умеет включить проигрыватель, не умеет поставить пластинку, не умеет зажечь газ.

«Зато, — говорила А. А., — умею топить печи, штопать чулки, сматывать в клубки шерсть…»

Анна Анаксагорова, *соседка Ахматовой по коммунальной квартире на ул. Красной Конницы в Ленинграде:*

Анна Андреевна не умела зажечь газ, боялась его…

Наталия Иосифовна Ильина:

Я не видела человека, который переносил бы переезды так болезненно! А ведь могла бы, казалось, привыкнуть: постоянно ездила из Ленинграда в Москву и обратно, раза по четыре в год ездила. Но каждый раз, уезжая, становилась сама не своя. Выражалось это в застылости, окаменелости, трагически-гневном выражении лица: шествие по перрону всегда проходило в полнейшем молчании — никто не решался его нарушить. Выражалась эта болезнь в том, что Ахматова, внезапно остановившись, начинала судорожно шарить в сумке билет, вытаскивать и засовывать обратно какие-то бумажки, а лицо белое, а глаза безумные, и ни помочь ничем нельзя, ни сказать ничего нельзя. Провожающие, замерев, испуганно переглядывались, но наконец билет найден, все облегченно двигаются дальше. Войдя в вагон, усевшись, Анна Андреевна приходила в себя и успокаивалась совершенно.

Анатолий Генрихович Найман:

Ей вообще нравились путешествия по железной дороге — отчасти потому, что их характер да и само существо почти не изменилось с начала века, когда она путешествовала легко и много, разве что скорости сколько-то возросли. Она вспоминала, как возвращалась с юга в Петроград (мне показалось, это было в самом начале 20-х — а может быть, в 1916-м) через Москву: «Приехала в Москву утром, уезжала вечером, видеть никого не хотелось, с вокзала поехала на извозчике к Иверской, помолилась, потом весь день ходила по улицам, было так хорошо быть никем». В воспоминании, как и во всех других такого рода, не появлялось и тени тягот передвижения, не только всегда рассказчиками красочно описываемых, но и действительно составлявших чуть не все содержание путешествий того и последующих времен. «Что может быть приятнее поездки через зимнюю Финляндию в комфортабельном русском вагоне! Образец уюта», — сказала она в один из невеселых морозных дней в Комарове, когда серая влажная стужа пронизывала до костей.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Примет было много. Мне показалось, что одна из них — не заводить чернильных приборов. Однажды потребовалось написать деловую бумагу, домашние куда-то ушли, и отыскать перо и чернила так и не удалось.

Михаил Борисович Мейлах:

Последние годы она писала шариковой ручкой и с серьезным видом утверждала, что способ непрочный и в один прекрасный день все написанное исчезнет.

Наталия Александровна Роскина:

Сама Анна Андреевна не хотела и не любила, чтобы записывали ее слова. В черные времена она считала это опасным для собеседника. Ей тогда казалось, что само ее имя обладает какой-то силой проклятья. С середины пятидесятых годов, правда, она стала надписывать книги и фотографии очень охотно и уже не думала об этом проклятии, но по-прежнему отрицательно относилась к людям, которых подозревала в том, что они записывают ее слова.

Ника Николаевна Глен:

Еще один штрих — он же в каком-то смысле и комментарий к некоторым мемуарам. У Ахматовой в последние годы жизни бывало множество людей. Она и рада была этому, но и уставала, не всегда хорошо себя чувствовала, и потому, вероятно, были выработаны какие-то ритуалы, игры почти, которые помогали ей справляться с наплывом посетителей. «Вы слышали эту «пластинку»?» — спрашивала она, обозначив ее сюжет, и затем следовал хорошо отработанный, остроумный рассказ на какую-то интересную для собеседника тему. Или — такая ситуация: посетитель засиживается, как бы и порывается уйти, но все продолжает сидеть. Анна Андреевна говорит: «Посмотрите на часы. Ну вот, посидите еще десять минут». Тем самым визиту ставится наконец предел, а у неискушенного визитера нередко остается впечатление, что Ахматова никак не хотела его отпускать — «ну еще десять минут». В приятное заблуждение такого же рода впадали иной раз и люди, звонившие Ахматовой по телефону. Анна Андреевна не любила говорить по телефону, чаще всего бывала очень лаконична — и из некоторого трогательно старомодного недоверия к технике («Телевизор — это когда голова вытянута и немножко набок»), и, главное, потому, что допускала, что телефонные разговоры прослушиваются. Поэтому она часто прерывала разговор коротким «Приезжайте!» или «Приезжайте скорее!». И опять-таки собеседник иногда полагал, что Анна Андреевна нетерпеливо ждет именно его, а это не всегда соответствовало действительности…

«Игры»-ритуалы были и другого рода. В течение нескольких лет я помогала Ахматовой отвечать на письма, чаще всего читательские — их становилось все больше. Техника была такая:

Анна Андреевна почти без пауз наговаривала текст ответа, я записывала насколько успевала, с помощью сокращений и условных знаков, потом перепечатывала ответ уже в виде связного текста, и Анна Андреевна подписывала. А игра заключалась в том, что Ахматова, прежде чем усадить меня за это занятие, неизменно говорила: «Давайте отвечать на письма. Только вы меня можете заставить».

Виктор Борисович Кривулин:

Хотя я бывал довольно часто и даже за лекарством ходил, спускался в аптеку на улице Ленина, в каждый мой визит меня все равно заставляли ждать в передней. Ахматова говорила: «Подождите, я приведу себя в порядок. Аня, причеши меня». Причем я слышал и практически видел, как это происходило. Это, собственно говоря, была имитация сцены приема королевы в будуаре, да? Что бы ни было, как бы она себя ни чувствовала, все равно этот ритуал продолжался. Общение было необыкновенно ритуализовано. И для меня стало понятно, что поэзия — это не просто нормальное, среднесрочное общение, а некий ритуал.

Анатолий Генрихович Найман:

Вообще же тем, кто приходил к ней впервые, было самым недвусмысленным образом страшно переступить порог. Мои знакомые в коридоре шепотом упрашивали меня не оставлять их с глазу на глаз с нею — это забавляло ее и сердило. За долгие годы сложился и отлился в точную, завершенную форму обряд приема более или менее случайных посетителей. «Уладьте цветы, — говорила она кому-нибудь из домашних, освобождая гостя от букета; и ему: — Благодарю вас». Затем: «Курите, не стесняйтесь, мне не мешает — я сама больше тридцати лет курила». Когда время визита, по мнению гостя, истекало и он собирался уходить, она спрашивала: «А который час? — и в зависимости от ответа назначала оставшийся срок, — услышав, например, что без четверти восемь, говорила: Посидите ровно до восьми». Когда же решала, что визит окончен, то без предупреждения подавала руку, благодарила, провожала до двери и произносила: «Не забывайте нас». Молодых, с кем была хорошо знакома, напутствовала: «Ну, бегайте». Разговаривать с ней по телефону было невозможно — посередине твоей фразы раздавалось: «Приезжайте», — и вешалась трубка.

Михаил Борисович Мейлах:

Даря или, чаще, надписывая собственные книги, Ахматова делала дедикации строго определенным образом — указывалось,

кому делается надпись, где, когда и кем. Это составляло обязательную часть дедикадии, и если Анна Андреевна ею довольствовалась, она говорила: «Это все, что могу придумать». Надпись могла заменяться простой авторизацией: на титульном листе или в конце ставилась буква *a,* похожая на греческую альфу, иногда проставлялись более или менее подробные даты, исправлялись опечатки, восстанавливались цензурные варианты и т. п. Напротив, когда Анна Андреевна дарила книги друзьям, она добавляла ко всему этому подходящее к случаю пожелание, строку из стихотворения или псалма. Искусство выбирать такие строчки примыкает к мастерству ахматовского эпиграфа. Такие строки всегда оказывались к тому же щемяще связанными с ее собственной темой. <…>

В некоторых надписях она указывала, что дарит книгу в знак благодарности за что-либо. <…>

Надписям на книгах Ахматовой свойственна та же значительность, отточенность и глубина, как и всему, что она говорила и писала. Собранные, они немало украсили бы «Труды и дни».

Павел Николаевич Лукницкий:

Характерная черта: о Пушкине, о Данте или о любом гении, большом таланте АА всегда говорит так, с такими интонациями, словечками, уменьшительными именами, как будто тот, о ком она говорит, — ее хороший знакомый, с ним она только что разговаривала, вот сейчас он вышел в другую комнату, через минуту войдет опять… Словно нет пространств и веков, словно они члены ее семьи. Какая-нибудь строчка, например, Данте — восхитит АА «До чего умен… старик!» — или: «Молодец Пушняк!»

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Анне Андреевне свойственно было личное, пристрастное отношение даже к литературным персонажам. Однажды я застала ее за чтением Шекспира.

— Знаете, — сказала Анна Андреевна, — Дездемона очаровательна. Офелия же истеричка с бумажными цветами и похожа на N.N.

Анна Андреевна назвала имя женщины, о которой она говорила.

— Если вы, разговаривая с ней, подымете на воздух и перелетите через комнату, она нисколько не удивится. Она скажет: «Как вы хорошо летаете». Это оттого, что она как во сне;

во сне все возможно — невозможно только удивление.

Здесь характерна интимность, домашность культурных ассоциаций. В разговорах Анны Андреевны они свободно переплетались с реалиями быта, с оценкой окружающих, с конкретностью жизненных наблюдений.

Лидия Корнеевна Чуковская:

20 июня 1940. …Я сказала ей, что из стихов видно — она очень любит лебеду.

— Да, очень, очень, и крапиву, и лопухи. Это с детства. Когда я была маленькая, мы жили в Царском, в переулке, и там в канаве росли лопухи и лебеда. Я была маленькая, а они большие, широколистные, пахучие, нагретые солнцем, — я так их с тех пор люблю.

Михаил Васильевич Толмачёв:

Помню, что я принес Анне Андреевне нарциссы, которым она неподдельно обрадовалась, она их любила.

Евгений Борисович Рейн (р. 1935), *поэт:*

Розы были любимыми цветами Ахматовой.

Анатолий Генрихович Найман:

Она читала Эйнштейна, понимала теорию относительности, к достижениям же техники относилась довольно сдержанно. К лифту — неприязненно, но терпимо; пишущую машинку, особенно в союзе с копировальной бумагой, терпеть не могла. Вспоминала, как в Гаспре в 1929 году физики или астрономы издевались: «Анне Андреевне бинокль в руки не давайте, взорвется». Лишь автомобиль пользовался безоговорочным признанием. Как-то раз наше такси остановилось у бензоколонки рядом с новеньким сверкающим «мерседесом», я сказал: «Красиво, правда?» Она ответила пренебрежительно: «Вам в самом деле нравится? У вас буржуазный вкус. Она, наверное, еще из этих современных говорящих: «Залейте бензин, он на исходе!», «Снизьте скорость, не оставьте своих детей сиротами!» Бр-р!» Ей нравилось, когда даже мало знакомые владельцы машин приглашали ее прокатиться на автомобиле; довольно часто она находила повод вызвать по телефону такси поехать куда-то за чем-то, а иногда без повода: «Давайте прокатимся…»

Обычно маршрут автомобильной прогулки пролегал вдоль Финского залива, не далее Черной речки, где была могила Леонида Андреева, — именно одну из таких прогулок воспела Ахматова в «Земля хотя и не родная». Но чаще она просила

остановить машину между 60-м и 70-м километрами Приморского шоссе, где был дикий, усеянный огромными гранитными валунами, безлюдный берег.

Наталия Иосифовна Ильина:

Ходить ей было трудно, поездки в автомобиле давали ей возможность видеть улицы города, видеть природу. Мы с ней много ездили, и пассажиром она была идеальным. Не вскрикивала, не вздрагивала, не предупреждала о надвигающемся грузовике, не поучала, не давала советов. Она полностью полагалась на человека, сидевшего за рулем, и если бывали минуты испуга, то Анна Андреевна никогда этого не показывала, вела себя так, будто не в машине сидела, а в кресле дома…

…Мы с ней много ездили. Она любила арбатские переулки, улицу Кропоткина (всегда называла ее Пречистенкой), часто просила, меня отвезти ее в 3-й Зачатьевский… В этом переулке она жила когда-то, написала о нем: «Переулочек-переул, горло петелькой затянул…» Очень любила церковь Вознесения в Коломенском, куда мы непременно ездили два-три раза в год.

Еще она любила березовую рощу, находившуюся недалеко от Успенского шоссе: только березы, все примерно одного возраста, почти без подлеска, без единого другого дерева, занимающие большой участок и дающие впечатление светящейся белизны. Впервые я свезла туда Анну Андреевну осенью, потом была долгая зима, и вот весной мы снова туда приехали, и, увидев рощу, Анна Андреевна сказала: «Так она есть? Она существует? А мне все казалось, что это был сон».

Наталия Александровна Роскина:

Анна Андреевна любила путешествовать, бывать в новых местах и советовала мне: «Нет ничего более полезного для нервов, чем побывать там, где никогда не был».

Анатолий Генрихович Найман:

Она любила лето и зиму — за устойчивость, определенность, а весну и осень недолюбливала — за непостоянство, «переходность», хотя московская весна — жаркая, грязная, стремительно обрушивающаяся на город — всегда была ей очень по душе.

Михаил Борисович Мейлах:

Говорили о наркомании, к которой Анна Андреевна, естественно, не могла относиться с симпатией.

— Когда у меня был инфаркт, — сказала она, — в больнице

мне целый месяц делали уколы морфия.

Я спросил, сопровождалось ли это какими-нибудь приятными видениями.

— Ничего приятного в них не было, — отвечала Анна Андреевна. — Ну, раз увидела у себя на постели кошку. «Зачем мне кошка?»

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Волков. …Сотворять легенды было вполне в ее характере. Или я неправ?

Бродский. Нет, она, наоборот, любила выводить все на чистую воду. Хотя есть легенды — и легенды. Не все легенды были ей неприятны. И все же темнить Анна Андреевна не любила.

Игнатий Михайлович Ивановский:

…Я невольно боковым зрением наблюдал, с какой убежденностью и тончайшим искусством творила Ахматова собственную легенду — как бы окружала себя сильным магнитным полем. В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Было там и многое другое, о чем сказала сама Ахматова:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…

Отношение к еде

Игнатий Михайлович Ивановский:

Известны ее слова, сказанные о далекой молодой поре: «Еду мы варили редко — нечего было и не в чем». А в моей памяти появляется стакан чаю, который чаем можно назвать только условно — несколько чаинок в чуть подкрашенном кипятке, и вазочка с тремя печеньями известной марки «Печенье к чаю». Расположевшая рука пожилой женщины указывает на все это с неторопливым радушием, и голос Ахматовой произносит:

— Угощайтесь, пожалуйста.

А ведь это уже поздняя пора, последнее десятилетие ее жизни.

Дела могли идти немного лучше или много хуже, но отношение к еде, одежде, утвари всегда оставалось одним и тем же. Все это роли не играло.

Наталия Александровна Роскина:

Потом мы шли на кухню, Анна Андреевна накладывала в глубокие тарелки вареную картошку и кислую капусту — не помню, чтобы хоть раз у нее было что-то еще.

Анатолий Генрихович Найман:

Женщина, впустившая меня в квартиру, внесла блюдечко, на котором лежала одинокая вареная морковка, неаккуратно очищенная и уже немного подсохлая. Может быть, такова была диета, может быть, просто желание Ахматовой или следствие запущенного хозяйства, но для меня в этой морковке выразилось в ту минуту ее бесконечное равнодушие — к еде, к быту, чуть ли не аскетичность, и одновременно ее неухоженность, и даже ее бедность.

Анна Анаксагорова:

Анна Андреевна как-то сказала мне, что любит пшенную кашу с тыквой.

Сильва Соломоновна Гитович:

С утра я уходила за грибами, набирала полную корзину, долго чистила, а потом тушила особым манером, как любила Анна Андреевна, с луком, сметаной и перчиком. «Вы меня балуете, — кокетливо растягивая слова, говорила она, — грибы прелестны».

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Волков. Анна Андреевна любила выпить. Немного, но…

Бродский. Да, за вечер грамм двести водки. Вина она не пила по той простой причине, по которой и я его уже не особенно пью: виноградные смолы сужают кровеносные сосуды. В то время как водка их расширяет и улучшает циркуляцию крови. Анна Андреевна была сердечница. К тому времени у нее уже было два инфаркта. Потом — третий. Анна Андреевна пила совершенно замечательно.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Помня о запретах врачей, я, бывало, не ставил на стол заранее никаких графинов и не без страха спрашивал у нее, что она будет пить, в надежде, что она скажет: «вино» или «ничего». Но ответ бывал всегда один и тот же: «Рюмку водки, если она у вас есть». И таким же неизменным был ее первый тост, которым она перебивала мой за нее: «Выпьем за то, что мы опять сидим вместе, что мы опять встретились». От этого тоста становилось уютно. Больше двух-трех рюмок она никогда не пила.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Возвращаясь домой, мы подошли к пивному ларьку, где я хотела купить папиросы. Очередь расступилась. Но Анна Андреевна объявила, что хочет пить. Продавец протянул ей полную кружку пива. Она, не отрываясь, выпила ее до дна. И чем больше она запрокидывала голову, тем большее уважение отражалось в глазах окружавших нас рабочих, и она поставила на прилавок пустую кружку под их одобрительное кряканье и сдержанные возгласы удивления.

Адреса

Анна Андреевна Ахматова:

Все места, где я росла и жила в юности, больше не существуют: Царское Село, Севастополь, Киев, Слепнево, Гунгенбург (Усть-Нарова).

Уцелели: Херсонес (потому что он вечный), Париж — по чьему-то недосмотру и Петербург-Ленинград, чтобы было где преклонить голову. Приютившая то, что осталось от меня в 1950 году, Москва была доброй обителью для моего почти посмертного существования.

1890-е. Царское Село. Дом Шухардиной

Анна Андреевна Ахматова:

…Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX века, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунки», то есть до <18>38 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мертвенно-бледным, отекшим лицом запойного пьяницы. Из окна несется зловещая сапожная вонь. Все это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.

Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель — стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей еще не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за

городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками — репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в <19>40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1820 года: «Я лопухи любила и крапиву…»).

По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. …А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».

И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в <18>90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным…

…Анина комната: окно на Безымянный переулок… который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками-репейниками, роскошной крапивой и великанами-лопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества еще не было). В углу — икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки безд<елушками>, выш<ивками>, откр<ытками>.

1941–1942. Ташкент. Первое время эвакуации

Галина Лонгиновна Козловская:

Я оглядела конурку, в которой ей было суждено первое время жить. В ней едва помещалась железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, единственный стул, на котором она сидела

(так что она предложила нам сесть на постель). Посередине маленькая нетопленая печка-буржуйка, на которой стоял помятый железный чайник и одинокая кружка на выступе окошка «Кассы». Кажется, был еще ящик или что-то вроде того, на чем она могла есть. В каморке было холодно, тусклая лампочка лишь усиливала тоскливость этого одинокого угла, его нетопленность и случайность. Я вспомнила, что эта «Касса», загнанная на задворки черного хода, являлась частью здания, которое раньше занимало учреждение «Управление по делам искусств», выходившее своим фасадом на Красную площадь. Здесь, в прежних приемных и отделах, разместились эвакуированные писатели, и Анне Андреевне досталась «Касса». Было что-то глумливо-ироничное, но совершенно единое с гофманианой ее жизни и судьбы, что ей, самой безденежной из всех людей, суждено было жить в помещении, где до войны шелестели купюры и выдавались суммы, часто немалые, преуспевающим писателям.

Яков Захарович Черняк (1898–1955), *критик, историк литературы:*

14. VII.42. Комнатка крошечная. Окошко чердачное. Раскалено за день под чердачной крышей. Окно открыто, а духота не уходит. Лежит — два дня нездорова. Между двумя стенками угол занят висящими на палке платьями. Жилище зашедшего сюда на день, на вечер… А она здесь с 11 ноября 1941 года.

1942–1944. Ташкент. Ул. Жуковского, 54

Галина Лонгиновна Козловская:

Дом на Жуковского, 54 состоял из нескольких построек — направо, налево главный особняк и строение в глубине двора. К нему была словно прилеплена снаружи деревянная лестница, ведшая наверх, на балахану (вероятно, наше слово «балкон» пришло с Востока, как и множество других). Еще до переезда Анны Андреевны туда там уже жили писатели — Иосиф Уткин, Луговской, Погодин и другие, кто еще, не вспомню, вероятно, потому что их не знала. Всегда, как, бывало, войдешь во двор, справа дымились мангалки, сделанные из старых ведер, а вокруг них топтались женщины, неумело варившие на них еду. В жаркие, томительные ночи почти все обитатели этого дома выносили свои постели и спали во дворе.

Однажды Ахматова озорно скаламбурила: «Все спят во дворе. Только мы с Луговским не спим на дворе». На балахане некоторое время жила Елена Сергеевна Булгакова, и, когда она уехала, эту

жилплощадь предоставили Ахматовой. Это была длинная большая комната, с окном почти во всю длину. О ней Анна Андреевна написала два стихотворения. Одно из них называется «Хозяйка», и в печатных изданиях оно всегда издается в цикле «Новоселье».

Эдуард Григорьевич Бабаев:

Днем горлинки сидели на ступеньках, ведущих на балахану, темный плюш укрывал стены и окна. Вечером лесенка обрывалась во тьму.

На балахане у Анны Ахматовой не было ни книжных полок, ни украшений. Простота и строгость «монастырские». Поэтому и комната, где стоял стол, называлась «трапезной»:

Как в трапезной — скамейка, стол, окно
С огромною серебряной луною…

Справа от стены, если идти от ворот в глубину двора, возвышался серебристый тополь. Это было удивительное дерево. Днем тополь как бы сторонился, старался быть незаметным. Но по вечерам, когда разжигались мангалы, тополь начинал расти на глазах, сливаясь с тонким дымом, восходящим к небу. Анна Андреевна говорила, что она никогда не видела такого высокого тополя…

Когда Анна Ахматова переселилась с балаханы в комнату кирпичного дома на первом этаже, она сказала, указывая на свой стол:

— Беспорядок переселился вместе со мной…

Но беспорядка на столе не было и на балахане.

1940–50-е. Ленинград. Фонтанный Дом

Исайя Берлин:

Фонтанный Дом, дворец Шереметевых, — прекрасное здание в стиле позднего барокко, с воротами тончайшего художественного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград. Внутри — просторная зеленая площадка, напоминающая четырехугольные дворы какого-нибудь большого колледжа в Оксфорде или Кембридже.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Во внутренний двор Шереметевского дворца нужно было проходить через две двери (тамбур) центрального подъезда. В

основном здании находился Институт Севера. Чтобы пройти к Анне Андреевне, теперь нужно было не только сказать вахтеру или дежурному, к кому ты идешь, но требовалось оставить ему паспорт. Его возвращали только при выходе обратно, на улицу.

Наталия Александровна Роскина:

Это был не обычный дом, а здание Главсевморпути. У входа сидел вахтер и спрашивал пропуск. Гостям Ахматовой он постоянно делал замечания — почему засиделся или что-то в этом духе. Сама она была обязана предъявлять удостоверение с фотографией. В графе «профессия» было написано: «жилец».

Исайя Берлин:

По одной из крутых, темных лестниц мы поднялись на верхний этаж и вошли в комнату Ахматовой. Комната была обставлена очень скупо, по-видимому, почти все, что в ней стояло раньше, исчезло во время блокады — продано или растащено. В комнате стоял небольшой стол, три или четыре стула, деревянный сундук, тахта и над незажженной печкой — рисунок Модильяни.

Антонина Васильевна Любимова:

1 сентября 1944. В небольшой комнате с двумя окнами, куда привела меня Анна Андреевна, был теплый желтоватый отсвет от солнца (было после трех часов дня). Направо во дворе была желтая пожарная стена (брандмауэр), ярко освещенная солнцем, откуда и попадали в комнату теплые рефлексы. Мне там все понравилось: отсвет солнца, и простота, и порядок, и несколько старинных вещей из мебели. Круглый стол, покрытый маленькой четырехугольной голубоватой салфеткой, большой букет полевых цветов, простая металлическая кровать, два-три кресла, что-то вроде комода, на стене небольшое зеркало и небольшой четырехугольный стол в углу, на котором, должно быть, лежали тетради, — она к нему иногда подходила и что-то быстро записывала. Это место мне стало казаться каким-то необычным, и я избегала смотреть, что она там делает.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Ясно вижу эту большую голую комнату, в которую она меня ввела прямо из маленькой прихожей, сама открыв мне дверь. Квартира Пуниных, где она жила с 1926 года, находилась во внутреннем дворе, на третьем этаже правого флигеля (на первом этаже, как мне потом однажды сказала Анна Андреевна, когда-то жил П. А. Вяземский, — она мне показала его окно).

Анна Андреевна усадила меня, а сама продолжала подкладывать дрова в полукруглую высокую, типично петербургскую печку, опустившись на колени перед открытой дверцей. Я пока оглядывался: нет, не так уж голо, как мне показалось в первую секунду: у стены стоит кровать, или, вернее, койка, покрытая простым темным одеялом; на другой стене висит зеркало в старинной золоченой раме. Рядом, не то на полочке, не то на этажерке, не помню, — что-то фарфоровое, не бог весть что, но тоже старинное. В углу — икона, складень. У стены рядом с входной дверью стоит маленький прямоугольный стол, с простой чернильницей, с пресс-папье — значит, письменный; не то один, не то два старых стула, просиженное кресло. Ни шкафов, ни стеллажей. Книги — на столе, на стуле, на подоконнике…

Сильва Соломоновна Гитович:

У нее над изголовьем висят две темные иконы. Одна — Успенье Богородицы, другая, маленькая, — Всех Скорбящих Радости — подарок Гумилёва.

Татьяна Михайловна Вечеслова:

Летом окна ее комнат затеняли старые густые липы.

1950-е. Ленинград, Ул. Красной Конницы, 4

Анна Анаксагорова:

В течение 1954–1961 годов мы прожили с семьей А.А. А. Я называла нашу квартиру «Дом открытых дверей». Все пять комнат выходили в коридор; двери не закрывались.

Сильва Соломоновна Гитович:

А.А. переехала на ул. Красной Конницы, 4, где когда-то, в незапамятные времена, по ее словам, помещался постоялый двор, а весь второй этаж занимал ямщицкий трактир. Тогда двор дома был застроен конюшнями, где отдыхали извозчичьи тройки, пока их хозяева грелись с морозца. Сейчас ничто не напоминало о былых временах. Квартира как квартира, из пяти комнат. В двух комнатах жили Пунины, проходная — столовая — была общей. Из нее вела дверь в комнату А. А., вдвое меньшую, чем ее комната в Фонтанном Доме, а в угловой жила чужая старушка, которая, как тень, в мягких шлепанцах мелькала в коридоре. Здесь как-то заметнее стало, что вся мебель в квартире ломаная. Диван вместо ножки подпирался гигантской катушкой, такой, на которую наматывают пряжу на ниточной фабрике. В комоде рассохшиеся

ящики плотно не задвигались, а кровать давно потемнела и облупилась. Но, как всегда, в углу висели иконки и над изголовьем знаменитый рисунок Модильяни. У окна стоял низкий резной ларь, «сундук флорентийской невесты», как его называла А. А., где лежали папки и рукописи.

1960-е. Ленинград. Ул. Ленина, 34

Анатолий Генрихович Найман:

В трехкомнатной квартире на улице Ленина, дом 34 жили, кроме Ахматовой, Ирина Николаевна Пунина с мужем и ее дочь Анна Каминская с мужем. <…> Ее комната, длинная, с окном на улицу, была рядом с кухней. Над кроватью висел рисунок Модильяни, у противоположной стены стоял сундук-креденца с бумагами, который она отчетливо называла «краденца», отчего он, и столик с поворачивающейся столешницей, под которой тоже лежали письма и бумаги, и гобеленного вида картинка с оленем, стоявшая на столике и оказавшаяся бюваром, также хранившим письма, и овальное зеркало, и надбитый флакон, и цветочные вазы, и все прочие старинные вещи, выглядевшие в этой комнате одновременно ахматовскими и случайными, соединились в моем сознании с описанием спальни Ольги Судейкиной, «героини» Поэмы, кончающимся строчкой «Полукрадено это добро».

Михаил Владимирович Латманизов (1905–1980), *доцент Политехнического института, библиограф-коллекционер, биограф Ахматовой и Гумилёва:*

Комната, в которой меня принимала А. А. Ахматова, по-видимому, служит ей одновременно и спальней и рабочей комнатой. Комната небольшая — примерно 20 кв. м, с одним окном, выходящим на ул. Ленина. Ближе к окну стоит кровать, наполовину закрытая ширмой, а в глубине комнаты, у двери, — небольшой рабочий стол, слева у стены — полка с книгами, у самой задней стены — низкий столик, покрытый покрывалом, тоже с книгами. От окна справа — горка красного дерева, за стеклом разные сувениры. Направо — тумбочка красного дерева, с ящиками и с круглым зеркалом наверху (по-видимому, служащая вместо туалета). Дальше — большая кровать красного дерева, с колонками в четырех углах, увенчанных чашами-светильниками. На правой колонке в изголовье повешены четки деревянные. Над изголовьем — рисунок Модильяни — портрет А.А. Дальше стоит ширма, отгораживающая кровать от второй половины комнаты. Дальше справа — шкаф красного дерева, с

глухими дверцами, старинный. Слева напротив — полка-стеллаж с книгами. За ней — рабочий столик, за которым и протекали все наши разговоры. Спиной к окну, в широком кресле, обитом красным бархатом, сидит А.А. В левом заднем углу — небольшая горка. Вдоль задней стены — дубовый резной ларь, на котором разложены папки с бумагами и книги. В правом углу — дверь. Сверху комната освещается небольшим фонарем.

1950–60-е. Москва. В доме Ардовых на Ордынке

Наталия Иосифовна Ильина:

И вот я в квартире Ардовых. Передняя образует угол, внутри угла — шестиметровая комната, в которой обычно жила Ахматова. Сколько раз мне предстояло бывать в этом крошечном, с высоким потолком, похожем на шкаф помещении! Прямо из передней — дверь в общую проходную комнату: там большой стол и у стены диван с высокой прямой спинкой.

Алексей Владимирович Баталов:

…Наша квартира помещалась в первом этаже, у самой земли, так что летом я отправлялся во двор не иначе как через окно; комнатки были маленькие, и потому диван, стоявший в главной комнате и занимавший большую ее часть, являлся в то же время и самым парадным местом. Здесь усаживали особо почетных гостей, а в дни детских праздников даже устраивали сцену.

По-хозяйски, один на всем диване я имел право царствовать только в дни болезни, да и то при условии очень высокой температуры. Но каждый раз, когда из Ленинграда приезжала эта непохожая на московских маминых подруг дама, которую все называли по имени и отчеству, она сразу получала диван. Она забиралась с ногами и так возлежала на нем когда хотела и сколько хотела. Опершись на подушку, она могла и пить кофе, и читать, и принимать гостей.

Семен Израилевич Липкин (1911–2003), *поэт, прозаик, переводчик, мемуарист:*

Эту комнату в квартире Ардовых на «легендарной Ордынке» воспоминатели называют нежно: «уютная». Комната в большой квартире дореволюционного дома когда-то, видимо, предназначалась для прислуги. Очень маленькая, с окошком почти под самым потолком. Ахматова к старости стала туга на ухо, но разговаривать громко я затруднялся, потому что все было слышно за стеной, в главной комнате, где собиралась семья,

сидели гости — шумные, веселые, пожилые и молодежь, писатели и актеры. Среди писателей, часто посещавших хозяина дома, был один, пользовавшийся дурной славой. Ахматова предупреждала меня об этом, между тем она охотно, по крайней мере со мной, беседовала на жгучие политические темы, мне приходилось повышать голос, опасный гость мог услышать. Так вправду ли была уютной эта легендарная комната?

Я встречался с Анной Андреевной у Марии Петровых на Беговой, и у Ники Глен на Садово-Каретной, и у Большинцовой-Стенич на улице Короленко в Сокольниках, на пятом этаже без лифта, и у Нины Леонтьевны Манухиной, вдовы поэта Георгия Шенгели, на Первой Мещанской (теперь проспект Мира). Во всех этих временных ее пристанищах к ней относились любовно, я бы сказал, восторженно-почтительно. И все же она всегда рвалась на Ордынку, даже из огромной квартиры Манухиной-Шенгели, где три женщины — мать, дочь и домработница — обхаживали Анну Андреевну, где в ее распоряжении была большая светлая комната и замечательная библиотека покойного Шенгели, книги на разных языках. Почему же Анна Андреевна тянулась на Ордынку, к маленькой комнате с окошком под самым потолком?

Я думаю, что ее влекла не только доброта и самоотверженная отзывчивость Нины Антоновны Ольшевской, жены Ардова, актрисы и режиссера. Анне Андреевне была по душе вся атмосфера в шумной актерской семье Ардовых, милые мальчики Миша и Боря, молодежь, их посещавшая, ужин и разговоры после полуночи за широким без скатерти столом. Чем-то — так я предполагаю — это напоминало «Бродячую собаку», но там, признавалась она в стихах, всем было невесело, а здесь, на Ордынке, в ее скудную и трагически трудную жизнь врывались новые голоса, новые словечки новой улицы, уже не совсем безъязыкой. Здесь происходили наши самые долгие беседы под многоголосицу за стеной.

1950–60-е. Комарово. Дача Литфонда (Будка)

Анатолий Генрихович Найман:

Литфонд выделил ей дачу в Комарове, дощатый домик, который она скорее добродушно, чем осуждающе, называла Будкой, как хатку под Одессой, где она родилась. Его и сейчас можно видеть, один из четырех на мысочке между улицами Осипенко и Озерной. Как-то раз она сказала, что нужно быть незаурядным архитектором, чтобы в таком доме устроить только одну жилую комнату. В самом деле: кухонька, комната средних

размеров, притом довольно темная, а все остальное — коридоры, веранда, второе крыльцо. Один угол топчана, на котором она спала, был без ножки, туда подкладывались кирпичи.

Лидия Корнеевна Чуковская:

Что же здесь, в Будке?.. Жар от круглой черной железной печи. <…>

Поперек комнаты — письменный стол. Чем-то он не похож на другие письменные столы, но чем — не пойму. На столе высокие старинные подсвечники, в подсвечниках высокие свечи. Между свечами чернильница, тоже старинная, думаю — века XVIII-го. Поверх чернильницы какой-то странный предмет: камень не камень, деревяшка не деревяшка. Форма? Змея не змея, птица не птица.

За спиной у Анны Андреевны стул, на стуле чемодан — открытый, с аккуратно сложенными папками. В углу напротив (слева, если глядеть от нее) — углом висят некрашеные книжные полки. Вдоль стены направо — постель: матрас, опертый о кирпичи и прикрытый темной накидкой. У двери — печь.

Сильва Соломоновна Гитович:

И вот Анна Андреевна плотно поселилась у себя на даче. Постепенно стали засаживать участок неприхотливыми растениями. Притащили из лесу березку и рябинку и посадили у крыльца. Взяли у нас отростки даурской гречихи, которая легко разрастается повсюду. Посадили у веранды чахлые бледно-сиреневые лесные фиал очки, красивый стрельчатый мох и лиловый иван-чай.

В доме и на участке появилось засилье коряг и корней. Причудливые корни стояли на шаткой этажерке и висели прибитые к стенкам. А большие коряги жили разбросанные по участку.

Перед окнами веранды лежала главная большая коряга, «мой деревянный бог», как говорила Анна Андреевна.

Все годы, что А.А. прожила в Будке (так называла она свою дачу), коряга-бог лежала на этом самом месте. Перед ней неоднократно вечерами жгли костры. Тогда обычно выносили большое кресло с высокой спинкой, и А.А. подолгу сидела, глядя, как жарко горят сучья, вспыхивая на ветру.

Когда после заката поливали цветы, она садилась на грубо сколоченную узенькую скамеечку под окнами веранды, и прямо перед ней торчала все та же бесформенная, рогатая коряга.

Дом тоже постепенно обставлялся. Ира откуда-то привезла груду рухляди, расставила ее на даче, и таким образом появились

в комнате А.А. кривоногие старинные стулья с порванной обивкой, очень низкий стол, сколоченный из чердачной двери, и матрац на восьми кирпичах.

Впоследствии А.А. говорила: «Я совершенно освоилась со своими кирпичами, я к ним привыкла. Ну что ж, у Пушкина кровать стояла на березовых поленьях, а у меня на кирпичах».

Анатолий Генрихович Найман:

Стоявший в ее комнате у окна ломберный столик служил и письменным столом, и обеденным.

Сильва Соломоновна Гитович:

Анна Андреевна работала за длинным, очень узким столом, каким-то странным гибридом высокой скамьи с узеньким комодом, на котором стояли чудесные голубые фарфоровые подсвечники с чуть отбитой подставочкой и старинная, расписанная незабудками фарфоровая чернильница с бронзовой крышечкой.

Дверь в маленькую комнату (она еще называлась серой комнатой) завесили темно-лиловыми половичками, сшитыми вместе, а у другой стены поставили грубо сколоченный топчан. На столике у кровати был приемник с проигрывателем, взятые напрокат, а у самых дверей примостился выкрашенный в черную краску высокий, очень узкий шкаф, как говорила А. А. — «гроб, поставленный на попа».

Но везде — в вазах, кувшинах и банках, стояло много цветов. И всем нравилась комната Анны Андреевны. В последние годы на стене появился яркий плакат с нарисованным петухом и четкой надписью: «Гости, если даже А.А. не хочет, все равно идите с ней гулять!»

Анатолий Генрихович Найман:

В ее комнате против деревянной полки с самыми разными книгами, от подаренной, только что вышедшей, которую она, как правило, спешила кому-то передарить, до французского томика Парни или латинского Горация, стоял старый ламповый радиоприемник «Рекорд», с двумя диапазонами: средних и длинных волн. Она говорила, что у него внешность, предполагающая на стене над ним обязательный портрет товарища Сталина: в журналах 40-х годов печатались фотографии уютных комнат, с улыбающимся семейством, с изобилием на столе, с фикусом, со Сталиным в красном углу, а под ним — «Рекорд». <…> У изголовья топчана на низеньком столе стоял электрический проигрыватель: либо я брал его в местном пункте

проката, либо кто-то привозил из города.

Лев Адольфович Озеров:

Несколько раз Анна Андреевна приглашала нас на дачу, которую называла Будкой. Все было здесь скромно, даже бедно. Но эта бедность не ощущалась. Анна Андреевна, казалось, сидела за клавесином, а это был всего лишь простой стол — узкий и длинный. Присутствие Ахматовой придавало комнате и обстановке значительность и смысл.

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна и — воспользуюсь ее собственным выражением — беспастушна…

Здоровье

Наталия Александровна Роскина:

Отец Анны Андреевны рано умер — от первого приступа грудной жабы. Когда она расспрашивала врача о причине его смерти, врач сказал: «Вам эта болезнь не грозит. Во-первых, она не передается по наследству, а во-вторых, она почти никогда не бывает у женщин. Это болезнь служебных неприятностей». Судьба, однако, рассудила иначе, у Анны Андреевны была стенокардия.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Вспоминаю 1951 год. Анна Андреевна уже несколько месяцев живет в Москве у Ардовых. Утром в последних числах мая мне неожиданно звонит по телефону Виктор Ефимович Ардов. «Так вот, — говорит он, как водится, без всякой паники, — Анну Андреевну в больницу кладут. У нее предынфарктное состояние. Так вы приезжайте». Минут через 20–25 я уже на Ордынке.

Во дворе стоит машина «неотложной помощи». Весь персонал на месте, чего-то ждет. А наверху Анна Андреевна отказывается двинуться с места, пока не дождется меня. Я спешу к ней подойти. Она протягивает мне толстую папку со своими рукописями и рабочий экземпляр сборника «Из шести книг» с авторской правкой. «Храните у себя», — говорит она мне.

Алексей Владимирович Баталов:

…Вернувшись домой, уже с порога спросил, где Анна Андреевна.

— В больнице, — был ответ. Я опешил.

— Врач со «скорой» предполагает разрыв сердца.

— Когда это случилось?

— Утром во время завтрака.

— Как же, когда я сам завтракал с ней?!

К вечеру все подтвердилось. Это был обширнейший инфаркт. Жизнь Ахматовой повисла на волоске… Даже говорить с ней было запрещено, и врач допытывался у домашних, как это произошло: не упала ли больная и не ударилась ли как-то при этом, долгой или внезапно короткой была боль, теряла ли она сознание — и все тому подобное. Но ничего «тому подобного», типичного для такого сердечного удара, не было.

Мы сидели за столом и завтракали. <…> В то утро все шло обычным порядком, только я выпадал первым и, поскольку нужно было уходить, старался по-настоящему съесть бутерброд и успеть

выпить чаю. Дождавшись окончания очередной новости, которую принес кто-то из сидящих за столом, Анна Андреевна не спеша поднялась.

— Я на минуту вас покину, — сказала она. Взяла, как обычно, лежащую на диване сумочку, с которой никогда не расставалась, и направилась к двери.

— Анна Андреевна, я уже должен сейчас уходить, вы просили… — начал было я.

Ахматова повернулась, опираясь на полуоткрытую дверь.

— Бога ради, не думайте об этом, Алеша. Мы все решим вечером, — сказала она примирительно и, не торопясь, спокойно вышла из комнаты.

Я ушел. Через некоторое время, заварив очередную порцию свежего чая, мама заглянула в каморку Анны Андреевны. Ахматова лежала неподвижно, сумка была аккуратно поставлена на стул, туда, где стояла обычно, и только смертельная бледность лица заставила маму войти в комнату.

Врач не верил этому рассказу.

Эмма Григорьевна Герштейн:

В самых последних числах мая 1951 года машина «неотложной помощи» доставила Ахматову в 5-ю Советскую больницу с диагнозом «предынфарктное состояние». В приемном покое она была еще на ногах — я с ней разговаривала. На следующий день, в воскресенье, я застала ее в изоляторе. Анна Андреевна лежала на спине, вытянувшись, молчаливая, с ужасной болью в груди. Меня она почти не узнавала. Взволнованная медсестра что-то принесла и быстро побежала за дежурным врачом… Потом мы узнали, что именно в тот час произошел инфаркт миокарда — тяжелый, двусторонний.

Наталия Иосифовна Ильина:

В декабре… 1955 года Ахматову увезли во Вторую городскую больницу. Приступ аппендицита — еще и это! Оперировать тогда не решились, операцию сделали несколькими годами позже. Ахматова лежала в палате, где было еще четверо больных. Одна из них ночами стонала, бредила, кричала — была не в себе. Уже выписавшись, Анна Андреевна рассказывала, что женщина эта каждое утро, указывая на койку Ахматовой, громко спрашивала: «А та бабка еще не померла?» Рассказывала с юмором, посмеиваясь. А пока была в больнице, куда ее друзья ежедневно по очереди к ней ходили, ни звуком не обмолвилась ни о ночных стонах, ни об утренних вопросах и вообще не проронила ни слова жалобы.

Ида Моисеевна Наппельбаум (1900–1992), *поэт, старшая дочь фотографа-портретиста М. С. Наппельбаума:*

Ахматова немного рассказывала о больнице, о том, как к ней внимательно относились. Я рассказала, что два дня назад была там, но уже не застала ее. Она удивилась, пошутила. Потом:

— Жаль, что напрасно ездили. Знаете, тогда запишу вас в число меня посетивших… Можно? Хорошо? Я записывала всех моих гостей. Москвичи шли ко мне просто валом, предъявляя московские паспорта. Запишу вас — вы будете пятьдесят девятая!

Женщина

Галина Лонгиновна Козловская:

Анна Андреевна была полным выражением двух стихий — поэзии и женственности.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Она призналась мне, что в Петербурге, когда она приехала туда с Гумилёвым, ее поразил не успех ее первых книг, а женский успех. К литературному успеху она сначала отнеслась равнодушно и верила Гумилёву, что их ожидает судьба Браунингов — при жизни известностью пользовалась жена, а после смерти она сошла на нет, а прославился муж. А женский успех вскружил ей голову, и здесь кроется тайна, почему ей захотелось казаться приятной дамой. Первые свои уроки, как должна себя вести женщина, А.А. получила от Недоброво. Какая у него была жена, спрашивала я; оказалось, что его жена очень выдержанная дама из лучшего общества. Сам Недоброво тоже был из «лучшего общества», и его влияние здорово сказалось на некоторых жизненных установках Анны Андреевны. А сам Недоброво, влияя и сглаживая неистовый нрав своей подруги, вероятно, все же ценил ее необузданность и дикость. «Аничка всем хороша, — говорил он, — только вот этот жест», и А.А. показала мне этот жест: она ударила рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно подняла руку ладонью вверх и сунула ее мне почти в нос. Жест приморской девчонки, хулиганки и озорницы. Под легким покровом дамы, иногда естественно любезной, а чаще немного смешноватой, жила вот эта самая безобразница, под ногами которой действительно горела земля.

Лидия Корнеевна Чуковская:

8 июня 1940. …Внезапно Анна Андреевна обратила внимание на мою новую шляпу, широкополую, белую, лежавшую на стуле. И примерила ее перед зеркалом. Ей пора было переодеваться, идти к Рыбаковым обедать, и я предложила, что подожду ее внизу во дворе.

— Нет, нет, не уходите никуда, я раскрываю дверцу шкафа — одеваюсь внутри, и тогда меня не видно. Пока она переодевалась, я, по ее просьбе, читала ей вслух стихи (Шефнера и Лифшица из последнего номера «Литературного современника»). Ей не понравилось.

В новом шелковом платье она вышла из-за дверцы шкафа и начала перед зеркалом втирать в щеки крем, потом надела белое

ожерелье, потом ярко накрасила губы. Сейчас она была уже совсем не такая, как час назад, а нарядная, величественная — даже отсутствие некоторых передних зубов сделалось как-то незаметно.

Она снова надела мою шляпу и пошла о ней с кем-то посоветоваться, кажется, с Анной Евгеньевной (Аренс, первая жена Н. Н. Пунина. — *Сост.)*.

— Решено, я покупаю такую же. Это единственная шляпа, которая мне понравилась: мне ведь никакие шляпы не идут… А не знаете ли вы, где можно купить перчатки?

Я не знала.

Мы отправились. Во дворе я заметила, что на ней новое пальто и новые изящные туфли. Я порадовалась: деньги в действии.

Вошли в троллейбус. Анна Андреевна прошла вперед, а я застряла платить. И вдруг, на весь вагон, даже не поворачивая ко мне головы, она спросила свободным, звонким голосом:

— А сколько стоит эта шляпа?

Наталия Иосифовна Ильина:

Тут уместно добавить, что Ахматова хотя и называла себя с усмешкой Серафимом Саровским (мирские дела не для нее!), однако украшения любила: ожерелья, броши, перстни, — вопрос «идет или не идет» не был для нее безразличен. Этому, впрочем, важности не придавала. Есть новое платье — хорошо, нет — и так обойдемся. Годами ходила в старой, с потрепанным воротником шубе, что очень беспокоило Нину Антоновну, взвалившую на себя все бытовые заботы Ахматовой. Но эта старая женщина с величавой осанкой украшала все, что бы на себя ни надевала, включая и шубу с потрепанным воротником…

И сплетничать с ней можно было, и новой блузкой хвастаться, и погоду обсуждать — банальнейшие темы! Но ничто не звучало банально в устах Ахматовой…

Маргарита Иосифовна Алигер:

Однажды мы с дочкой куда-то уходили, и дочка задерживала меня, долго собираясь.

— Вы ведь небось смолоду не красили ресницы? — воззвала я к Анне Андреевне.

— Я всю жизнь делала с собой все, что было модно, — с некоторым вызовом призналась Анна Андреевна. — И всю жизнь умела выглядеть как хотела — красавицей или уродкой…

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Что еще вспомнить про мою подругу? Как она вдруг сосредоточенно посмотрит на меня и вдруг скажет что-нибудь, и я раскрою от удивления глаза: она поймала мою мысль и ответила на нее. Или как я говорю: «Ануш, там идут к нам», а она спросит: «Что, уже пора хорошеть?» И тут же — по заказу — хорошеет. Или как она прочла в каких-то зарубежных мемуарах — женских, конечно, — что она была некрасивой — писала, очевидно, одноклеточная женщина— и Гумилёв ее не любил. «Надя, объясните мне, почему я должна быть красивой? А Вальтер Скотт был красивым? Или Достоевский? Кому это в голову придет спрашивать?» Я уже думала, что обойдется и она забудет про эти мемуары, но не тут-то было. С этого дня началось собирание фотографий. Все знакомые несли ей фотографии: помните, Анна Андреевна, мы у вас вот эту выпросили… Нужна она?.. Анна Андреевна собирала фотографии, там, где она красивая, разумеется, и выклеивала их в альбом. Их собралось столько, что и счесть нельзя: груды, груды, груды… А записать стихи не успела — времени не хватило. Масса стихов осталась незаписанная.

Сильва Соломоновна Гитович:

Она очень ревниво относилась к своим изображениям и забракованные ею фотографии безжалостно рвала, а негативы требовала уничтожить.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Ахматова не любила сплетен, но могла давать женщинам безошибочные характеристики, иногда язвительные, но всегда точные. Впрочем, на женщин она склонна была возлагать вину и за то, что ей не нравилось в их мужьях и возлюбленных.

Ахматова не раз повторяла, что жены все и всегда ужасны (одно время делала исключение только для Надежды Яковлевны). Об одной подруге одаренного поэта говорила: «С виду божественное видение, а ведет себя как сатана».

Но иногда доставалось и мужчинам, особенно за нарушение правил приличия. О нашем общем знакомом, переставшем здороваться со своей бывшей возлюбленной: «Ну это уже — выйти из графика!»

Ахматова в состоянии была пылко ненавидеть и женщину, жившую полтораста лет назад.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Я часто замечала, что перед женщинами Анна Андреевна рисовалась, делала неприступную физиономию, произносила отточенные фразы и подавляла важным молчанием. А когда я

заставала ее в обществе мужчин, особенно если это были выдающиеся люди, меня всегда заново поражало простое, умное и грустное выражение ее лица. В мужском обществе она шутила весело и по-товарищески.

Наталия Александровна Роскина:

Однажды какой-то мой рассказ она перебила словами: «Деточка, о мужчинах я знаю все».

Приведу еще два высказывания на женские темы. «Залог семейного счастья — в полной пассивности женщины». «Климакс — это вопрос интеллекта…»

Анатолий Генрихович Найман:

В больницах, узнав, кто она, к ней подходили советоваться — соседки, нянечки; начало у всех было одно и то же: «Ну, с мужем я не живу уже три месяца», — разница была в сроках. Как правило, одинаковый был и конец: «Скажите, будет когда-то ей, разлучнице, так же худо, как мне сейчас?» И Ахматова отвечала: «Это я вам обещаю, тут можете не сомневаться».

Владимир Григорьевич Адмони:

Как у многих женщин, но несравненно сильнее и неотступнее, в душе Ахматовой жила стихия боязней, испугов и страхов, постоянное ожидание беды — ожидание, обостренное до предела. «Со мной только так и бывает», — говорила Ахматова, когда с ней случалось что-нибудь плохое. Говорила, впрочем, совершенно спокойно, невозмутимо. Притупились боязни, испуги, страхи лишь в последние годы жизни Ахматовой.

В кругу семьи

Предки

Анна Андреевна Ахматова:

Назвали меня Анной в честь бабушки Анны Егоровны Мотовиловой. Ее мать была чингизидкой, татарской княжной Ахматовой, чью фамилию, не сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала своим литературным именем. <…>

…В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе Посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.

Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом.

Одна из княжон Ахматовых Прасковья Егоровна — в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна — моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет, и в честь ее меня назвали Анной. Из ее фероньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а ее наперсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы.

Семен Израилевич Липкин:

…Я почему-то вспомнил фразу из «Автобиографии» Тамерлана (по-тюркски Аксак-Темира, Железного Хромца): «Мир подобен золотому сундуку, наполненному змеями и скорпионами».

Фраза понравилась Анне Андреевне, но она заговорила о другом:

— Моя прародительница Ахматова была в родстве с князьями Юсуповыми. А Юсуповы — ветвь от потомков Тамерлана. Сам же Тамерлан был потомком Чингисхана, следовательно, Чингисхан — мой предок.

Я объяснил, что это не так, и на следующий день принес ей «Автобиографию» Тимура в переводе с тюркского и джагатайского В. Панова и с его же предисловием и комментариями. Комментатор отрицает претензию Тимура на то, что он будто бы внук Чингисхана: «Это обычная манера генеалогий

«Автобиографии» — сближать «героя» с великим родоначальником».

Анна Андреевна была явно недовольна, но примирилась с тем, что она не потомок Чингисхана: «Быть потомком Тамерлана тоже неплохо».

Родители

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс (1869–1962), *писатель, общественный деятель, мемуарист:*

Странная это была семья, Горенко, откуда вышла Анна Ахматова. Куча детей. Мать богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом, может быть, ни о чем. В доме беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делали что хотят. Хозяйка бродит как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место — сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивленьем смотрела, чего он волнуется да еще и сердится.

Горенко служил, насколько помню, в Государственном контроле, дослужился до чина действительного статского советника. Был хороший чиновник и очень неглупый человек. Любил пожить. Ухаживал, и не без успеха, за всеми хорошенькими женщинами, которых встречал. Был большой театрал. Как-то сказал мне

— Я человек не завистливый, а вот тем, кто может у Дузе ручку поцеловать, страшно завидую…

Это мне понравилось. Я сама, когда видела Дузе, совершенно растворялась в ее победоносной гениальности.

Анна унаследовала от отца его важную осанку и выразительное лицо. Не было в ней его жизнерадостности. А жадность к жизни отцовская, пожалуй, и была. В нем не было и тени той поэтической сосредоточенности, которой Анна была обвеяна. По какому закону наследственности из этой семьи вышла такая умница, такая оригинальная, глубоко талантливая и прелестная женщина?

Горенко-отец таланта дочери не ценил. Она рассказывала мне, что, когда под первым своим напечатанным стихотворением она подписала — Анна Горенко, отец вскипел и устроил дочери сцену:

— Я тебе запрещаю так подписываться. Я не хочу, чтобы ты трепала мое имя.

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Волков. Что Анна Андреевна рассказывала о своем отце?

Бродский. Андрей Антонович Горенко был морским офицером, преподавал математику в Морском корпусе. Он, кстати, был знаком с Достоевским. Этого никто не знал, между прочим. Но в 1964 г. вышли два тома воспоминаний о Достоевском. И там были напечатаны воспоминания дочки Анны Павловны Философовой о том, как Горенко и Достоевский помогали ей решать арифметическую задачку о зайце и черепахе. Я тогда жил в деревне, эти воспоминания прочел и, умозаключив, что речь идет об отце Ахматовой, написал об этом Анне Андреевне. Она была чрезвычайно признательна. И потом, когда мы с ней встретились, уже после моего освобождения, она примерно так говорила: «Вот, Иосиф, раньше была только одна семейная легенда о Достоевском, что сестра моей матери, учившаяся в Смольном, однажды, начитавшись, «Дневников писателя», заявилась к Достоевскому домой. Все как полагается: поднялась по лестнице, позвонила. Дверь открыла кухарка. Смолянка наша говорит: «Я хотела бы видеть барина». Кухарка, ответивши «сейчас я его позову», удаляется. Она стоит в темной прихожей и видит — постепенно приближается свет. Появляется держащий свечу барин. В халате, чрезвычайно угрюмый. То ли оторванный от сна, то ли от своих трудов праведных. И довольно резким голосом говорит: «Чего надобно?» Тогда она поворачивается на каблуках и стремглав бросается на улицу».

И Анна Андреевна, помнится, добавляла: «До сих пор это была единственная семейная наша легенда о знакомстве с Достоевским. Теперь же я рассказываю всем, что моя матушка ревновала моего батюшку к той же самой даме, за которой ухаживал и Достоевский».

Валерия Сергеевна Срезневская:

Правда, красавец черноморец «папа Горенко» любил пошуметь, но был так остроумен, так неожиданно весело-шутлив (а то ведь был период, который мы характеризовали периодом Schwieriger Vater («тяжелых отцов», *нем. — Сост.*) — все папы были грозами семьи, все орали на весь дом и были деспотами; таков был быт).

Аманда Хейт (Haight; 1941–1989), *английская исследовательница биографии и творчества Ахматовой:*

В элегии «Предыстория» Ахматова описывала свою мать как женщину «с прозрачными глазами / (Такой глубокой синевы, что море / Нельзя не вспомнить, поглядевши в них), / С редчайшим именем и белой ручкой, / И добротой, которую в наследств во / Я

от нее как будто получила, — / Ненужный дар моей жестокой жизни…». Инна Эразмовна была, видимо, женщиной неординарной и не слишком отдававшейся семейной жизни. Как и все женщины семьи Горенко, страдала она туберкулезом, а ее отношения с мужем не назовешь безоблачными.

Николай Степанович Гумилёв, первый муж

Валерия Сергеевна Срезневская:

С Колей Гумилёвым, тогда еще гимназистом седьмого класса, Аня познакомилась в 1903 году, в Сочельник. Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить какие-то украшения для елки, которая у нас всегда бывала в первый день Рождества. Был чудесный солнечный день. Около Гостиного Двора мы встретились с «мальчиками Гумилёвыми»: Митей, старшим — он учился в Морском кадетском корпусе, — и с братом его Колей — гимназистом Императорской Николаевской гимназии. Я с ними была раньше знакома, у нас была общая учительница музыки — Елизавета Михайловна Баженова. Она-то и привела к нам в дом своего любимца Митю и уже немного позже познакомила меня с Колей. Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, а я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!), что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным. Но, очевидно, не так отнесся Николай Степанович к этой встрече.

Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани. Он специально познакомился с Аниным старшим братом Андреем, чтобы проникнуть в их довольно замкнутый дом. Ане он не нравился; вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше 25 лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив — в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри. Он много читал, любил французских символистов, хотя не очень свободно владел французским языком, однако вполне достаточно, чтобы читать, не нуждаясь в переводе. Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, — я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности. Так, блондин, каких на севере у нас можно часто встретить.

Позже, возмужав и пройдя суровую кавалерийскую военную школу, он сделался лихим наездником, обучавшим молодых солдат, храбрым офицером (он имел два «Георгия» за храбрость), подтянулся и, благодаря своей превосходной длинноногой фигуре и широким плечам, был очень приятен и даже интересен, особенно в мундире. А улыбка и несколько насмешливый, но

милый и не дерзкий взгляд больших, пристальных, чуть косящих глаз нравились многим и многим. Говорил он чуть нараспев, нетвердо выговаривая «р» и «л», что придавало его говору совсем не уродливое своеобразие, отнюдь не похожее на косноязычие.

Мне нравилось, как он читает стихи, и мы всегда просили его об этом. <…>

В 1905 году Горенко уехали из Царского Села по семейным обстоятельствам. И этот короткий промежуток наших жизней держался только на переписке, к сожалению затерянной нами, благодаря потрясениям наших нелегких судеб.

Аня никогда не писала о любви к Гумилёву, но часто упоминала о его настойчивой привязанности, о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам. В Киеве у нее были родственные связи, кузина, вышедшая замуж за Аниного старшего брата Андрея. Она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев. И вдруг, в одно прекрасное утро, я получила извещение об их свадьбе. Меня это удивило. Вскоре приехала Аня. И сразу пришла ко мне. Как-то мельком сказала о своем браке, и мне показалось, что ничего в ней не изменилось; у нее не было совсем желания, как это часто встречается у новобрачных, поговорить о своей судьбе. Как будто это событие не может иметь значения ни для нее, ни для меня. Мы много и долго говорили на разные темы. Она читала стихи, гораздо более женские и глубокие, чем раньше. В них я не нашла образа Коли. Как и в последующей лирике, где скупо и мимолетно можно найти намеки о ее муже, в отличие от его лирики, где властно и неотступно, до самых последних дней его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы маячит образ его жены. То русалка, то колдунья, то просто женщина, «таящая злое торжество»:

> И тая в глазах злое торжество,
> Женщина в углу слушала его.

Это стихотворение стоит того, чтобы процитировать его в подтверждение моих высказываний, основанных не только на впечатлениях, но и на признаниях и фактах.

Конечно, они были слишком свободными и большими людьми, чтобы стать парой воркующих «сизых голубков». Их отношения были скорее тайным единоборством. С ее стороны — для самоутверждения как свободной от оков женщины; с его стороны — желание не поддаться никаким колдовским чарам, остаться самим собою, независимым и властным над этой вечно, увы, ускользающей от него женщиной, многообразной и не

подчиняющейся никому. Я не совсем понимаю, что подразумевают многие люди под словом «любовь». <…> У Ахматовой большая и сложная жизнь сердца, — я-то это знаю, как, вероятно, никто. Но Николай Степанович, отец ее единственного ребенка, занимает в жизни ее сердца скромное место. Странно, непонятно, может быть, и необычно, но это так.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

Гумилёв был враг всякого ridicule (смешного, *фр.* — *Сост.*). Он был недоволен, когда выяснилось (вскоре после свадьбы), что А.А. пишет стихи.

— Муж и жена пишут стихи — это смешно. У тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом… (Из рассказов А. А.)

Анна Андреевна Ахматова:

В отношение Н<иколая> С<тепановича> к моим стихам тоже надо, наконец, внести ясность, потому что я до сих пор встречаю в печати (зарубежной) неверные и нелепые сведения. Так, Страховский пишет, что Гумилёв считал мои стихи просто «времяпрепровождением жены поэта», а …[2] (в Америке же), что Г<умилёв>, женившись на мне, стал учить меня писать стихи, но скоро ученица превзошла… и т. п.

Все это сущий вздор! Стихи я писала с одиннадцати лет совершенно независимо от Н<иколая> С<тепановича>. Пока они были плохи, он, со свойственной ему неподкупностью и прямотой, говорил мне это. Затем случилось следующее: я прочла (в Брюлловском зале Русского музея) корректуру «Кипарисового ларца» (когда приезжала в Петербург в начале 1910 г.) и что-то поняла в поэзии. В сент<ябре> Н<иколай> С<тепанович> уехал на полгода в Африку, а я за это время написала то, что примерно стало моей книгой «Вечер». Я, конечно, читала эти стихи многим новым литературным знакомым. Маковский взял несколько в «Аполлон» и т. д. (см. «Аполлон», 1911 г., № 4, апрель).

Когда 25 марта Н<иколай> С<тепанович> вернулся, он спросил меня, писала ли я стихи. Я прочла ему все сделанное мною, и он по их поводу произнес те слова, от которых, по-видимому, никогда не отказался (см. его рецензию на сб<орник> «Орион»), Заодно в скобках и опять в ответ на Di Sarra и Laffke напоминаю, что я выходила замуж не за главу акмеизма, а за молодого поэта-символиста, автора книги «Жемчуга» и рецензий на стихотворные сборники («Письма о русской поэзии»),

Валерия Сергеевна Срезневская:

Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском.

Не думаю, что тогда водились чудаки отцы, катающие колясочку с сыном, — для этого были опытные няни. И Коля был как все отцы, навещал своего сына всякий раз, когда это было возможно, и, конечно, был не хуже, если не лучше, многих образцовых отцов. Разве все эти нити не могут называться любовью? Роли отцов и матерей так различны, особенно в первые годы ребенка. Понемногу и Аня освобождалась от роли матери в том понятии, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня. И она вошла в свою обычную жизнь литературной богемы. Ни у того, ни у другого не было каких-либо поводов к разлуке или разрыву отношений, но и очень тесного общения вне поэзии (да и то так различно понимаемой) тоже не было.

Корней Иванович Чуковский:

Когда Анна Андреевна была женой Гумилёва, они оба увлекались Некрасовым, которого с детства любили. Ко всем случаям своей жизни они применяли некрасовские стихи. Это стало у них любимой литературной игрой. Однажды, когда Гумилёв сидел поутру у стола и спозаранку прилежно работал, Анна Андреевна все еще лежала в постели. Он укоризненно сказал ей словами Некрасова:

Белый день занялся над столицей,
Сладко спит молодая жена.
Только труженик муж бледнолицый
Не ложится, ему не до сна.

Анна Андреевна ответила ему такой же цитатой:

…на красной подушке
Первой степени Анна лежит.

Михаил Александрович Зенкевич (1891–1973), *поэт, переводчик:*

— Простите, Анна Андреевна, нескромный вопрос. Но я уже слышал о начале вашего романа с Николаем Степановичем, и даже то, как он раз, будучи студентом Сорбонны, пытался

отравиться из-за любви к вам, значит, мне можно знать и конец. Кто первый из вас решил разойтись — вы или Николай?

— Нет, это сделала я. Когда он вернулся из Парижа во время войны, я почувствовала, что мы чужие, я объявила ему, что нам надо разойтись. Он сказал только — ты свободна, делай что хочешь, — но при этом страшно побледнел, так, что даже побелели губы. И мы разошлись…

Валерия Сергеевна Срезневская:

Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, на большом диване, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: «Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что ты хочешь». Встал и ушел.

Многого ему стоило промолвить это… ему, властно желавшему распоряжаться женщиной по своему желанию и даже по прихоти. Но все же он сказал это!

Анна Андреевна Ахматова:

Об аресте Н<иколая> С<тепановича> я узнала на похоронах Блока. «Запах тленья обморочно-сладкий» в моем стихотворении «Страх», написанном ночью 25 авг<уста 1921>, относится к тем же похоронам.

О смерти Н<иколая> С<тепановича> я узнала (прочла в газете на вокзале) 1 сентября в Ц<арском> С<еле>, где я жила (против дома Китаевой), в полубольнице, полусанатории, и была так слаба, что ни разу не пошла в парк. 15 сентября я написала «Заплаканная осень как вдова…». В это лето горели леса под Петербургом — улицы были полны пахучим желтым дымом (как в 1959). Осенью на Марсовом поле был огромный уже разоренный огород и тучи ворон. Я, приехав из Ц. С., пошла (тогда все ходили пешком) в Мраморный к Шилейко (через Марсово поле), он плакал.

Юлиан Григорьевич Оксман. *Из дневника 1962 г.:*

Анна Андреевна, как мне кажется, в последние месяцы чаще думает о Гумилёве, чем в прежние годы. Она ездила на место его расстрела и погребения…

Сергей Васильевич Шервинский:

Однажды, гуляя по берегу Москва-реки, я позволил себе сказать, что мне никогда не была близка поэзия Гумилёва. Я тут же понял, что этой темы лучше не касаться. Анна Андреевна реагировала на мое замечание бурно, почти резко. Она горячо и,

как всегда, кратко и определенно высказалась о Гумилёве как о первоклассном поэте. Больше мы этой темы не затрагивали.

Нина Антоновна Ольшевская (1908–1991), *актриса, режиссер, жена писателя В. Е. Ардова, в доме которых Ахматова часто останавливалась, приезжая в Москву:*

Я ее спросила: «Кого вы больше всех цените из поэтов вашего окружения в пору акмеизма?» — «Гумилёва». Я удивилась: «А не Мандельштама?» «Ну, это, видно, мое личное особенное дело — любить Гумилёва», — сказала с усмешкой.

Наталия Александровна Роскина:

Я, разумеется, никогда не возьмусь судить о том, кто был самой сильной любовью Ахматовой, кто сыграл в ее жизни самую большую роль. Могу высказать лишь свое собственное ощущение, связанное с моим восприятием ее личности. Мне всегда казалось, что через все свои трагические любови и браки она пронесла какое-то неиссякаемое чувство к Гумилёву. Ведь именно с ним было связано и ее материнство, и ее вступление в русскую поэзию, и ее первая слава. «Вся Россия подражала Гумилёву, — сказала она мне. — А я — нет». Рассказывала о своей размолвке с Гумилёвым: «Раз мы ссорились — как все люди ссорятся, и я сказала: «А все равно я лучше тебя стихи пишу»». И к памяти Гумилёва она относилась с ревностью, и чисто женской, и поэтической, и всяческой. Ужасно сердилась, когда читала что-то о нем, — все ей не нравилось, даже похвалы!

Владимир Казимирович Шилейко, второй муж

Сергей Васильевич Шервинский:

После расхождения с Гумилёвым и его гибели Анна Андреевна несколько лет была женою замечательного человека, Владимира Казимировича Шилейко, ученого, читавшего, как простые письма, вавилонскую клинопись. Кроме того, он писал стихи, впрочем, не очень интересные. Шли самые трудные годы, предшествовавшие нэпу. Мы с Владимиром Казимировичем встречались в Музее изящных искусств, где оба тогда работали. Голодный и холодный, болеющий чахоткой, очень высокий и очень сутулый, в своей неизменной солдатской шинели, в постоянной восточной ермолке, он влачил свое исхудавшее тело среди обломков древнейших азиатских культур. Он жил в Москве, жена его, то есть Анна Андреевна, — в Ленинграде (тогда еще Петрограде).

Слыхал, что письма, которыми они обменивались, — драгоценные образцы эпохи и личного стиля.

Павел Николаевич Лукницкий:

[О браке с Шилейко.] «К нему я сама пошла… Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет…» Пошла, как идут в монастырь, зная, что потеряет свободу, волю, что будет очень тяжело…

Анатолий Генрихович Найман:

О браке с Шилейкой она говорила как о мрачном недоразумении, однако без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью к бывшему мужу, тоном, нисколько не похожим на гнев и отчаяние стихов, ему адресованных: «Это все Коля и Лозинский: «Египтянин! египтянин!..» — в два голоса. Ну я и согласилась». Владимир Казимирович Шилейко был замечательный ассириолог и переводчик древневосточных поэтических текстов. Египетские тексты он начал расшифровывать еще четырнадцатилетним мальчиком. Сожженная драма Ахматовой «Энума элиш», представление о которой дают воссозданные ею заново в конце жизни фрагменты «Пролога», названа так по первым словам («Там вверху») древневавилонской поэмы о сотворении мира, переводившейся Шилейкой. От него же, мне казалось, и домашнее прозвище Ахматовой Акума, хотя впоследствии я читал, что так называл ее

Пунин — именем японского злого духа. Шилейко был тонким лирическим поэтом, публиковал стихи в «Гиперборее», «Аполлоне», альманахе «Тринадцать поэтов».

Юлиан Григорьевич Оксман:

Вспоминала, как безумно ревновал ее В. К. Шилейко. Из-за этой дикой ревности она избегала встреч с Гумилёвым в 1919–1921 гг. Видела его редко, больше на людях. Сейчас жалеет об этом.

Корней Иванович Чуковский:

19 января 1920. Вчера — у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате, — за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково — иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами — á livre ouvert — целую балладу, — диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм».

Анатолий Генрихович Найман:

Посмеиваясь, она рассказывала такую вещь об этом замужестве. В те времена, чтобы зарегистрировать брак, супругам достаточно было заявить о нем в домоуправлении: он считался действительным после того, как управдом делал запись в соответствующей книге. Шилейко сказал, что возьмет это на себя, и вскоре подтвердил, что все в порядке, сегодня запись сделана. «Но когда после нашего развода некто, по моей просьбе, отправился в контору уведомить управдома о расторжении брака, они не обнаружили записи ни под тем числом, которое я отчетливо помнила, ни под ближайшими, и вообще нигде…»

Павел Николаевич Лукницкий:

[О жизни Ахматовой с Шилейко.] Они выходили на улицу на час, гуляли, потом возвращались — и до четырех часов ночи работали.

Шилейко переводил клинопись, диктуя АА прямо «с листа», — даже стихи (переводы) АА писала под его диктовку. По шесть часов подряд записывала. Во «Всемирной литературе» должна быть целая кипа переводов ассирийского эпоса, переписанных рукой АА… И это при отвращении АА к процессу писания!..

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Ахматова вежливо расспрашивала меня о моих занятиях. Когда я начал ей что-то объяснять о хеттской клинописи, она прервала: «Что вы мне говорите о хеттских табличках? Я же с ними десять лет прожила». И заговорила о Шилейко. Я видел посвящения ему на ее стихах, но не знал, что она была за ним замужем. Рассказав об этом, она назвала его гениальным, вспомнила, как еще юношей он переписывался с Тюро-Данженом. В ее рассказе слышалось только восхищение.

Анатолий Генрихович Найман:

«Вот он был такой, — кивнула она головою. — Мог поглядеть на меня, после того как мы позавтракали яичницей, и произнести: «Аня, вам не идет есть цветное». Кажется, он же говорил гостям: «Аня поразительно умеет совмещать неприятное с бесполезным»».

Игнатий Михайлович Ивановский:

Домашнее прозвище Анны Андреевны было Акума, что по-японски означает ни больше ни меньше как уличную женщину. Так прозвал ее Шилейко, и Анна Андреевна долго не знала, что значит Акума. Думала — нечистая сила.

Томас Венцлова (р. 1937), *поэт:*

Наше знакомство и началось с того, что Анна Андреевна сказала: «Вы второй литовец в моей жизни». Первым литовцем был Владимир Казимирович Шилейко, фамилия его происходит от слова «шилас», что означает «бор» (в русском переводе это был бы Боровой или что-то в этом роде). Ахматова с гордостью говорила о его высокой репутации востоковеда, но тут же сказала и то, что она повторяла многим и что, по-моему, зафиксировано мемуаристами: «Как муж он был катастрофой в любом смысле».

Николай Николаевич Пунин, третий муж

Всеволод Николаевич Петров:

Николай Николаевич Пунин был похож на портрет Тютчева. Это сходство замечали окружающие. А. А. Ахматова рассказывала, что, когда, еще в двадцатых годах, она приехала в Москву с Пуниным и они вместе появились в каком-то литературном доме, поэт Н. Н. Асеев первый заметил и эффектно возвестил хозяевам их приход: «Ахматова и с ней молодой Тютчев!»

С годами это сходство становилось все более очевидным: большой покатый лоб, нервное лицо, редкие, всегда чуть всклокоченные волосы, слегка обрюзгшие щеки, очки.

Сходство, я думаю, не ограничивалось одной лишь внешностью; за ним угадывалось какое-то духовное родство.

Оба — великий поэт и замечательный критик — были романтиками.

Оба более всего на свете любили искусство, но вместе с тем стремились быть, в какой-то степени, политическими мыслителями.

…Самой характерной чертой Пунина я назвал бы постоянное и сильное душевное напряжение. Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа. Он всегда казался взволнованным. Напряжение находило выход в нервном тике, который часто передергивал его лицо.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина:

В августе 1927 года я как-то проходила с художником А. А. Осмёркиным по главной аллее ленинградского Летнего сада. <…>

Мы повернули в боковую аллею, и я увидела вдали две фигуры: женщину и мужчину. Они сразу приковали к себе мое внимание. Согласная ритмичность их походки, стройность, вернее, статность этих фигур поразили меня. В мужчине я вскоре угадала Н. Н. Пунина, искусствоведа, которого я видела еще в 1920 году в доме художника Ю. П. Анненкова, мужа моей двоюродной сестры. А в этот мой приезд я узнала, что имя Пунина связывают с именем Ахматовой.

Да, это они теперь шли по аллее Летнего сада. Он в светлом костюме, она в легком платье. Мне бросилась в глаза знакомая по портретам челка. Я никогда еще не видала живую Ахматову, но знала ее изображения — и живописные портреты, и зарисовки, и фотографии. И всегда я читала на ее лице выражение какой-то

отчужденности и тщательно скрываемого богатства внутреннего мира. Но теперь к нам приближалась женщина, улыбка которой, сиянье глаз были полны радостью бытия. «Да, я счастлива, — читалось на ее лице, — счастлива вполне». Пунин был тоже в прекрасном настроении, но в его повадке сквозило самодовольство. Весь его вид, казалось, говорил: «Это я сумел сделать ее счастливой».

Всеволод Николаевич Петров:

Они были похожи и не похожи друг на друга.

Тогда, в начале тридцатых годов, они производили впечатление очень нежной влюбленной пары, почти как молодожены, хотя были вместе уже лет десять, если не больше. Пожалуй, Ахматова казалась более влюбленной, чем Пунин.

Их воззрения и вкусы совпадали если не во всем, то, во всяком случае, в главном; я никогда не слышал споров между ними. Но натуры у них были разные, может быть, даже противоположные.

Выше я назвал Пунина романтиком… Что касается Ахматовой, то в ней не было романтизма; в ней необыкновенно отчетливо выступал дух высокой классики, в пушкинских и гётевских масштабах. Я думаю, что самым сильным и самым характерным качеством Анны Андреевны можно назвать безошибочное чувство формы; оно проявлялось у нее во всем, начиная с творчества и кончая манерой говорить и держаться.

Нина Антоновна Ольшевская:

Пунин очень любил Анну Андреевну. Я не говорю уже об его письме из Самарканда, которым Анна Андреевна гордилась и многим показывала. Но куда они дели его записку из лагеря? Я сама ее видела, Анна Андреевна мне показывала. На клочке какой-то оберточной бумаги. Он писал, что она была его главной любовью, помню хорошо фразу: «Мы с Вами одинаково думали обо всем».

Он был двойственный, Пунин. То элегантный, в черном костюме, с галстуком (иногда «бабочкой»); таким его знали студенты на лекциях. Одна из слушательниц говорила мне, что более интересных и остроумных лекторов она не слышала. Дома, если он был в форме, был так же обаятелен, любезничал. В другой раз сидит в халате, в тапочках, раскладывает пасьянс, еле кивает и не разговаривает. Как-то я сказала А. Г. Габричевскому: «Вы все знаете о литературе, об искусстве…» — а он: «Нет, это Пунин все знает».

Эмма Григорьевна Герштейн:

Пунин был блестящий человек, невероятно экспансивный в домашней жизни («сумасшедший завхоз» — прозвал его Николай Иванович (Харджиев. — *Сост.*)), с порывистой быстрой речью и стремительными движениями (повадка, унаследованная его дочерью и даже внучкой). Его лекции по истории живописи, очевидно, были очень содержательны и увлекательны — до сих пор встречаются бывшие его слушатели, с восторгом вспоминающие эти выступления. При подготовке к ним пригодилось знание языков Анной Андреевной. Она переводила Пунину большие куски из специальной литературы, которую и сама очень любила читать…

В тридцатых годах все было устроено так, чтобы навсегда забыть и литературную славу Ахматовой, и те времена, когда одна ее внешность служила моделью для элегантных женщин артистической среды. Николай Николаевич при малейшем намеке на величие Ахматовой сбивал тон нарочито будничными фразами: «Анечка, почистите селедку» (тогдашний любимый рассказ Надежды Яковлевны Мандельштам). Один эпизод мне с горечью описала сама Анна Ахматова. В 1936–1937 гг. она специально пригласила Л. Я. Гинзбург и Б. Я. Бухштаба послушать ее новые стихи. Когда они пришли и Ахматова уже начала читать, в комнату влетел Николай Николаевич с криком: «Анна Андреевна, вы — поэт местного царскосельского значения». Если у Пунина это была хорошо продуманная поза (надо полагать, он прекрасно понимал значение Ахматовой), то у его бывшей жены и дочери-подростка пренебрежение к литературному имени Анны Ахматовой было вполне искренним.

Когда в Ленинград приехала из Америки Елена Карловна Дюбуше, она позвонила Ахматовой, но не застала ее дома. Она просила передать Анне Андреевне, что ищет встречи с нею. Никто из Пуниных не сказал об этом Ахматовой ни слова. Так она и не повидалась с героиней известного сборника стихов Н. Гумилёва «К синей звезде». Анна Андреевна рассказывала об этом несостоявшемся свидании почти со слезами на глазах.

Сергей Васильевич Шервинский:

Однажды она сказала, разумеется без всякой аффектации, что дома на Фонтанке она принуждена проводить все время «за примусом», причем дала понять, что эти обязанности хозяйки без прислуги ей приходится исполнять уже давно и придется, наверное, еще долго. Между тем ее обременяли и близкие ее тогдашнего мужа, Николая Николаевича Пунина.

О нем мне вспоминается слишком немногое. В одно из моих

ранних, тогда еще робких посещений квартиры на Фонтанке мы сидели вечером за столом с Анной Андреевной. Она разливала чай. Вошел довольно высокий черноволосый мужчина с бородкой, в руке у него была раскрытая книга. Нас познакомили. Пунин сел по другую сторону стола, наискось от меня, и тотчас погрузился в прерванное чтение. Читал, не поднимая лица от книги и не обращая ни малейшего внимания ни на присутствие Анны Андреевны, ни на ее гостя. В этой изолированности за домашним чайным столом была доля демонстративности, он словно хотел показать, что ее жизнь — вовсе не его жизнь, что ее гость не имеет к нему никакого отношения. Мы с Анной Андреевной проговорили еще с добрый час, а Николай Николаевич так и не изменил своей позы, потом вышел не простившись. В тот раз, когда Анна Андреевна позволила себе сказать о примусе, она сделала такое признание не без легкой иронии:

— Когда я напишу новые стихи и сообщу об этом Николаю Николаевичу, он обычно говорит: «Молодец, молодец!..»

Это выражение с невеселым обертоном потом стало ходячим в нашей семье.

Я не имею никаких оснований судить о жизни Анны Андреевны с Пуниным. Но у меня осталось впечатление, собиравшееся больше из мелочей, оттенков и чужих слов, что брак с Пуниным был ее третьим «матримониальным несчастием».

Лидия Корнеевна Чуковская:

*19 августа 1940. …*Я не перебивала, молчала, и она, погасив папиросу, заговорила снова:

— Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца, не правда ли? Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо, ведь я тринадцать лет не писала стихов, вы подумайте: тринадцать лет! Я пыталась уйти в 30-м году. Ср.<езневский?> обещал мне комнату. Но Николай Николаевич пошел к нему, сказал, что для него мой уход — вопрос жизни и смерти… Ср. поверил, испугался и не дал комнаты. Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб… во время этих своих… флиртов. Он должен все время показывать, как ему с вами скучно. Сидит, раскладывает пасьянс и каждую минуту повторяет: «Боже, как скучно… Ах, какая скука…» Чувствуй, мол, что душа его рвется куда-то… Я целый год раскручивала все назад, а он ничего и не видел… И знаете, как это все было, как я ушла? Я сказала Анне Евгеньевне при нем: «Давайте обменяемся комнатами». Ее это очень устраивало, и мы сейчас же начали перетаскивать вещички. Николай Николаевич молчал, потом, когда мы с ним оказались на

минуту одни, произнес: «Вы бы еще хоть годик со мной побыли»

Она засмеялась, и я тоже. Смеялась она легко и беззлобно. Как будто рассказывала не о нем, не о себе.

— Потом произнес: «Будет он помнить про царскую дочь» — и вышел из комнаты. И это было все. Согласитесь, что и на этом ничего не построишь… С тех пор я о нем ни разу не вспомнила. Мы, встречаясь, разговариваем о газете, о погоде, о спичках, но *его,* его самого я ни разу не вспомнила.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина:

В одной из наших утренних бесед, когда у меня выпадали свободные часы, она заметила, что завершение каких-то этапов жизни бывает очень тяжелым. «Вот, когда мы окончательно расстались с Пуниным и я уходила навсегда из его комнаты, Николай Николаевич сказал мне вслед: «Едет царевич задумчиво прочь, / Будет он помнить про царскую дочь»». Она сказала это с усмешкой, усмешкой презрительной и горькой.

Анатолий Генрихович Найман:

О Пунине разговор заходил считанные разы. Насколько легко она говорила о Шилейке, насколько охотно о Гумилёве, настолько старательно обходила Пунина. Сказала однажды, в послесловии к беседе на тему о разводе («институт развода — лучшее, что изобретено человечеством», или «цивилизацией»), что, «кажется, прожила с Пуниным на несколько лет дольше, чем было необходимо».

Михаил Васильевич Толмачёв:

Выполняя настойчивые просьбы моих домашних… я предложил Анне Андреевне познакомить ее с искусствоведом В. М. Василенко, репрессированным по политическим обвинениям в 1947–1956 гг. В лагере в Абези на Северном Урале Василенко находился вместе с Н. Н. Пуниным и присутствовал, как он говорил, при последних минутах Николая Николаевича. Передававшиеся Василенко в качестве Пунинских, а также его собственные тогдашние высказывания не свидетельствовали об особенном пиетете перед личностью и творчеством Ахматовой. Анна Андреевна сразу же согласилась на встречу, и она вскоре состоялась. По словам Василенко, на ней присутствовала также внучка Н. Н. Пунина А. Г. Каминская. Когда Василенко рассказал о том, что у скончавшихся заключенных удаляли сердце — во избежание симуляции смерти и дальнейшего побега, А. Г. Каминская заплакала и хотела выйти. Анна Андреевна удержала ее за руку и сказала: «Это надо знать».

Сын Лев Николаевич Гумилёв. Трагедия отчуждения

Лидия Корнеевна Чуковская:

2 *августа 1940.* …Уже несколько раз, в другие мои посещения, мне слышалось — когда Анна Андреевна провожала меня через кухню по коридорчику или в минуты длинных ее молчаний среди разговора — мне слышалось Лёвино имя, произносимое ею будто на глубине, будто со дна морского добытое… «Лёва! Лёва!» — повторяла она одним дыханием. Даже не звук — тень звука, стона или зова… Сегодня мне довелось услышать этот стон несколько раз.

Михаил Викторович Ардов:

Лев Николаевич с детства обладал сильным сходством со своим родителем. Это видно на широко известной фотографии, об этом упоминает в своих воспоминаниях В. Ф. Ходасевич… Но в зрелые годы Гумилёв стал похож на мать. Этому способствовало некое приключение на фронте. Было это, если я не ошибаюсь в Польше. Лев Николаевич попал под минометный обстрел. Одна из мин угодила в какой-то деревянный настил, взрывной волной оторвало доску, и она угодила Гумилёву в самую переносицу. В результате этой травмы нос у него стал с горбинкой — точь-в-точь, как у Ахматовой.

Эмма Григорьевна Герштейн:

После многих перипетий он вернулся в Ленинград, где его ждала на Фонтанке отдельная комната рядом с материнской.

Любовь и согласие между ними, изредка нарушаемые неизбежными бытовыми стычками, длились до его последнего ареста в 1949 году. Новая семилетняя разлука породила множество недоразумений между ними. К несчастью, они завершились полной ссорой, омрачившей последние пять лет жизни Ахматовой.

Наталия Александровна Роскина:

Оживление наступило в доме Ахматовой — ненадолго, — когда вернулся с войны, из Берлина, ее сын Лев Николаевич Гумилёв. Однажды Анна Андреевна открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: «Вот, сын подарил. Из Германии привез». Ведь, в сущности, ей всегда так хотелось простых женских радостей. Очень была она в тот день веселая.

Ирина Николаевна Пунина:

Шло время. Лёва работал в Музее этнографии народов СССР. Летом уезжал в экспедиции. Писал свою первую диссертацию. В конце 1948 года он ее защитил. По этому случаю в моей комнате был устроен праздничный ужин. Птица испекла пирог с капустой. Я готовила. Лёва принес водку и закуски. Был короткий период некоторого равновесия и спокойствия для А.А.

Наступил 1949 год. Папу арестовали 26 августа днем. Во время обыска и ареста дома были только папа и Акума.

Стихотворение «Колыбельная» она пометила этой датой

Я над этой колыбелью
Наклонилась черной елью.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай…

Я не вижу сокола
Ни вдали, ни около.
Бай, бай, бай, бай!
Ай, ай, ай, ай.

26 августа 1949 (днем). Фонтанный Дом

Лёву арестовали 6 ноября, когда он зашел домой в обеденный перерыв. Обыск закончили скоро. Акума лежала в беспамятстве. Я помогла Лёве собрать вещи, достала его полушубок. Он попрощался с мамой, вышел на кухню попрощаться со мной, его увели. Старший из сотрудников, уходя, сказал мне:

— Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, поберегите ее.

Я остолбенела от такой заботы. Входная дверь захлопнулась. Я выпустила Аню, которой не велела высовываться из моей комнаты все время обыска. Мы вместе с ней пошли и сели около Акуминой постели. Молчали…

Следующие дни Анна Андреевна опять все жгла.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Вероятно, я удивлю сэра Исайю Берлина, если сообщу, что Лёву очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке. В первые дни после возвращения, когда все в его сознании ходило ходуном, Лёва не мог связно рассказывать о всем перенесенном за эти годы. Тем больше веры вызывали слова, вырывающиеся у него бесконтрольно. Так, например, его мучило,

что он отозвался пренебрежительно об Анне Андреевне в связи с вопросом о злополучном визите: «Мама стала жертвой своего тщеславия». В другую минуту он вспоминал с надрывом, что должен был отвечать за пепел сожженных бумаг, лежащий в пепельницах. «Что она жгла?» — спрашивали его. А это были всем известные сожженные записочки, на которых Анна Андреевна записывала зловещие новости, справедливо боясь подслушивающего аппарата, не замечая, как выдают ее эти сожженные бумажки, найденные очередным стукачом после ухода от Ахматовой кого-нибудь из ее близких друзей. Однажды Лев невольно вспомнил, как следователь, схватив его за волосы, бил головой о крепкую стену Лефортовской тюрьмы, требуя его признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии…

Наталия Александровна Роскина:

Об этом своем горе Анна Андреевна никогда со мной не говорила. Одно только: я приехала в Ленинград, пришла к ней, ничего не зная, спросила запросто: «А где Лёва?» Она ответила: «Лёва арестован». Звук этих слов — полувскрик, полустон, полушепот — до сих пор стоит у меня в ушах.

Это был третий арест его: первый раз — в начале тридцатых годов, второй раз — в конце тридцатых, с приговором к расстрелу… Такова была судьба Анны Андреевны, каждое горе приходило к ней не один раз, а повторяясь дважды, трижды…

Эмма Григорьевна Герштейн:

Но что же могла написать Анна Андреевна в лагерь о своей жизни? Что после прощания с Лёвой и благословения его она потеряла сознание? Что она очнулась от слов гэбэшников: «А теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск»? Что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате? И когда в один из этих дней она спросила десятилетнюю Аню Каминскую: «Отчего ты вчера не позвала меня к телефону?», то услышала в ответ: «Ну, Акума, я думала, ты без сознания…»

Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива, который оставался в беспорядке под рукой? А там были не архивные документы, а живые рукописи ее ненапечатанных стихов! Она переживала это уничтожение как конец глубинного смысла всей своей жизни. Но и этого мало — она довершила свой порыв самоубийственным актом: написала верноподданнические стихи — вплоть до восхваления Сталина ко дню его рождения 21 декабря 1949 г. Весь следующий год журнал «Огонек» печатал за ее подписью стихотворный цикл «Слава

миру», который всю оставшуюся жизнь жег Анну Андреевну как незаживающая рана. После этого выступления у нее навсегда появилась фальшивая интонация в разговоре на людях.

«…Я пожертвовала для него мировой славой!!» — выкрикнула она в пароксизме отчаяния и обиды на нескончаемые попреки вернувшегося через семь лет (!) сына. Она мучилась своим невольным обманом неведомых читателей, обволакивавших всегда ее поэзию тайным пониманием. В 1922 г. она имела право сказать:

Я — голос ваш, жар вашего дыханья,
Я — отраженье вашего лица.

И была верна этому единству. Пока ее не скосила беда, она надеялась, что на «том берегу» «темнеет небесный простор», где она «не глохла» бы «от зычных проклятий». Но и это «блаженное где-то» ее обмануло. Когда железный занавес немного раздвинулся, оттуда послышался шепоток мещанской сплетни и, что еще хуже, — повсеместные разговоры «иноземцев» об увядании ее таланта:

И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

Она отреклась от нравственной чистоты своей поэзии ради спасения сына, а получила одни плевки с разных сторон и от того же сына. Когда, негодуя, он в который раз приводил ей в пример других матерей, она повторила, не выдержав: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я!» И получила в ответ катанье по полу, крики и лагерную лексику. Это было при мне.

Жертва Ахматовой оказалась напрасной. «Грехопадение», насколько мне известно, никто ей не заказывал и ничего не обещал. Но она помнила, что ей ставили в вину ее молчание после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» и исключили из Союза писателей. Лёву, как мы видим, не выпустили, а надломленной Ахматовой предоставили право говорить с кем попало непроницаемым тоном и переводить на русский язык стихи своих иноязычных подражательниц. Если кто-нибудь думает, что это не пытка, он ничего не знает о радостях и страданиях творческой личности.

В первый год (1950) Анна Андреевна только ездила раз в

месяц в Москву, чтобы передавать дозволенную сумму в Лефортовскую тюрьму и получать расписку арестанта, то есть убедиться, что он жив и находится еще здесь…

Что же можно было сообщать в лагерь при такой переписке? Что Арктический институт стал выживать из Фонтанного Дома Анну Андреевну и Иру Пунину с ее семейством? Институт терпел их «проживанье» в своем ведомственном доме до ареста Николая Николаевича Пунина в августе 1949 г. и Левы — в ноябре. Но теперь, когда обе женщины остались такими беззащитными и уязвимыми, их буквально преследовали. Они жались друг к другу. В конце концов в начале 1952 г. Ирина позвонила в Москву к Анне Андреевне: «Ты как хочешь, а я больше не могу. Я беру квартиру на Красной Конницы». Анна Андреевна была поставлена перед свершившимся фактом. Вообще-то она не хотела расставаться с Ирой и Аней, но в этой новой квартире не было комнаты для Лёвы. На Фонтанке после войны у Ахматовой были две комнаты, в одной жил Лёва. Теперь она сразу сжалась, подумав о его устройстве по возвращении, а на это она не теряла надежды, хотя он был осужден на десять лет. Могла ли она, уже перенесшая тяжелый инфаркт, остаться одна на съеденье грубых администраторов института? Борьба была безнадежной, и она дала свое согласие на переезд.

Когда вышло разрешенье писать чаще и более длинные письма, она уже не посвящала Лёву в тяжкие подробности своего существования. Впрочем, о чем бы она ему ни писала, он все равно отвечал брюзжанием и обидами. Они заглушали его ужас от непосильных ударов судьбы. <…>

Образ Ахматовой порождал множество сплетен. Думаю, что не без помощи КГБ. Лёве было невдомек, что его одинокая мать, живя годами в чужих семьях, не может есть, пить, болеть, принимать нужных людей и друзей, не участвуя в общих расходах своих гостеприимных хозяев. По этому поводу я вынуждена упомянуть об одном раздутом эпизоде, продолжающем до сих пор бросать незаслуженную тень на имя Ахматовой. Речь идет об автомобиле «Москвич», подаренном Анной Андреевной Алеше Баталову, старшему сыну Нины Антоновны, тогда еще не прославленному киноактеру, а скромному солдату, отбывающему воинскую повинность в Москве. Со своей молодой женой он занимал на Ордынке семиметровую комнату, из которой их выселяли, когда Ахматова приезжала в Москву. Она живала в их комнате не менее четырех месяцев подряд, а когда заболевала — и дольше. Между тем в 1953 году она заработала большие деньги за перевод драмы Виктора Гюго «Марион Делорм», которая печаталась в пятнадцатитомном юбилейном издании,

оплачиваемом по повышенным ставкам. Естественно, что, став такой, по нашим масштабам, богатой, она делала посильные подарки окружавшим ее друзьям. А Баталову — особенный. Он его заслужил. Маленький «Москвич», стоивший тогда девять тысяч, доставил Алеше много радости, а Анне Андреевне нравственное удовлетворение.

Анна Андреевна Ахматова. *Письмо К. Е. Ворошилову. 8 февраля 1954:*

Глубокоуважаемый Климент Ефремович!

Умоляю Вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере (Омск, п/я 125) и стал там инвалидом.

Лев Николаевич Гумилёв (1912 г. р.) был арестован в Ленинграде 6 ноября 1949 г. органами МГБ и приговорен Особым Совещанием к 10 годам заключения в ИТЛ.

Ни одно из предъявленных ему на следствии обвинений не подтвердилось — он писал мне об этом. Однако Особое Совещание нашло возможным осудить его.

Сын мой отбывает срок наказания вторично. В марте 1938 года, когда он был студентом 4-го курса исторического факультета Ленинградского университета, он был арестован органами МВД и осужден Особым Совещанием на 5 лет. Этот срок наказания он отбыл в Норильске. По окончании срока он работал в качестве вольнонаемного в Туруханске. В 1944 году, после его настойчивых просьб, он был отпущен на фронт добровольцем. Он служил в рядах Советской Армии солдатом и участвовал в штурме Берлина (имел медаль «За взятие Берлина»). После Победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 г. служил в Этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника.

О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей — директора Государственного Эрмитажа М. И. Артамонова и профессора Н. В. Кюнера.

Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей Родины, занимаясь любимым делом.

Дорогой Климент Ефремович! Помогите нам! До самого последнего времени я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать — я перевела для юбилейного издания сочинений Виктора Гюго драму «Марьон Делорм», и две поэмы великого китайского поэта Цюй-юаня. Но чувствую, что силы меня покидают: мне больше 60-ти лет, я перенесла тяжелый

инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы, — это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины.

Лидия Корнеевна Чуковская:

1 *ноября 1955.* …У нее роковые дни. Решается Лёвино дело.

…Она какая-то оглушенная. Не слышащая чужих речей. Тиха и напряжена. Да и какие тут речи! Не знаешь, о чем и говорить с ней, каждое слово кажется неуместным. Вслушивается во что-то свое с таким напряжением, будто, сидя в кресле у *меня* в комнате, может каждую секунду получить откуда-то долгожданную весть. Даже озирается по сторонам.

Наталия Александровна Роскина:

В 1956 году вернулся из лагеря Л. Н. Гумилёв, чуть ли не позже всех. Анна Андреевна мучительно хлопотала о нем. Все вокруг возвращались, а ее хлопоты оставались бесплодными, и мне кажется, она была на пределе всех своих сил, когда Лёву наконец освободили.

Лидия Корнеевна Чуковская:

15 мая 1956. …Мне хочется написать большими буквами:

ВЕРНУЛСЯ ЛЁВА

Анна Андреевна приехала 14-го. А 15-го, ничего не зная о ней, зашел к Ардовым, по дороге в Ленинград, освобожденный Лёва.

Любо видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос.

Мы вошли в маленькую комнату. Там — клубы папиросного дыма.

— Накурил Лёвка! — сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, — сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой.

Наталия Александровна Роскина:

Лев Николаевич вышел из лагеря с последней волной «реабилитации». Анна Андреевна стала о себе говорить: «Я хрущевка», «Я из партии Хрущева». Долго она продолжала это твердить, настаивая, что Хрущеву можно простить многое за то, что он выпустил из тюрьмы невинных людей.

Лидия Корнеевна Чуковская:

26 марта 1958. …На второй день, когда мы были с Анной Андреевной одни, вдруг отворилась дверь и вошел человек с резкими морщинами у глаз и на лбу, с очень определенно-очерченным и в то же время дряблым лицом.

— Вы незнакомы? — спросила меня Анна Андреевна.

— Нет.

— Это мой сын. Лёва!

Я не узнала его от неожиданности, хотя мне и говорили, что он в Москве.

Ощущение огромности и малости вместе. Так бывает в любви. Гадания по стихам; странные совпадения в датах; сердце, обрывающееся в колени от каждого телефонного звонка и почтальонного стука; дрожащие листки письма; а потом окажется — это всего лишь *человек:* не больше и не меньше; человек — голова, руки, ноги. Такая огромная и такая обычнейшая из обычных малость: человек. Вот он передо мною; слово из четырех букв: Лёва. Не мои — все *ее* бессонницы, сны, невстречи и встречи, окошечки над заплеванным полом, красное сукно на столах, заявления, повестки, посылки, волосок, вложенный в тетрадку стихов, и стихи в огне… Два десятилетия ее жизни. Материализованное время: десятилетия, и материализованное пространство: тысячи километров. И это, оказывается, просто человек — и он здесь, в этой комнате. Его можно тронуть рукой или назвать по имени.

«Мама». «Сынуля. Детонька».

Стены этой комнаты пропитаны мыслями о нем, стихами — ему. И снег, и деревья, и заря за окошком. И рубцы от инфарктов на мышце ее сердца

В последний раз я видела Лёву, если не ошибаюсь, в <19>32 году, когда Люша была совсем маленькая и у нас на Кирочной гостил Николай Иванович, друживший с Цезарем. Жил он у нас, а целые дни пропадал у неведомой мне тогда Анны Андреевны. Однажды он пришел к нам оттуда вместе с Лёвой. Это был юноша лет 17–19, некрасивый, неловкий, застенчивый, взглядом сильно напоминавший отца, одетый, кажется, в ватник, что даже и по тем временам казалось уже странным. А раньше — это был Лёвушка-Гумилёвушка, давным-давно, еще в моем детстве, мальчик с золотыми волосами, кудрявый, его приводил к нам отец, и он у нас в столовой сам с собой играл в индейцев, прыгая с подоконника на диван.

Сейчас сходство с отцом совсем потерялось, а чем-то — не знаю чем — верхней частью головы, лбом, висками похож он на Анну Андреевну. Говорит картаво, грассируя. Одет как все, но

чем-то резко отличается от всех. Чем — не знаю. Впрочем, был он в комнате у Анны Андреевны при мне не более минуты. Взял какие-то книги и понес их в библиотеку, сказав, что вернется к обеду.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Он вернулся в 1956 году до такой степени ощетинившийся против нее, что нельзя было вообразить, как они будут жить вместе. Оба были больны, обоим надо было лечиться, а Лёве не терпелось строить себе новую свободную жизнь. Кончилось тем, что он жил один, на отлете. Его приходы вносили больше напряжения в эту странную «семью». К сожалению, окружающие не старались смягчить это положение, напротив, только усиливали назревающий полный раздор. <…>

Постепенно Лёва отходил от политической стороны своей судьбы и переводил свои отношения с матерью в бытовой психологический план, при этом очень банальный. Помню, как редко плачущая Анна Андреевна прослезилась, жестоко уязвленная моим неосторожным рассказом. Речь шла о его стремительном ухаживании за одной из приятельниц Анны Андреевны, которой он жаловался: «Мама не любила папу, и ее нелюбовь перешла на меня». «Он торгует нами!» — вскричала в слезах пораженная Ахматова. Да, конечно, узнать из «достоверного источника» об отношениях знаменитых поэтов Ахматовой и Гумилёва было жгуче интересно и повышало шансы их влюбленного сына на внимание дамы. Потому-то она и рассказывала мне об этих беседах.

Анну Андреевну угнетало это сознательное снижение масштаба ее общей судьбы с сыном. Ее поражал появившийся у него крайний эгоцентризм. «Он провалился в себя», — замечала она, или: «Ничего, ничего не осталось, одна передоновщина». Она убежденно говорила, что «он таким не был, это мне его таким сделали!».

Лидия Корнеевна Чуковская:

4 января 1962. Вернувшись, я отправилась с докладом к Нине Антоновне, и она рассказала мне горькие вещи. Я, конечно, давно уже чувствовала, что между Лёвой и Анной Андреевной неладно, — однако чувствовать или услыхать — большая разница. То, что сказано было мне в больнице Анной Андреевной, теперь вполне подтвердила Нина. Лёва и в самом деле верит, будто он пробыл в лагере так долго из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевны.

Я — многолетняя свидетельница ее упорных, неотступных

хлопот, ее борьбы за него. Больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, ходатайств через посредство влиятельных лиц. Всю свою жизнь она подчинила Лёвиной каторге, всё, даже на такое унижение пошла, как стихи в честь Сталина, как ответ английским студентам. И от драгоценнейшей для себя встречи отказалась, боясь повредить ему. И сотни строк перевела, чтобы заработать на посылки ему, сотни строк переводов, истребляющих собственные стихи.

А Лёва, воротившись, ее же и винит!.. Но, подумала я, искалечен он не только лагерем: и юностью, и детством. Между родителями — разлад. Отец расстрелян. Нищета. Отчим. Он — обожаемый внук, единственный и любимый сын, но оба родителя вечно были заняты более своею междоусобицей, чем им; мать — «…измученная славой, / Любовью, жизнью, клеветой», — не это ли давнее, болезненное детское чувство своей непервостепенности он теперь вымещает на ней?

Затравлен он, одинокий сын всемирно знаменитых родителей, но бедная, бедная, бедная Анна Андреевна… По словам Нины Антоновны, Ира и Лёва ненавидят друг друга. Тоже хорошо! Вот откуда инфаркты. Вот отчего Анна Андреевна постоянно стремится в Москву. Никакое постановление ЦК не властно с такой непоправимостью перегрызать сердечную мышцу, как грызня между близкими. Нина Антоновна пыталась урезонить Лёву (в Ленинграде, без ведома Анны Андреевны, говорила с ним), но тщетно. Он заявил: «Ноги моей не будет у матери в доме». Ну хорошо, в доме. А в больнице? Да и есть ли у его матери дом?

Где *ее* дом и где *его* рассудок?

Михаил Викторович Ардов:

В самые последние годы жизни Ахматовой у нее с сыном прекратились всякие отношения. В течение нескольких лет они не виделись вовсе. У них были взаимные претензии, и каждый из них был в свою меру прав. Однако же Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда в последнем августе я гостила у Анны Андреевны в Комарове, она мне сказала: «Я бы хотела помириться с Лёвой». Я ответила, что, вероятно, и он этого хочет, но боится чрезмерного волнения и для нее и для себя при объяснении. «Да не надо объясняться, — живо возразила Анна Андреевна. — Пришел бы и сказал: «Мама, пришей мне пуговицу»».

Михаил Викторович Ардов:

В марте шестьдесят шестого состоялся наш с ним единственный разговор об его отношениях с матерью, о причинах ссоры с ней. Было это на девятый день после смерти Анны Андреевны, мы поехали к нему домой после панихиды в Гатчинской церкви. Он мне сказал такую фразу:

— Я потерял свою мать в четвертый раз.

И далее он перечислил: первый — какое-то отчуждение в 1949 году, второй — в пятьдесят шестом, сразу после освобождения, третий — последняя ссора, когда они перестали встречаться.

На Парнасе

Данте

Галина Лонгиновна Козловская:

Данте она любила особенно сильно — он был мерилом глубины и высоты. <…>

Я не понимала слов, когда она читала Данте, но меня завораживала музыка слов и ее низкий чарующий голос. Я глядела, как чудесно поднимается ее верхняя губка и как ее удивительная рука, маленькая и изящная, иногда отмечает в воздухе ритмы терцин.

Сергей Васильевич Шервинский:

Данте, рядом с Пушкиным, был для Анны Андреевны и учителем, и любимым поэтом, и чистейшим отдыхом души. Можно представить себе все ее волнение, когда она получила предложение выступить на торжественном юбилейном заседании в Большом театре. Это было и отечественное признание, и резонанс на все культурные страны. За несколько дней до заседания Анна Андреевна неожиданно, после длительного перерыва, позвонила ко мне и попросила заехать к себе. Ее временное гнездо было тогда в Сокольниках, у кого-то из близких знакомых. Я незамедлительно поехал и был немало удивлен, зачем Анна Андреевна меня вызвала. Дело было в следующем. Она подготовилась к своей речи о Данте, написала ее, пока от руки, пожелала выслушать мое мнение об ее речи и, если окажется желательным, кое-что выправить. Я с готовностью взялся пособить Анне Андреевне чем могу. Выслушав, я предложил сделать только одно, но существенное изменение — переставить две части местами. Она легко была убеждена моей логикой, и предложение было принято.

Михаил Васильевич Толмачёв:

…Мне довелось еще видеть Анну Андреевну в сентябре 1965 года со сцены Большого театра. Был Дантовский юбилей. Она сидела в президиуме вместе с министром культуры Фурцевой и другими советскими нотаблями и перелистывала заготовленный текст выступления, мусоля пальчик (мою жену этот жест растрогал до глубины души; я же сказал бы, что это было немного не в «стиле», пусть даже и намеренно). Сменялись докладчики и ораторы. Один из них, говоривший о Данте и русской литературе, остановился на его образе в поэзии Ахматовой и, повернувшись в ее сторону в полупоклоне, как бы пригласил зал к аплодисментам. Они раздались, не шумные, с достоинством, но

продолжительные. Затем наступил черед писательских выступлений. <…> Слово предоставили Анне Андреевне. Пользуясь привилегией своего пола и возраста, она не стала выходить из-за стола, за которым сидела, а, поднявшись, прочитала небольшую речь, где, в частности, сказала, что Данте был одним из тех знамен, под которыми вступили в литературу она и ее друзья — и она произнесла «нецензурные» тогда имена Гумилёва и Мандельштама. Ясно было, что для этого она сюда и пришла.

Анна Андреевна Ахматова. «Слово о Данте»

> Sopra candido vel cinta d'uliva
> Donna m'apparve, sotto verde manto
> Vestita di color di fiamma viva[3].

Гвельфы и гибеллины давно стали достоянием истории, белые и черные — тоже, а явление Беатриче в XXX песни «Чистилища» — это явление навеки, и до сих пор перед всем миром она стоит под белым покрывалом, подпоясанная оливковой ветвью, в платье цвета живого огня и в зеленом плаще. Я счастлива, что в сегодняшний торжественный день могу засвидетельствовать, что вся моя сознательная жизнь прошла в сиянии этого великого имени, что оно было начертано вместе с именем другого гения человечества — Шекспира — на знамени, под которым начиналась моя дорога. И вопрос, который я осмелилась задать Музе, тоже содержит это великое имя — Данте.

> …И вот вошла. Откинув покрывало,
> Внимательно взглянула на меня.
> Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
> Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Для моих друзей и современников величайшим недосягаемым учителем всегда был суровый Алигьери. И между двух флорентийских костров Гумилёв видит, как

> Изгнанник бедный Алигьери
> Стопой неспешной сходит в ад.

А Осип Мандельштам положил годы жизни на изучение

творчества Данте, написал о нем целый трактат «Разговор о Данте» и часто упоминает великого флорентийца в стихах:

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами

Подвиг перевода бессмертных терцин «Божественной комедии» на русский язык победоносно завершил Михаил Леонидович Лозинский. Эта работа была в моей стране высоко оценена критикой и читателями.

Все мои мысли об искусстве я соединила в стихах, освещенных тем же великим именем:

Он и после смерти не вернулся
В старую Флоренцию свою.
Этот, уходя, не оглянулся,
Этому я эту песнь пою.
Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы.
Он из ада ей послал проклятье
И в раю не мог ее забыть, —
Но босой, в рубахе покаянной,
Со свечой зажженной не прошел
По своей Флоренции желанной,
Вероломной, нежной, долгожданной…

Сергей Васильевич Шервинский:

Анна Андреевна явно волновалась в золоте и славе этого непривычного для нее зала. В том, как она с пафосом и подчеркнутой весомостью произносила речь, чувствовалась некоторая непреодоленная смущенность. Но голос ни разу не изменил ей. Ахматова была Ахматовой, и мои опасения потонули в громе аплодисментов многоязычного форума. Ахматова была, при всей своей грузности и отяжелевших чертах прекрасного лица, все той же, как всегда, казалась выше других людей ростом физическим и ростом духовным.

Михаил Васильевич Толмачёв:

Проводили ее столь же корректными, как при упоминании ее

имени в докладе, аплодисментами.

Лидия Корнеевна Чуковская:

12 ноября 1965. …Я спросила, как прошло ее выступление на вечере Данте в Большом театре — ведь мы с той поры не видались. Были ли там интеллигентные люди и как слушали?

— Никаких интеллигентных людей, и никак не слушали. Все эти люди живут, я уверена, в одном каком-то доме, где им предоставлены квартиры при условии, что они не пропустят ни единого юбилейного вечера в Большом театре. Не реагируют они вообще ни на что, хлопают всем поровну и терпеливо ждут антракта и концерта.

Пушкин

Корней Иванович Чуковский:

В одной из ее статей есть такая строка: «Мой предшественник Щеголев». Для многих это прозвучало загадкой. Щеголев не поэт, но ученый-историк, специалист по двадцатым-тридцатым годам XIX века, замечательный исследователь биографии Пушкина. Если бы она написала «мой предшественник Тютчев» или «мой предшественник Баратынский», это было бы в порядке вещей. Но не многие знали тогда, что ее предшественниками были не только лирики, но и ученые: Пушкина знала она всего наизусть — и так зорко изучала его и всю литературу о нем, что сделала несколько немаловажных открытий в области научного постижения его жизни и творчества. Пушкин был ей родственно близок — как суровый учитель и друг.

Виктор Ефимович Ардов:

…О нем она всегда говорила с улыбкой, словно о живом и самом дорогом для нее человеке.

Лидия Яковлевна Гинзбург:

В культурном мире Ахматовой существовало явление ни с чем не сравнимое — Пушкин. У русских писателей вообще особое восприятие Пушкина. Других классиков можно любить или не любить — это вопрос литературной позиции. Иначе с Пушкиным. Все понимали, что это стержень, который держит прошлое и будущее русской литературы. Без стержня распадается связь.

У Анны Андреевны было до странного личное отношение к Пушкину и к людям, которые его окружали. Она их судила, оценивала, любила, ненавидела, как если бы они были участниками событий, которые все еще продолжают совершаться. Она испытывала своего рода ревность к Наталии Николаевне, вообще к пушкинским женщинам. Отсюда суждения о них, иногда пристрастные, незаслуженно жесткие, — за это Ахматову сейчас упрекают.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Меня поразило чувство неприязни, с каким Анна Андреевна относилась к Наталье Николаевне Гончаровой и ее сестрам! Для нее тенденция облагораживания образа Натальи Николаевны, появившаяся в последние годы, была неприемлема. Она так страстно восставала против нее, что порой мне казалось, что ею владеет просто чувство женской ревности.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

О Собаньской она говорила с таким презрением и ужасом, какие достались немногим из ее современниц. Ее поразило и сходство пушкинского письма Собаньской с текстом письма Онегина к Татьяне. Пушкину в период этого его увлечения она сочувствовала, соболезновала; к Собаньской она его ревновала.

Виктор Андроникович Мануйлов:

Мы можем не соглашаться в чем-то с Ахматовой, в частности, с ее нетерпимым отношением к Наталье Николаевне и ее сестрам. Ахматова любила Пушкина ревнивой любовью. Она не могла быть беспристрастной. Но, как исследователь, она проделала громадную работу по изучению и сопоставлению многочисленных источников. На это нужны годы, терпение и талант.

Корней Иванович Чуковский:

Мы заговорили о книге Губера «Дон-Жуанский список Пушкина» (которой Ахматова еще не читала).

— Я всегда, когда читаю о любовных историях Пушкина, думаю, как мало наши пушкинисты понимают в любви. Все их комментарии — сплошное непонимание *(и покраснела)*.

Павел Николаевич Лукницкий:

8 апреля 1921. Сегодня я учинил АА нечто вроде экзамена по знанию Пушкина. Взял однотомного и раскрывал на любой странице. Выбирал какую-нибудь самую малохарактерную для данного стихотворения строчку, читал ее вслух и спрашивал, из какого она стихотворения, какого года… АА безошибочно называла и то и другое и почти всегда наизусть произносила следующие за этой строчкой стихи… Перебрав так пятнадцать-двадцать примеров, я перешел сначала к прозе, а потом к письмам Пушкина. Оказалось, что АА знает и их так же безукоризненно хорошо. Я читал часто только два-три слова, и всегда АА совершенно точно произносила следующие за ними слова, а если это было письмо — подробно пересказывала мне содержание… Могу утверждать, что и письма Пушкина АА знает наизусть.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Анна Андреевна охотно рассказывала о своих работах о Пушкине, например, о разборе «Каменного гостя». Это был совсем новый взгляд на Дон Жуана, опровергающий его канонический образ. Ахматова утверждала, что в «Каменном госте» есть нечто

автобиографическое: Дон Гуан — поэт, а Дона Анна — его первая настоящая любовь. Для нее подтверждением служил тот факт, что Пушкин при жизни не опубликовал это сочинение.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Когда я была летом 1934 г. в Ленинграде, Анна Андреевна при мне не раз уходила в рукописное отделение Публичной библиотеки заниматься Пушкиным. Она говорила, что ей легко там работать, так же как и в Пушкинском Доме, потому что Л. Б. Модзалевский или Б. В. Томашевский охотно подходили к ней, чтобы помочь прочесть неразборчивый текст Пушкина. На нужный печатный источник всегда любезно укажут С. Я. Гессен, Д. П. Якубович. Редактор «Временника Пушкинской комиссии» Ю. Г. Оксман в первом же томе (1936 г.) напечатал новое исследование Ахматовой об «Адольфе» Бенжамена Констана.

Но на торжественное юбилейное заседание памяти Пушкина Ахматовой не прислали даже пригласительного билета. Этот день, 10 февраля 1937 г., она провела бы в полном одиночестве, если бы ее не пришла развлечь В. Н. Аникиева.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Анна Андреевна явно гордилась тем, что принадлежит к «пушкинистам», причем отнюдь не honoris causa, а по праву исследователя, автора научных работ о жизни и творчестве Пушкина. О себе среди других «пушкинистов», по-моему, с каким-то особым удовольствием говорила, бывало: «мы» — по разным поводам. Больше всех в этой области, да и не только в этой, она считалась с Борисом Викторовичем Томашевским, о котором однажды она при мне сказала: «Это вообще один из самых просвещенных людей нашего века…»

Секрет той необыкновенной живости и новизны, с которой вдруг представал Пушкин в освещении Ахматовой, был не однозначен. Это был секрет с многими гранями. Тоже своего рода «магический кристалл». Удивительная полнота ее знания Пушкина (все помнила!) была как бы наградой за талант внимания, с которым она его читала. Сила пожизненной ее любви к Пушкину делала прозорливыми многие ее догадки и сообщала спокойную твердость ее несогласиям с другими исследователями. Ее творческая интуиция, ее путь к Пушкину не извне, а изнутри его творческого мира — вот это и был ахматовский «пушкинизм», надвременный чуткий отклик поэта — поэту.

Галина Лонгиновна Козловская:

За всю жизнь Анна Андреевна была со мной только раз

сурова и строга. Мы пришли к Ардовым, когда там уже была Раневская и еще один писатель. Алексей Федорович (Козловский. — *Сост.)* рассказал, что в этот день он получил госзаказ на написание оперы о Пушкине, а мне предложено написать либретто. Почти все присутствующие были люди театральные и отнеслись к этому шумно одобрительно. Взглянув на Анну Андреевну, я окаменела. Лицо ее было гневно, и дальнейшая ее речь была полна возмущения. Когда мы уходили, она подошла ко мне и тихо сказала: «Завтра приходите в пять — одна». По дороге домой Раневская, обычно благоговейно слушавшая Анну Андреевну, вдруг разошлась и говорила, чтобы я не слушалась ее и обязательно писала.

Когда я пришла на другой день, Ахматова сидела на диване, важная и строгая, с томиком Пушкина в руках. «Сядьте и слушайте», — сказала она и прочла мне критику Пушкина на пьесу Виктора Гюго «Кромвель». В ней Пушкин осуждает дерзость Гюго, осмелившегося оскорбить «Великую тень». «А вы хотите заставить его петь. Это нельзя, это нельзя», — повторяла она.

Сложные чувства метались в моей душе. В самой глубинной глубине я была согласна с ней. Но чувство драматурга захлестывало и было сильней. Помню только, что я дала ей клятву, что ничем не оскорблю Великую тень. Она постепенно смягчалась и советовала воспользоваться опытом Булгакова: Пушкин только что был, Пушкин только что вышел. Я ей сказала, что в опере это невозможно. И рассказала ей, что этот замечательный прием был впервые введен в русскую драматургию посредственным автором, отпрыском царствующего дома Романовых, который печатался под буквами К. Р. Он написал драму «Царь Иудейский», где в стихах были последовательно рассказаны страсти Христа, начиная со входа в Иерусалим, на Страстной неделе. Условия цензуры не позволяли вывести Христа на сцену, и К. Р. обыграл этот запрет, создав прием. Кажется, пьеса была поставлена в придворном театре, и Глазунов написал к ней очень хорошую музыку — единственное, что от этой затеи осталось в искусстве.

Постепенно Анна Андреевна теплела, вновь стала ласковой и доброй и на прощание обняла и поцеловала меня.

Судьба этого начинания в какой-то мере поучительна. Полтора года я ничем, кроме Пушкина, не занималась и, как мне кажется, ничем не погрешила. Но вот настал день, когда в Ташкент приехал чиновник из Министерства культуры СССР и попросил меня познакомить его с моим Пушкиным. Когда я ему прочла, он сказал, что все очень хорошо, но совершенно обязательно «отразить близость Пушкина к народу. Напишите

еще сцену, — сказал он докторально, — где Пушкин в красной рубахе пляшет вприсядку на ярмарке, среди народа». Вероятно, чиновник прочел в моих глазах нечто, что заставило его ретироваться. Я закрыла рукопись, чтобы никогда к ней больше не возвращаться.

При первой же встрече в Ленинграде я все это рассказала Ахматовой, прибавив, что во время работы меня все время подспудно тревожила ужасная мысль: а что если Пушкина будет петь глухой человек? Ахматова улыбнулась и сказала: «Я пощадила вас тогда, но я подумала именно это».

Так что все обошлось к лучшему.

Наталия Александровна Роскина:

Говорили о Пушкине. У Анны Андреевны теория, что мы все влюблены в Пушкина, от этого нам все про него интересно, и есть даже такой жанр: «Знакомые Пушкина». А вот такого жанра — «Знакомые Достоевского» — нет.

Сергей Васильевич Шервинский:

Трогать Пушкина при Анне Андреевне было небезопасно.

Блок

Виктор Ефимович Ардов:

О Блоке говорит подчеркнуто уважительно, но не любит его (как соперника акмеистов, в частности Гумилёва). В жизни встречалась с ним мало и отчужденно. Очень сердится, когда разные пошляки ей приписывают роман с Блоком…

Галина Лонгиновна Козловская:

О Блоке говорила редко. Он был для нее бесспорной очевидностью. А в своих стихах она назвала его «трагический тенор эпохи». Но было еще что-то неуловимое, скрытое в ее отношении к нему. Однажды я была свидетельницей сцены, когда Ахматова, как говорится, «взорвалась». Одна ее посетительница рассказала, что только что прослушала лекцию в университете, где лекторша среди прочего рассказала о романе Ахматовой и Блока. «Боже! — почти закричала Ахматова. — Когда кончится эта чушь и вздор! Никогда не было никакого романа, ничего похожего на него!!» Посетительница лепетала: «А как же стихи?» «И поэтам свойственно писать стихи», — с убийственной иронией сказала Анна Андреевна, и разговор был окончен. И вдруг, какое-то время спустя, она неожиданно сказала: «У него была красная шея римского легионера».

Маргарита Иосифовна Алигер:

Мне всегда хотелось расспросить ее об их отношениях с Блоком, но я все не решалась, не могла преодолеть неловкости. И все-таки однажды я решилась. Она отвечала охотно, даже с явным удовольствием:

— Нет, нет, все это нелепые выдумки. Ничего никогда не было. Кому-то понравилась идея: роман Блока с Ахматовой. Красиво получается. Нет, нет, я никогда не была в него влюблена. Ничего похожего… — И, помолчав, продолжала уже другим, доверительным тоном: — Только однажды… Мы выступали вместе на благотворительном концерте в пользу нуждающихся студентов. После концерта какой-то студент пошел нас провожать, усадил в пролетку и сам уселся на откидную скамеечку. Блок стал его уговаривать не провожать нас: «Не тревожьтесь, молодой человек, мы сами доедем». Но тот настаивал: «Нет, что вы, как можно! Я обещал вас проводить! Я обязан». «Зачем же? Не беспокойтесь. И как бы вы не простудились», — не унимался Блок, хотя дело было летом и вечер стоял душный. Было ясно, что он не прочь избавиться от

провожатого. Студент, однако, не отступился, и так мы и доехали… Отвяжись он, и — кто знает, как бы все обернулось. Видно, не судьба!..

Анна Андреевна Ахматова:

В одно из последних воскресений 1913 года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой Блок». (Вот «Стихи о Прекрасной Даме».) А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня: «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

В 1960 г. вышел третий том сочинений Блока, из которого впервые Ахматова узнала о некоторых вариантах и черновиках обращенного к ней стихотворения. В тот день у Ардовых она говорила только об этом, толкуя разночтения всегда ее занимавших строк: «Не страшна и не проста я…»

Ей, видно, всегда хотелось понять, что стояло за тем блоковским стихотворением 1913 г. И спустя почти полвека каждая новая строка черновика снова помогала ей в любимом занятии — расшифровке того, что стоит за стихотворением. Она возвращалась и к каноническому его тексту, было видно, что она его хорошо знает.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Отношение ее к Блоку было сложным. В своих воспоминаниях Виктор Ефимович Ардов писал, что Ахматова «о Блоке говорит подчеркнуто уважительно, но не любит его». Я не думаю, что вторая половина этой фразы, слишком прямолинейная и упрощающая, справедлива, но поводы к ней в суждениях Анны Андреевны можно было найти. Высочайшим образом ценя Блока как поэта, она тем не менее предъявляла к нему самому и к его поэзии ряд претензий. Во всяком случае, какую-то долю напряженности, исходящей от Анны Андреевны в разговорах о Блоке, я ощущал. Это заставило меня, кстати сказать, поверить одной из самых близких приятельниц Ахматовой, которая призналась мне, что уловила в ней оттенок недовольства тем, что

я занимаюсь не ее поэзией, а творчеством Блока.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Последний раз я видел Ахматову в больнице в Москве зимой 1966 г. Мне надо было на месяц уехать в Ленинград читать доклады и лекции, я пришел прощаться, не зная, что навсегда. Только что кончился суд над Синявским и Даниэлем. Мы говорили об их горькой судьбе, о писателях, озабоченных (как и я в то время) их защитой.

В тот именно разговор Ахматова пересказала мне свой рассказ о Блоке, которого она увидела нечаянно на платформе, когда ехала поездом Москва — Петербург. У нее были в руках листки с записями о Блоке, но она не столько читала мне, сколько рассказывала. Ее забавлял и продолжал шокировать заданный тогда Блоком вопрос, с кем она едет в поезде. Больше всего ее развлекало восприятие этого ее рассказа о Блоке приезжавшим в Москву известным американским литературоведом. «Вы знаете, что он сделал, когда услышал об этой нечаянной встрече с Блоком на платформе?» После выразительной паузы: «Он свистнул!» Развязность этого дикого ковбоя ее приводила в восторг. Степень ее благовоспитанности была очень большой.

Наталия Александровна Роскина:

Еще — о Блоке. Когда Анна Андреевна прочитала записные книжки Блока и увидела, что не оставила в них следа, — это уязвило ее. Не раз я слышала ее высказывания в таком духе: «Как известно из записных книжек Блока, я не занимала места в его жизни…»

Мандельштам

Виталий Яковлевич Виленкин:

Кажется, из всех своих современников-поэтов только к одному Мандельштаму Анна Андреевна относилась как к какому-то чуду поэтической первозданности, чуду, достойному восхищения.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

По моим наблюдениям, Ахматова больше всех из современных ей поэтов одного поколения с нею ценила Мандельштама, своего друга, во многом единомышленника, которого она признавала поэтом «одного направления» с нею (запись 17 мая 1941 г.). Она считала Мандельштама крупнее Пастернака (запись 23 июля 1959 г.). Критических замечаний о Мандельштаме я от нее никогда не слышал. Я убежден, что одной из причин, вызвавших такое отношение Ахматовой к Мандельштаму, помимо его духовной близости к ней и его реального масштаба, явилась и его трагическая судьба.

Георгий Викторович Адамович:

Мандельштам ею восхищался: не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, ее внешностью, — и ранней данью этого восхищения, длившегося всю его жизнь, осталось восьмистишие о Рашели-Федре.

Анна Андреевна Ахматова:

Я познакомилась с О. Мандельштамом на Башне Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки. Второй раз я видела его у Толстых на Старо-Невском, он не узнал меня, и Алексей Николаевич стал его расспрашивать, какая жена у Гумилёва, и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-то непоправимое, и назвала себя…

В 10-е годы мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в «Гиперборее» (то есть у Лозинского), в «Бродячей собаке» (где он, между прочим, представил мне Маяковского. Как-то раз в «Собаке», когда все ужинали и гремели посудой, Маяковский вздумал читать стихи. Осип Эмильевич подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи. Вы не румынский оркестр». Это было при мне. Остроумный Маяковский не нашелся что ответить, о чем очень потешно

рассказывал Харджиеву в 30-х годах), в «Академии стиха» («Общество ревнителей художественного слова», где царил Вячеслав Иванов) и на враждебных этой «Академии» собраниях «Цеха поэтов», где он очень скоро стал первой скрипкой…

Что же касается стихотворения «Вполоборота, о печаль…», история его такова: в январе 1914 года Пронин устроил большой вечер «Бродячей собаки», не в подвале у себя, а в каком-то большом зале на Конюшенной. Обычные посетители терялись там среди множества «чужих» (то есть чуждых всякому искусству) людей. Было жарко, людно, шумно и довольно бестолково. Нам это наконец надоело, и мы (человек 20–30) пошли в «Собаку» на Михайловской площади. Там было темно и прохладно. Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали», и еще что-то про шаль…

Таким же наброском с натуры было четверостишие «Черты лица искажены…». Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале. Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки…

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Казалось бы, что жизненная ставка А. А. — любовь, но эти дела рушились у нее как карточные домики, от самого первого кризиса, а напряженно-личное, яростное отношение к О. М. выдержало все испытания. Первый кризис произошел незадолго до моего появления. Где-то в году восемнадцатом она решила охранять О. М., чтобы он в нее не влюбился, и попросила его пореже у нее бывать. Сделала она это, наверное, с обычной своей неуклюжестью, во всяком случае, О. М. смертно на нее обиделся. Влюблен он в нее не был, по крайней мере он мне так говорил, а он умел различать градации отношений и врать или скрывать что-нибудь органически не умел. К тому же он ощущал А.А. как нечто равное или даже высшее, то есть созданное только для товарищества, а не для любви, которая была для него длительной или мгновенной вспышкой, игрой, беснованием, но всегда направленной на слабейшего.

Эмма Григорьевна Герштейн:

С Осипом Эмильевичем у Анны Андреевны были свои отдельные разговоры — я при них не присутствовала. Только однажды, заглянув по какой-то надобности в «капище», я застала их вдвоем. С детским увлечением они читали вслух по-итальянски «Божественную комедию». Вернее, не читали, а как бы

разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырывавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. «Ну, теперь — вы», «А теперь вы», — подсказывали они друг другу.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

В отношениях О. М. и Анны Андреевны всегда чувствовалось, что их дружба завязалась в дурашливой юности. Встречаясь, они молодели и наперебой смешили друг друга. У них были свои словечки, свой домашний язык. Припадки озорного хохота, который овладевал ими при встречах, назывались «большой смиёзь» — посмотреть, скажешь: не двое измученных, обреченных людей, а дрянная девчонка, подружившаяся по секрету от старших с каким-то голодранцем… Выражение «большой смиёзь» пошло с тех пор, как Анна Андреевна позировала Альтману, а О. М. прибегал на сеансы. Они рассказывали, будто вошел сосед Альтмана, тоже художник, итальянец по национальности, и, услыхав, как они хохочут, сказал: «А здесь, оказывается, большой смиёзь…» Были и другие традиционные слова. Услыхав о какой-нибудь нелепой сцене, О. М. всегда говорил: «И никакой неловкости не произошло…» Эта фраза тоже имела свою историю. Как-то Анну Андреевну попросили зайти с поручением к старому, парализованному актеру Г-ну… Ее привели к старику и сказали, кто она. Он посмотрел на нее мутным взглядом и произнес: «Совершенно неинтересное знакомство…» О. М. в незапамятные времена выслушал про этот визит и резюмировал: «И никакой неловкости не произошло…»

Так эти две фразы и остались жить… Жизнь делала все, чтобы отучить их смеяться, но они оба туго поддавались воспитанию.

Галина Лонгиновна Козловская:

Одной из великих ее привязанностей был Осип Мандельштам. Она была беззаветно предана ему. Любила его стихи, а его веселье и дружбу ценила как счастливый дар судьбы. Какого, заливаясь смехом от какой-то шутки Алексея Федоровича, она проговорила: «Только с Мандельштамом я так смеялась». Она никогда не называла его по имени. Говоря о нем, она вспоминала его как самого блистательного, самого верного, самого беззащитного человека, горького и трагического поэта нашего времени. Не было у него большего друга, и он это знал.

Исайя Берлин:

Я спросил про Мандельштама. Она не произнесла ни слова,

глаза ее наполнились слезами, и она попросила меня не говорить о нем.

Цветаева

Марина Ивановна Цветаева:

Знаю, что Ахматова… в 1916–17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама — одна из самых больших моих радостей за жизнь.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Запомнились и некоторые подробности из рассказа Анны Андреевны о двух единственных ее встречах с Цветаевой в предвоенной Москве. О содержании разговора, который вели между собой впервые увидевшие друг друга поэты, известно мало. Мы знаем в основном, что этот разговор скорее развел их, чем сблизил. Не повторяя известного, прибавлю лишь несколько новых деталей, запомнившихся мне из рассказа Анны Андреевны.

— Марина, — говорила Ахматова, — была уже седая. От прежней привлекательности (хороший цвет лица) в ней уже ничего не осталось. Она была demodee («старомодная» — это французское прилагательное, несомненно, было произнесено. — *Д. М.)*. Она напоминала московских символистских дам девятисотых годов. (Запись 15 августа 1959)

Виктор Ефимович Ардов:

Узнав от меня, что Анна Андреевна поселилась у нас на Ордынке, Цветаева пожелала навестить Ахматову, с которой она никогда не встречалась. Я спросил разрешения Анны Андреевны. Та согласилась. И вот в один из дней Марина Ивановна позвонила нам по телефону. Анна Андреевна попросила ее приехать. Но она так сбивчиво поясняла, куда надо прибыть, что Цветаева спросила:

— А нет ли подле вас непоэта, чтобы он мне растолковал, как к вам надо добираться?

Этим «непоэтом» был я. Мне удалось внятно изложить адрес, Марина Ивановна вскоре появилась в нашем доме. Я открыл дверь, принял участие в первых фразах. А затем удалился, не желая оказаться нескромным.

Я и в тот момент понимал, что лишаю историю русской литературы многого, отказавшись присутствовать при такой встрече. Думаю, меня поймут…

Нина Антоновна Ольшевская:

Ардов был знаком с Цветаевой по Дому творчества в Голицыне. Он сказал Анне Андреевне, что Марина Ивановна хочет с ней лично познакомиться. Анна Андреевна после большой паузы ответила «белым голосом», без интонаций: «Пусть придет». Цветаева пришла днем. Я устроила чай, немножко принарядилась, надела какую-то кофточку. Марина Ивановна вошла в столовую робко, и все время за чаем вид у нее оставался очень напряженным. Вскоре Анна Андреевна увела ее в свою комнату. Они сидели вдвоем долго, часа два-три. Когда вышли, не смотрели друг на друга. Но я, глядя на Анну Андреевну, почувствовала, что она взволнована, растрогана и сочувствует Цветаевой в ее горе.

Ардов пошел провожать Цветаеву, а Анна Андреевна ни слова мне не сказала о ней. И после никогда не рассказывала, о чем они говорили.

Анна Андреевна Ахматова:

Когда в июне 1941 года я прочла М<арине> Ц<ветаевой> кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 1941 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро», очевидно, полагая, что поэма мирискусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, то есть то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так.

Наталия Иосифовна Ильина:

О двух своих встречах с Цветаевой Анна Андреевна рассказала мне в январе 1963 года… Обе встречи произошли в начале июня 1941 года. До тех пор Ахматова и Цветаева друг друга не видели никогда. Пастернак передал Анне Андреевне, что Цветаева хотела бы встретиться с нею, и сообщил телефон Цветаевой. «Звоню. Прошу позвать ее. Слышу: «Да?» — «Говорит Ахматова». — «Слушаю». Я удивилась. Ведь она же хотела меня видеть? Но говорю: «Как мы сделаем? Мне к вам прийти, или вы ко мне придете?» — «Лучше я к вам приду». — «Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться». — «А нормальный человек сможет объяснить ненормальному?»

Пришла на другой день в двенадцать дня. А ушла в час ночи. Сидели вот в этой маленькой комнате. Сердобольные Ардовы нам еду какую-то посылали… О чем говорили? Не верю, что можно многие годы точно помнить, о чем люди говорили, не верю, когда по памяти восстанавливают. Помню, что она спросила меня: «Как вы могли написать: «Отними и ребенка, и друга, и таинственный

песенный дар…»? Разве вы не знаете, что в стихах все сбывается?» Я: «А как вы могли написать поэму «Молодец»?» Она: «Но ведь это я не о себе!» Я хотела было сказать: «А разве вы не знаете, что в стихах — все о себе?» — но не сказала.

На другой день в семь утра (она вставала по парижской привычке очень рано) позвонила по телефону — это кухарка мне передала, — что снова хочет меня видеть. Позже созвонились. Я в тот вечер была занята, ехала к Николаю Ивановичу Харджиеву в Марьину рощу. Марина Ивановна сказала: «Я приду туда». Пришла. Подарила «Поэму воздуха», которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли от Харджиева вместе, пешком. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах. Только в трамвае. Или уж пешком… Я шла в Театр Красной Армии, где в тот вечер играла Нина Ольшевская… Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся была у меня Марина».

Николай Иванович Харджиев (1903–1996), *прозаик, искусствовед, стиховед:*

Как известно, при их [А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой] первой встрече никто не присутствовал. Второй встрече предшествовало знакомство с Цветаевой Т. С. Грица и мое у А. Е. Кручёных. Мы беседовали главным образом о Хлебникове, которого Цветаева высоко ценила. Ей был подарен том «Неизданных произведений Хлебникова», вышедший под нашей редакцией в 1940 году. Вскоре Цветаева приехала с Т. Грицем ко мне в Александровский переулок, где и состоялась ее вторая встреча с Ахматовой.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Как было заранее условлено, я зашла за Анной Андреевной к Харджиеву, чтобы идти с ней в Театр Красной Армии, помещавшийся недалеко. У Николая Ивановича я застала не только Ахматову, но и Цветаеву и сопровождавшего ее литературоведа Т. С. Грица. Он сидел на тахте рядом с Харджиевым, брови его были трагически сдвинуты, что неожиданно делало его красивое и мужественное лицо детски наивным. На табуретках сидели друг против друга: у стола — Анна Андреевна, такая домашняя и такая подтянутая со своей прямой петербургской осанкой, а на некотором расстоянии от нее — нервная, хмурая, стриженная как курсистка Марина Ивановна. Закинув ногу на ногу, опустив голову и смотря в пол, она что-то монотонно говорила, и чувствовалась в этой манере постоянно действующая сила, ничем не прерываемое упорство.

Николай Иванович Харджиев:

Марина Ивановна говорила почти беспрерывно. Она часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по моей восьмиметровой комнатенке.

Меня удивлял ее голос: смесь гордости и горечи, своеволия и нетерпимости. Слова «падали» стремительно и беспощадно, как нож гильотины. Она говорила о Пастернаке, с которым не встречалась полтора года («он не хочет меня видеть»), снова о Хлебникове («продолжайте свою работу»), о западноевропейских фильмах и о своем любимом киноактере Петере Лорре, который исполнял роли ласково улыбающихся мучителей и убийц. Говорила и о живописи, восхищалась замечательной «Книгой о художниках» Кареля ван Мандера (1604), изданной в русском переводе в 1940 году.

— Эту книгу советую прочесть всем, — почти строго сказала Марина Ивановна.

Анна Андреевна была молчалива.

Я подумал: до чего чужды они друг другу, чужды и несовместимы.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Вскоре все поднялись, и невысокая Цветаева показалась мне совсем другой. Надевая кожаное пальто, она очень зло изобразила Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины». Он попросил Марину Ивановну мерить на себя, но спохватился: не подойдет, «у Зины такой бюст!..» И она изобразила комическое выражение лица «Бориса» при этом и осанку его жены Зинаиды Николаевны («красавица моя, вся стать»). Резкость слов Цветаевой и неожиданно развинченные движения поразили меня тогда неприятно. Не знаю, как перешел разговор на Бальмонта, и Цветаева описала горестную сцену в Париже. Состарившийся поэт, видимо, случайно получил много денег. Марина Ивановна видела в ресторане или каком-то кафе, как он выбирал по карте дорогие вина, а жена судорожно прижимала к груди потрепанный портфельчик, набитый деньгами. Эта жалкая сцена была разыграна Цветаевой с мгновенной и острой выразительностью. Выйдя уже в коридор, она обернулась к замешкавшейся в комнате Анне Андреевне, чтобы рассказать, какими словами описывали ей Ахматову общие знакомые: «Такая… дама». И голос ее зазвенел почти истерически.

Николай Иванович Харджиев:

Когда Цветаева, сопровождаемая Т. Грицем, ушла, Ахматова сказала:

— В сравнении с ней я тёлка.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Лишь в шестидесятых годах я спросила Харджиева, не помнит ли он, о чем был разговор в то долгое свидание. «Анна Андреевна говорила мало, больше молчала. Цветаева говорила резко, нервозно, перескакивая с предмета на предмет». — «Они, кажется, не понравились друг другу?» «Нет, этого нельзя сказать, — задумался Николай Иванович, — это было такое… такое взаимное касание ножами души. Уюта в этом мало».

Наталия Иосифовна Ильина:

Говоря о характере Цветаевой, Анна Андреевна вспоминала такой диалог между ними. Цветаева сказала: «Я многих спрашивала: какая вы?» Ахматова, поддавшись на эту удочку, заинтересованно: «И что ж вам отвечали?» — «Отвечали: «Просто дама!»»

Георгий Викторович Адамович:

Меня интересовало отношение Ахматовой к Марине Цветаевой. В далекие петербургские времена она отзывалась о ней холодновато, вызвав даже однажды недовольное восклицание Артура Лурье:

— Вы относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману.

Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями. Цветаева по отношению к «златоустой Анне всея Руси» была Шуманом. Когда-то Ахматова с удивлением показывала письмо ее из Москвы, еще до личной встречи. Цветаева восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбелью» — «Далеко в лесу огромном…» — и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения — «Я дурная мать» — готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Ранние цветаевские стихи, например цикл о Москве или к Блоку, представлялись мне замечательными, необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила.

Судя по двум строчкам ее стихотворения 1961 года:

> Свежая, темная ветвь бузины,
> Это письмо от Марины, —

я предполагал, что отношение Анны Андреевны к Цветаевой

изменилось. Однако Ахматова очень сдержанно сказала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят… пожалуй, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя не добавила ничего. В дальнейшей беседе я упомянул об «анжамбеманах», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, — то есть перенос логического содержания строки в начало строки следующей. «Да, это можно сделать раз, два, — согласилась Ахматова, — но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».

(Проверяя и пересматривая многолетние свои впечатления, я думаю, что безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой было вызвано не только их словесным, формальным складом. Нет, не по душе ей было, вероятно, другое: демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло, и не для одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека редкостно даровитого и редкостно несчастного.)

Виталий Яковлевич Виленкин:

Из разговоров интересных, но неприятных — о Цветаевой, в связи с посмертным сборником «Проза». «В главе «Нездешний вечер» видно, как я ей мешала». Вообще недружественно, даже с раздражением (может быть, потому, что я возражал, спорил, напоминал). Что Цветаева «сама себя придумала в своем эмигрантском облике», что «там печатали каждую ее строчку, относились почтительно» и проч. Возмущалась описанием открытия Музея изящных искусств в присутствии «их величеств». И все это было, по-моему, несправедливо.

Но весь тон переменился, и совсем по-другому заговорила — о ее страшном конце в Елабуге. Со слов Мура, сына Марины Ивановны, описывала, как будто сама видела, унизительное ожидание решения «братьев-писателей» в Чистополе: как «Марина ходила по двору, теребя сумочку», пока те заседали и решали вопрос, можно ли перевести ее в Чистополь, «хотя бы судомойкой», как она просила (Пастернака в это время там не было). «Поехала в Елабугу за вещами — и не выдержала». <…>

…Творчество Цветаевой, как это ни странно, было для нее каким-то «производным» от Андрея Белого. Так, по крайней мере, она говорила. Но она не раз называла ее «мощным поэтом» и без колебаний включала ее в короткий список тех поэтов, которых она «больше всего ценит». Почему-то я никогда не слыхал, чтобы

она припомнила, процитировала хоть строчку Цветаевой, если не считать эпиграфа к собственному стихотворению «Комаровские наброски» и заключающего это стихотворение «цветаевского» образа:

…Темная, свежая ветвь бузины…
Это — письмо от Марины.

А между тем эпиграф этот, «О муза плача…» — начало одного из тринадцати стихотворений, которые Марина Цветаева ей посвятила…

Не могу судить о том, как это было прежде, но в последние годы мне всегда казалось, что у Анны Андреевны на стихи Цветаевой «нет отзыва», что она к их прибою, к их неистовой, горькой страстности остается глуха. Но равнодушия в ее отношении к Цветаевой не было никогда — скорее доходила до меня какая-то скрытая мучительность неприятий, отсюда порой и их страстность. А иногда она ощущала ее совсем близко к себе, рядом. Марине Цветаевой посвящено стихотворение 1940 года «Поздний ответ».

Исайя Берлин:
Ахматова восхищалась Цветаевой. «Марина — поэт лучше меня», — сказала она мне.

Наталия Александровна Роскина:
О Цветаевой Ахматова сказала: «Мощный поэт».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:
Ценя Цветаеву как поэта, Анна Андреевна не считала и не могла считать ее близкой себе по духу, по эстетике, по фактуре стиха. Духовно-эстетическая чужеродность этих двух замечательных поэтов едва ли не превращалась в противостояние. Как мне кажется, исконная причина этого, помимо глубинно-человеческих оснований, состоит отчасти в принадлежности их к различным «школам», сферам или даже поэтическим мирам, которые издавна давали о себе знать в широком потоке развития русской литературы, — «петербургскому» и «московскому».

Вирусы того, что я условно называю «ревностью», ощущались скорее в интонации упоминаний Анны Андреевны о Цветаевой, чем в сути ее слов. Они присутствовали также и в повышенном интересе к оценкам поэзии Цветаевой, которые исходили от собеседников Ахматовой. Это было в большей мере веянье ревности, чем сама ревность. Вспоминаю отдельные реплики

Анны Андреевны, относящиеся к этому «пункту», в общем вполне понятному.

Когда я попросил ее прочитать мне мандельштамовский отзыв об ее поэзии, о котором она только что упомянула, она как будто возразила на это:

— Но ведь вы больше любите Марину?! — (Смысл: зачем же читать о ней, об Ахматовой?)

Это было сказано с лукавством и с другими соседними более или менее различимыми чувствами. (Запись 15 февраля 1959 г.)

Лидия Корнеевна Чуковская:

20 июля 1960… Кроме Мандельштама, на столе передо мною были выложены две фотографии Марины Цветаевой (одна с дочкой на руках) и фотография Ахматовой, которую я уже знала, но теперь в увеличенном виде. Фотографии Марины Ивановны привезли Сосинские. Анна Андреевна положила передо мною рядом одну фотографию Марины Ивановны и другую — свою и спросила:

— Узнаёте? Я не поняла.

— Брошку узнаёте? Та же самая. Мне ее Марина подарила.

Я вгляделась: безусловно так. Одна и та же брошка на платье у Цветаевой и Ахматовой.

Игнатий Михайлович Ивановский:

Четыре стандартных зеленых дачи на большом общем участке, обнесенном низкой оградой. Издали, между соснами, вижу грузную фигуру с лейкой в руке. Анна Андреевна поливает цветы. Идет по дорожке. Отводит рукой ветку бузины, указывает на нее глазами:

— Письмо от Марины.

Откуда прислала весть Марина Цветаева? Не знаю.

Но легенда творится ежечасно.

Пастернак

Галина Лонгиновна Козловская:

К Пастернаку было особое отношение, очень дружественное, с оттенком порой, я бы сказала, восхищенного изумления. Она неизменно радовалась его стихам, часто вспоминала их как музыку. Они всегда были при ней, в ее памяти. И если жизнь сложилась так, что встречи не были так часты, как, скажем, с Мандельштамом, бывали все же времена, когда она жила в Москве, то Борис Леонидович прибегал к ней налегке почти каждое утро. Эти встречи для обоих были потребностью сердца.

Наталия Александровна Роскина:

Она очень любила Пастернака, называла его часто «Борисик».

Существует известная фотография, сделанная на знаменитом вечере 1946 года: Ахматова, в своей белой с кистями шали, и рядом — Пастернак. Оба очень хорошо вышли на этом снимке. Оба смотрят вперед, на зрителя, и видно одиночество каждого, и вместе с тем отчетливо проступает их внутреннее сходство.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Анна Андреевна часто останавливалась (в 1930-е годы. — *Сост.*) в Москве в квартире Мандельштамов

Там ее принимала мать Надежды Яковлевны. Я, конечно, навещала Анну Андреевну и раза два заставала у нее Пастернака. Однажды это было уже «под занавес». Заканчивая беседу, он перевел разговор на свое домашнее. Недавно умер тесть. Пастернаку досталась его шуба. Теплая. «Сейчас пойду проверю». — Он ловко прощается, быстро надевает в передней шубу и уходит в морозную ночь. Странно было видеть его уютную светскость в этом жилище беды. В другой раз мы собрались с Анной Андреевной на вокзал — она возвращалась в Ленинград. Неожиданно зашел Борис Леонидович, пожелавший ее проводить. Мы поехали вместе. По дороге Пастернак сошел с трамвая — «я вас догоню», — мы несколько недоуменно переглянулись, но в зале ожидания он действительно нас настиг, держа в руках бутылку вина (ничего другого в ту пору в магазинах не нашлось), и преподнес ее Анне Андреевне.

До отхода поезда оставалось еще время, они разговорились об Андрее Белом, отзывались критически о его последней прозе и принадлежности к обществу антропософов. Но когда речь зашла о статье Л. Б. Каменева, как утверждала Надя, убившей писателя, Борис Леонидович сразу: «Он мне чужой, но им я его не уступлю».

Дело в том, что в предисловии к последней книге Белого «Между двумя революциями» Каменев охарактеризовал всю его литературную деятельность как «трагифарс», разыгранный «на задворках истории».

После некоторого молчания Борис Леонидович заводит щекотливый разговор. Он уговаривает Ахматову вступить в Союз писателей. Она загадочно молчит. Он расписывает, какую пользу можно принести, участвуя в общественной жизни. Вот его пригласили на заседание редколлегии «Известий», он сидел рядом с Карлом Радеком, к его, Пастернака, словам прислушиваются, он может сделать что-нибудь доброе. Анна Андреевна постукивает пальцами по своему чемоданчику, иногда многозначительно, почти демонстративно взглядывает на меня и ничего не отвечает.

Нина Антоновна Ольшевская:

Когда Пастернаку было плохо, ну, ссорился с женой или что-нибудь подобное, он уезжал в Ленинград и останавливался у Анны Андреевны. Стелил на полу свое пальто и так засыпал, и она его не беспокоила. На моей памяти это было раза три.

Исайя Берлин:

Она заговорила о Пастернаке, которому она была предана. Она сказала, что на Пастернака находит желание встретиться с ней, только когда он находится в угнетенном состоянии. Тогда он обычно приходит расстроенный и измученный, чаще всего после какого-нибудь любовного увлечения, но его жена появляется вскоре вслед за ним и забирает его домой. Оба они — Пастернак и Ахматова — были влюбчивы. Пастернак время от времени делал ей предложение, но она к этому никогда серьезно не относилась. Они не были никогда влюблены друг в друга по-настоящему; но, не будучи влюблены, они любили и обожали друг друга и чувствовали, что после смерти Цветаевой и Мандельштама они остались одни. Сознание того, что каждый из них жив и продолжает работать, было для них источником безмерного утешения. Они могли критиковать друг друга, но не позволяли этого никому другому.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина:

Вскоре раздался звонок, пришел Пастернак. Я проводила его в комнату Анны Андреевны, а сама ушла в соседнюю, в мастерскую Осмёркина. Вначале до меня доносились звуки глуховатого голоса Анны Андреевны и громкое гудение речи Пастернака. Я всегда удивлялась его манере взволнованной и

возбужденной беседы. Анна Андреевна, как я услышала из-за двери, стала читать ему свои стихи. Через некоторое время послышался даже не возглас, а выкрик Пастернака: «Это удивительно, поразительно! Ваши стихи скворчат, как на сковородке… Они живут сами по себе!» После некоторой паузы опять выкрик: «Скворчат, скворчат стихи!» Очевидно, она долго еще ему читала. Оба вышли из комнаты взволнованные.

Нина Антоновна Ольшевская (в записи Виктора Ардова):

К нам пришел Борис Леонидович. Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. Он стал хвалить стихи. И потом они оба стали разговаривать о чем-то. О чем, я не могла понять даже отдаленно. Как будто не по-русски говорили. Потом Пастернак ушел. И я спросила:

— Анна Андреевна, о чем вы говорили? Она засмеялась и сказала:

— Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы я из моего стихотворения о нем выбросила строчку о лягушке…

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Пастернак в разговорах со мной, моими родителями и друзьями не раз упоминал Анну Андреевну, что-то пересказывал с ее слов. Однажды при мне в очень важном для него разговоре целиком прочитал наизусть «Не с теми я, кто бросил землю…», сказав, что в этом стихотворении лучше всего сказано то, что он хотел бы сам выразить. В 1949 г. Пастернаку передали предложение Фадеева отмежеваться от тех, кто его хвалит на Западе. В ответ он прочитал эти стихи Ахматовой.

Летом 1949 г. Пастернак рассказывал: «Как-то мне подарили «Четыре квартета» Т.-С. Элиота, и я увидел, что для этого нужно другое знание языка: нужно ходить по улицам, ездить на подножках трамваев. И я подарил эту книгу Ахматовой. Представьте, она все это поняла!»

Другой раз в то же лето, когда заговорили о Хемингуэе, Борис Леонидович заметил: «Хемингуэй — большой, замечательный писатель. Когда я не работаю, я читаю его как обыватель, но когда я работаю, то уже здесь ни при чем Хемингуэй. Вы знаете, это лучше всего раскрылось в разговоре с Ахматовой: «Во время работы такое чувство, как в шахте у спустившихся в нее братьев-каторжан»». Однажды в 1950 г. мы заговорили с Борисом Леонидовичем о новом варианте его «Импровизации», который я прочитал незадолго до того. Борис Леонидович стал рассказывать, как он вернулся к этому стихотворению. Его заставило это сделать то, что Ахматова взяла полторы строки из

«Импровизации» эпиграфом к своему сборнику «Ива» («Из шести книг»):

И было темно. И это был пруд,
И волны…

Только эти строки Пастернак и сохранил из старого варианта. Все остальное было изменено до неузнаваемости.

Осенью пятьдесят третьего года мне попался в библиотеке, откуда я мог брать книги домой по абонементу, незадолго до того вышедший том итальянской истории всемирной литературы, где много говорилось о Пастернаке. Я занес его Борису Леонидовичу. Потом уже он мне говорил, что выписал из него для Ахматовой все то, что было связано с ней (и не выписал относящееся к себе, о чем после пожалел).

По этим разрозненным обрывкам воспоминаний видно, что в те годы Пастернак воспринимал Ахматову как человека себе близкого. Я знаю, что после начала ее травли, в ответ на первые газетные публикации Пастернак послал ей телеграмму, выражающую сочувствие и негодование. Тогда же в поношения писатели включили и его. Я знал, что они видятся часто. Но встретился я с Анной Андреевной у Бориса Леонидовича только в самом начале июня 1952 г., в Лаврушинском, до переезда на дачу, Пастернак позвал меня на чтение глав из «Доктора Живаго». Когда приглашенные начали собираться, выяснилось, что их будет меньше, чем предполагалось. Борис Леонидович обратился к Зинаиде Николаевне с вопросом, можно ли ему пригласить еще Ахматову, она здесь рядом, на Ордынке. Получив (как мне показалось, неохотное) разрешение Зинаиды Николаевны, Пастернак тотчас ушел и вскоре вернулся с Анной Андреевной.

Как это бывает после чтения, разговор не клеился. Борис Леонидович спросил Ахматову, умеет ли она читать полностью по латыни название своего сборника «Anno Domini MCMXXI». Она ответила, что когда-то могла это сделать, а сейчас не уверена. Борис Леонидович стал вспоминать многосложные латинские числительные и довольно уверенно произнес полностью все заглавие, явно гордясь своими познаниями латиниста.

Разговор растекся в стороны. Анна Андреевна вернула нас к главной теме, сказав: «Мы только что прослушали замечательную вещь. Надо о ней говорить». Это было сказано тоном решительным и почти бесстрастным. Мне показалось, что в замечании этом было больше желания сделать приятное хозяину дома, чем искренне взволнованного отклика на услышанную прозу.

Наталия Александровна Роскина:

Ахматова не читала романа Пастернака «Доктор Живаго» очень долго, хотя, перед тем как выйти в свет за границей, он, что называется, ходил по рукам. Сам Пастернак охотнейшим образом давал его читать и перепечатывать. Никому тогда и в голову не приходило, что скоро это станет криминалом. Когда я пришла к Анне Андреевне делиться впечатлениями, она, к моему удивлению, сказала, что блуждающая рукопись «Доктора Живаго» до нее не дошла. Я приняла эти слова за чистую монету и спешно постаралась достать ей экземпляр. Когда я, довольная, что так споро исполнила ее желание, привезла ей папки с машинописью обоих томов романа, Анна Андреевна схватилась за голову: «Неужели вы поверили, что я не достала рукопись? Да Борис сам сколько раз мне предлагал, да и кроме него все вокруг предлагали, но я изо всех сил старалась, чтобы эта рукопись меня не настигла. Я не верю, что мне понравится». Я готова была забрать папки назад, но Анна Андреевна остановила меня: «Не увозите. Это судьба. Теперь я прочту». Однако предчувствие ее оказалось верным, роман ей не понравился — «восхитительными» она нашла только пейзажи, особенно восторгалась описанием куста.

Разумеется, стихи из романа она знала и раньше и очень любила их.

Лидия Корнеевна Чуковская:

8 мая 1954. Я видела их обоих вместе — Ахматову и Пастернака. Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его — горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса…

В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната: столик, прикрытый потертым платком; чемоданчик на стуле; тахта-не тахта, подушка и серое одеяло на ней; ученическая лампа на столике; за окном — нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же — надо уйти и нельзя уйти.

Комната наполнена его голосом, бурным, рокочущим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видела его. Все, что в нем было восторгом, стало страданием. «Август»:

То прежний голос мой провидческий

Звучал, нетронутый распадом…

Голос прежний, нетронутый, а он — тронут, уже тронут… чем? болезнью? горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и притом неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка. А измученные, исстрадавшиеся глаза — страшны. «Его скоро у нас не будет», — вот первая мысль, пришедшая мне на ум.

Войдя, он снял со стула чемодан, сел — и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Марьиной рощей, нарочно устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть; афиши были, но на них стояло «вход по билетам», а билеты нарочно разослали учащимся ВТУЗов, которым неинтересно. — Вечер из серии: «лучше смерть», — сказала Анна Андреевна…

Когда Пастернак ушел, Анна Андреевна по своему обыкновению прилегла на постель. Помолчав, она заговорила о славе.

— Я сейчас много об этом думаю, и я пришла к твердой мысли, что это мерзость и ужас — всегда. Какая гадость была Ясная Поляна! Каждый и все, все и каждый считали Толстого своим и растаскивали по ниточке. Порядочный человек должен жить вне этого: вне поклонников, автографов, жен мироносиц — в собственной атмосфере.

О Борисе Леонидовиче сказала:

— Жаль его! Большой человек — и так страдает от тщеславия.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Много у нас было с Анной Андреевной разговоров о Пастернаке, в разные годы, в разных местах, — не помню ни одной встречи без присутствия хотя бы его имени, — но с улицей Красной Конницы, с 1959 годом связан у меня в памяти какой-то особенно мучительный разговор о нем, какой-то узел нашего взаимного непонимания, который завязался тогда в споре о романе Пастернака «Доктор Живаго» и так никогда потом и не распутывался.

Помню, было это в феврале, сгущались сумерки, и растреллиевский собор казался сумрачным на исходе короткого зимнего дня. Через неуютную безликую столовую Анна Андреевна провела меня к себе в комнату, где все показалось мне тесным,

бивуачным, неспокойным, хотя в глубине стояла та же койка, а сидели мы в тех же просиженных креслах за тем же маленьким столом, и старинный складень висел на своем месте. Анна Андреевна давно уже заметно постарела внешне, стала грузной, медлительной, почти совсем седой. И лицо ее в тени абажура показалось мне в тот вечер отекшим, нездоровым, таким усталым… <…>

О «Докторе Живаго» мы заговорили, вероятно, потому же, почему все тогда о нем говорили в нашем кругу: еще у всех были в памяти «пастернаковские дни» (выражение Ахматовой), события, связанные с Нобелевской премией. Естественно, что отношение к событиям было у нас одним и тем же, и не об этом шла речь. Анна Андреевна высказывала свое отношение к роману, которое у нее сложилось задолго до этих событий и о котором она теперь могла говорить только доверительно. Было больно слышать, как резко она отвергала роман, что называется, с порога, даже не критикуя, не анализируя, обходя молчанием все самое главное в нем, всю его философскую сущность, все социальные мотивы, всю нравственную программу, весь его стилевой строй. Ее неприятие было почти голословным. Нападала она, собственно, главным образом на психологическую сторону произведения, которая ее раздражала и казалась ей беспомощной, выдуманной: «Зачем ему это понадобилось?» (Это было страшно слышать из ее уст: она ведь не могла не знать, что значила для Пастернака его последняя проза, какое огромное место она заняла в его жизни.) «Все, все выдумано и плохо написано, кроме пейзажей. Уральские пейзажи великолепны — еще бы!.. А женщин никогда таких не было». На это она особенно упирала. Ее одинаково возмущали обе героини — и Лара, и Тоня. «Стихи из романа» она находила «прекрасными», правда, тут же добавляя: «Но не все».

Вообще критиковала она Бориса Леонидовича в последние годы и часто, и ожесточенно. Могла с удовольствием, например, повторить кем-то выданную «сентенцию»: «Пастернак всегда бросается вплавь: выплывет — хорошо; нет — значит, тонет». Мне казалось, что повторять это ей бы не следовало, не пристало, и я даже решался ей об этом говорить. Могла вдруг, ни с того ни с сего, рассердиться: «Как может поэт сказать: «Вошла со стулом…»?!» На что я, не выдержав, завопил: «А как может поэт сказать: «Я надела узкую юбку»?!» «Но ведь я же девчонкой была, когда это писала, надо понимать», — парировала Анна Андреевна, сердясь уже больше на меня, чем на Пастернака…

Да, Анна Андреевна нередко говорила о нем зло — не злобно, нет, а именно зло, но так зло, как все мы иной раз почему-то

способны говорить о самых любимых, о самых дорогих нам людях. А потом, когда остывали злые гиперболы и утихал поток несправедливых обвинений, уже даже не вне всего этого, а где-то высоко над этим всем, вдруг выплывала такая ахматовская строфа, обращенная к Пастернаку:

Здесь все тебе принадлежит по праву,
Стеной стоят дремучие дожди.
Отдай другим игрушку мира — славу,
Иди домой и ничего не жди.

Некоторые резкие высказывания Анны Андреевны, по-видимому, как-то доходили до Бориса Леонидовича, — находились люди, которые об этом заботились, как всегда бывает. Их отношения ухудшились; последнее время они совсем не виделись.

Где-то в подпочве теперешних резкостей Анны Андреевны по адресу Пастернака мне иногда чудилась какая-то ее давняя обида, может быть, даже больше — незаживающая старая рана. Думаю, что она ему не прощала, вернее, не могла простить равнодушия к своим стихам. Я ни разу от нее не слыхал ни слова об этом. Но твердо уверен в том, что больше всего ее волновало отношение Пастернака к ее стихам, особенно к новым. Ведь она знала его автобиографию («Вступительный очерк» к Собранию стихов), где так много говорится о значении в его жизни поэзии Цветаевой, а Ахматовой уделено несколько строк, почти вскользь, да еще как-то странно смещены названия ее книг (речь идет, по-видимому, о «Вечере» или о «Четках», а назван «Подорожник»).

Она не могла, конечно, не помнить прекрасного стихотворения «Анне Ахматовой» 1928 года, но почему-то никогда о нем теперь не говорила. Не потому ли, что пастернаковский набросок ее облика (бессонная швея в призрачном свете белой ночи) был скорее изящным, чем вещим, а определение ее лирики («…где крепли прозы пристальной крупицы») исходило из самых ранних ее признаков и как будто ими ограничивалось?

Две небольшие, теперь такие для нас драгоценные статьи, написанные Пастернаком в связи с выходом в свет ташкентской книжки «Избранных стихов» Ахматовой в 1943 году, оставались неопубликованными. Анна Андреевна дала мне переписанный на машинке экземпляр, но, насколько помню, ничего по существу этих статей тогда не сказала. В приписке, сделанной им годом позже, 1 ноября 1944 года, очевидно при посылке статей Анне Андреевне, Борис Леонидович считал необходимым пояснить:

«Предназначалось для «Литературы и искусства» осенью 1943 года, откуда и «трезвость» и объективность тона!» Может быть, Анна Андреевна ждала от него чего-то другого. Не из тщеславия, конечно, но потому, что слишком важен был для нее непосредственный отклик Пастернака-поэта на стихи, которыми она дорожила. Как дорого ей было, например, то, что и Пастернак, и Мандельштам считали стихотворение «Привольем пахнет дикий мед…» одним из лучших ее стихотворений… <…>

Позднее, в откликах Пастернака на «Поэму без героя», Анна Андреевна помнила и ценила каждое слово. Но помнила она и другое: прежде всего его стихи, многие — наизусть. Они в ней жили какой-то особой своей жизнью, как будто таились до времени и вдруг выплывали на поверхность цитат, эпиграфов, писем. <…>

Помнила она с благодарностью, как Борис Леонидович тревожился о ней, как приезжал к ней в Ленинград, как помогал ей деньгами в самые тяжелые для нее времена. Очень помнила и те времена, когда он был в нее влюблен, и очень бурно, хотя и безответно. Вспоминала она и их встречу в Боткинской больнице, куда она пришла его навестить весной 1952 года, особенно один какой-то их разговор на площадке лестницы, у окна, когда он ей сказал что-то самое важное о себе, почему он теперь не боится смерти. Она мне об этом рассказала ровно через восемь лет, в палате той же Боткинской больницы, когда я пришел к ней на другой день после смерти Бориса Леонидовича, чтобы подготовить ее к этому удару (самое сообщение взяла на себя пришедшая к ней вслед за мной М. С. Петровых). К своему рассказу Анна Андреевна прибавила, что недавно перед тем самым окном в больничном дворе «совершенно незаконно», раньше времени зацвела липа. Через несколько месяцев я записал под ее диктовку:

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела.
И одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела —
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

Листок этот подписан: Анна Ахматова. 1960. Москва.

Незадолго до смерти Бориса Леонидовича Анна Андреевна была у него в Переделкине. Решила поехать, кажется, не без

колебаний: они уже давно не виделись. Я не знал, что она туда поехала. Вдруг в час ночи звонок по телефону — голос Анны Андреевны, которая никогда мне так поздно не звонила. «Мне именно вам захотелось позвонить, — я была в Переделкине». У нее было, по ее словам, такое чувство, что они помирились, хотя ее к нему в комнату уже не могли пустить, только сказали ему, что она здесь, рядом. Запомнились ее слова: «Я так рада, что у него побывала. Плохо совсем. Мучается. Бедненький наш Борисик…»

«Борисик…» Это слово и прежде изредка мелькало среди разных разностей, которые она о нем говорила.

Давно уже знала она тяжесть невыплаканных слез, которые «внутри скипелись сами», давно научилась завидовать тем, «кто плачет, кто может плакать…». Она и в этом не побоялась признаться в своих стихах. Но когда ей сказали о смерти Бориса Леонидовича, ее глаза были полны слез, и, увидев это, невозможно было этого не запомнить (это — со слов М. С. Петровых).

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

О дружеском общении Ахматовой с Пастернаком и о том, что она в полной мере представляла себе размеры его дарования, хорошо известно. Отчасти — из скорбных стихов, посвященных ею памяти поэта. Но известны и ее критические оговорки по отношению к Пастернаку. Могу подтвердить, например, уже отмеченный мемуаристами ее отрицательный отзыв о его романе и о поэме «Спекторский». По ее мнению, Пастернаку роковым образом не удавалось создавать образы персонажей, существующих вне его собственного сознания: он неизбежно превращал их в проекции своей личности. При этом Ахматовой представлялось, что и в жизни Пастернак был заворожен своим *я* и его сферой. Она считала, что Пастернак мало интересуется «чужим», в частности ее поздней поэзией. (Она говорила об этом с некоторым раздражением и до, и после смерти поэта.) Это было ее твердое и устойчивое мнение, в котором, с моей точки зрения, объективное, может быть, и преобладало над субъективным. Но однажды мне по-казалось, что такое соотношение критериев в словах Анны Андреевны о Пастернаке, вернее, в их тоне приобрело обратный порядок. Как-то, вернувшись из Москвы вскоре после присуждения Пастернаку Нобелевской премии и бурных событий в его жизни, Ахматова в своей обычной афористической форме резюмировала в разговоре со мною свои впечатления от встречи с поэтом: «Знаменит, богат, красив». Все это соответствовало истине. Но истина в таком определении

выглядела неполной, какой-то недобро сдвинутой. Чего-то очень важного для определения жизни Пастернака тех лет — жизни сложной и не такой уж благополучной — в этой формуле и в интонации, с которой она была произнесена, не хватало. Анна Андреевна могла бы найти тогда и другие слова о Пастернаке — она знала о нем все, что для этого требовалось. Но эти слова не прозвучали — их заслонила какая-то тень, которую порою можно было уловить в несомненном дружественном расположении Анны Андреевны к Пастернаку.

Сергей Васильевич Шервинский:

Анна Андреевна и Борис Леонидович были с юности друзьями. Затем, примерно с пятидесятых годов, обозначилось некоторое их расхождение. Я не берусь судить, были ли у этого «конкретные» причины и какие. Но смею думать, что на склоне лет эти два громадные дарования просто перестали нуждаться друг в друге. Оба они к этому времени наряду с нарастающей популярностью стали все более и более углубляться сами в себя, и это привело, во всяком случае Анну Ахматову, к некоторому «величественному эгоцентризму». Суровое барокко подступившей старости стало искажать ее обаятельный образ. Правда, Анна Андреевна была слишком умна, чтобы воображать себя Анной-пророчицей или мечтать о славе Семирамиды. Но все же она, как мне представляется, в те годы не отказалась бы от мечты о памятнике на гранитной набережной Невы. Борис Леонидович переживал затянувшийся душевный кризис, что не мешало ему оставаться на вершине мировой славы. Он был окружен поклонением на своей переделкинской даче. Ахматова тоже к этому времени утвердилась на своей вершине.

Лидия Яковлевна Гкнзбург:

Ахматова считала Пастернака удачником по природе и во всем — даже в неудачах.

У А.А. был свой вариант (совсем непохожий) эпизода, рассказанного Пастернаком в его автобиографии («Люди и положения»). Излагала она его так: четырехлетний Пастернак как-то проснулся ночью и заплакал, ему было страшно. В ночной рубашке, босиком он побежал в соседнюю комнату. Там его мать играла на рояле, а рядом в кресле сидел старик с бородой и плакал. На другой день мальчику объяснили, что старик — это Лев Толстой.

— Боренька знал, когда проснуться… — добавляла Анна Андреевна.

— Какие прекрасные похороны, — говорила она о стихийных

похоронах Пастернака, когда Рихтер, Юдина, Нейгауз, сменяя друг друга, играли на домашнем рояле.

Какие прекрасные похороны… Оттенок зависти к последней удаче удачника.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Когда хоронили Пастернака, Ахматова была в больнице. На другой день после похорон я поехал ее навещать. Она вышла со мной из палаты в коридор, мы нашли место, где можно было разговаривать. Ахматова выслушала мой рассказ о похоронах и сказала: «У меня такое чувство, что это как торжество, большой религиозный праздник. Так было, когда умер Блок».

Бродский

Наталия Александровна Роскина:

Бродского она очень любила, очень ценила его стихи. Мне кажется, это был единственный поэт из молодых, кто был ей действительно по душе. Он ей импонировал, в частности, своей образованностью и одухотворенностью. Анна Андреевна редко читала вслух чужие стихи. Для Бродского она делала исключение. Многие его строчки она постоянно вспоминала, например: «Вы напишете о нас наискосок». Этот стих, характеризующий ее почерк (строчки загибались у нее вверх), она сделала даже эпиграфом (к стихотворению «Последняя роза»),

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Волков. Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Ахматовой?

Бродский. Это было, если я не ошибаюсь, в 1962 году, то есть мне было года двадцать два. Евгений Рейн привез меня к ней на дачу. Самое интересное, что начало этих встреч я помню не очень отчетливо. До меня как-то не доходило, с кем я имею дело. Тем более что Ахматова кое-какие из моих стихов похвалила. А меня похвалы не особенно интересовали.

Так я побывал у нее на даче раза три-четыре, вместе с Рейном и Найманом. И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял — знаете, вдруг как бы спадает завеса, — с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы — и вдруг все стало на свои места. С тех пор я не то чтобы зачастил к Ахматовой, но, в общем, виделся с ней довольно регулярно. Я даже снимал дачу в Комарове в одну из зим. Тогда мы с ней виделись буквально каждый день. Дело было вовсе не в литературе, а в чисто человеческой и — смею сказать — обоюдной привязанности. Между прочим, как-то раз произошла замечательная сцена. Мы сидели у нее на веранде, где имели место все разговоры, а также завтраки, ужины и все прочее, как полагается. И Ахматова вдруг говорит: «Вообще, Иосиф, я не понимаю, что происходит; вам же не могут нравиться мои стихи». Я, конечно, взвился, заверещал, что ровно наоборот. Но до известной степени, задним числом, она была права. То есть в те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то и не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек. «Сероглазый король»

был решительно не для меня, как и «правая рука», «перчатка с левой руки» — все эти дела не представлялись мне такими уж большими поэтическими достижениями. Я думал так, пока не наткнулся на другие ее стихи, более поздние…

Евгений Борисович Рейн:

В своем интервью, вспоминая Ахматову, Бродский довольно подробно пишет о том, как он впервые побывал в Комарово на даче у Ахматовой и познакомился с ней. Да, все было действительно так, как пишет Иосиф, и повез его в Комарово я, предварительно договорившись с Ахматовой. Иосиф захватил с собой фотоаппарат и начал снимать еще на вокзале. Помнится мне, что фотопленка в этот день была отщелкана целиком и Иосиф подарил мне потом три или четыре кадрика, снятых тогда. Кто знает, может быть, где-нибудь сохранились и остальные. Пришли мы к Анне Андреевне раньше назначенного часа, у нее сидели какие-то иностранцы, и мы пошли на Щучье озеро «прогулять время».

Когда мы снова вернулись в Будку, иностранцев уже не было. После нескольких общесветских минут нас пригласили пить чай. В этот вечер Иосиф читал стихи, не очень много — 5 или 6 стихотворений. Я же прочитал только одно, написанное накануне. Оно потом было напечатано в моей книжке «Имена мостов», это стихотворение «Младенчество, Адмиралтейство…». Речь зашла о так называемом герметизме, о темных запутанных стихах, усложненных ассоциациях, которые могут дойти разве что до самого узкого круга людей, а иногда понятны только самому поэту. Ахматова сказала: «Важно только одно, чтобы сам автор имел нечто в виду».

Спустя долгие годы я стал припоминать дату этого визита, из этого, конечно, ничего не получилось, но зато я напал на верную примету. Я вспомнил, что весь путь от Ленинграда до комаровской платформы сопровождался передававшимся из специально включенных репродукторов репортажем о запуске в космос Германа Титова. А он совершил свой космический рейс 7 августа 1961 г. Так оказалось, что и «у этого воспоминания есть свое число и листок в календаре», как сказала когда-то сама Ахматова, описывая свою встречу с Блоком в поезде на станции Подсолнечная (ее в записной книжке отметил Блок и, естественно, датировал).

Лидия Корнеевна Чуковская:

15 октября 1963. …Вошел — не знаю откуда, с улицы или из соседней комнаты (если таковая существует) — высокий,

рыжеватый, крупного сложения молодой человек. С Анной Андреевной он не поздоровался (наверное, они сегодня уже виделись), Володе (Корнилову. — *Сост.*) кивнул небрежно. — Лидия Корнеевна, — сказала Анна Андреевна, — позвольте вам представить: Иосиф Бродский… Иосиф, познакомьтесь, пожалуйста, это Лидия Корнеевна Чуковская.

Бродский поклонился, и мы пожали друг другу руки. Странное у него лицо. Странность в том, что хотя голова и все черты вылеплены крупно, отчетливо и не косит он нисколько, но в лице как будто нету центра, оно рассредоточено, как бывает у тех, у кого глаза смотрят в разные стороны… Однако длилось такое мое впечатление всего один миг. В следующий — лицо это сосредоточилось и оживилось…

20 октября. …В разговоре Анна Андреевна с благодарной нежностью поминала о Бродском: «Иосиф воды натаскал… Рыжий печку истопил».

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

…Всякая встреча с Ахматовой была для меня довольно-таки замечательным переживанием. Когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты. Гораздо лучшим. С человеком, который одной интонацией своей тебя преображает. И Ахматова уже одним только тоном голоса или поворотом головы превращала вас в хомо сапиенс. Ничего подобного со мной ни раньше, ни, думаю, впоследствии не происходило. Может быть, еще и потому, что я тогда молодой был. Стадии развития не повторяются.

В разговорах с ней, просто в питье с ней чая или, скажем, водки, ты быстрее становился христианином — человеком в христианском смысле этого слова, — нежели читая соответствующие тексты или ходя в церковь. Роль поэта в обществе сводится в немалой степени именно к этому.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

После лета в Комарове, когда Бродский и его друзья приезжали к ней чуть не каждый день, Ахматова, приехав в Москву, рассказывала мне, что как-то Бродский пропал, несколько дней его не было. Когда наконец он появился и она спросила, что с ним случилось, он ответил, что ему не с чем было приехать. И она хорошо это поняла: он каждый раз приезжал или с новым стихотворением, или с новой пластинкой старого композитора, с которым хотел познакомить и Ахматову.

Наталия Александровна Роскина:

Арест Бродского и суд над ним также бросили мрачную тень на последние годы Ахматовой.

Лидия Корнеевна Чуковская:

2 *декабря 1963.* …29 ноября в газете «Вечерний Ленинград» появилась статья о Бродском — статья страшная: называют его «окололитературным трутнем», «тунеядцем», а у нас тунеядство — обвинение нешуточное, могут и выслать и посадить. То, что Иосиф — поэт, ему не защита: поэтами и вообще литераторами признаются только члены Союза или хоть какого-нибудь группкома. Бродский же не член ничего, а просто поэт. Да еще непечатающийся. Правда, Бродский переводит с польского, а труд переводчика у нас трудом признается, но только при наличии договора с издательством. По слухам же, объяснила мне Анна Андреевна, Косолапов, директор Гослита, собирается договоры с Бродским спешно расторгнуть.

Анна Андреевна встревожена и от тревоги больна. Неужели вот так, до последнего дня своего, осуждена она терзаться судьбами друзей? Терзается: она полагает, что в глазах начальства Бродскому повредила его дружба с нею.

— Будут говорить: он антисоветчик, потому что его воспитала Ахматова. «Ахматовский выкормыш». Сказать, разумеется, все можно. Но из чего же следует, что Бродский — антисоветчик? На самом деле, в стихах Бродского — в тех, какие известны мне, — нету ничего а) антисоветского; б) ахматовского. Никакой связи с поэзией Анны Ахматовой (и вообще с чьей бы то ни было) я в стихотворениях Бродского не улавливаю, я не в состоянии понять, откуда они растут. Советской властью он, по-видимому, не интересуется вовсе, и трудно сообразить, почему она интересуется им?

Я прочла валяющуюся на столе статью и уверила Анну Андреевну, что упрек в ахматовщине там начисто отсутствует, хотя и мелется какая-то привычная галиматья насчет модернизма, пессимизма и декадентщины. Цитаты же из стихотворений вырваны так, что вообще ни о чем не свидетельствуют.

— Еще бы! — сказала Анна Андреевна измученным голосом. — Там нет ни одной строки из стихотворений Бродского. Все чужие.

Легла на тахту, на спину, руки вдоль тела. Я спросила, припасен ли поблизости нитроглицерин? Она молча кивнула. Потом помотала головой по подушке: не надо, пройдет и так…

14 марта 1964. Анна Андреевна снова у Ардовых. Лежит. У ног — грелка. Правой рукой растирает левую от локтя к плечу, от плеча к локтю. Встретила меня словами: «Проводится успешная подготовка к третьему инфаркту»

Если третий инфаркт случится, можно будет присвоить ему звание «имени Бродского». Вчера в Ленинграде судили Иосифа. И осудили. Подробностей мы еще не знаем: Фридочка еще не вернулась, но знаем приговор. За тунеядство — 5 лет. Но 5 лет чего? Тюрьмы? Ссылки? Это нам еще неизвестно. Во всяком случае ложь взяла верх: поэт Бродский признан тунеядцем. Весь вечер вчера и до двух часов ночи мы перезванивались — я из Переделкина в Москву, а москвичи с Ленинградом и друг с другом. Очень долго никаких вестей. Наконец, в два часа ночи из Ленинграда Анне Андреевне дозвонился плачущий Миша Ардов…

22 *апреля 1964.* …Был у нее Миша Мейлах, навещавший Иосифа в ссылке (один из преданнейших Бродскому молодых ленинградцев).

— Вообразите, Иосиф говорит: «Никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если б они хотели, они освободили бы меня в два дня». («Они» — это мы!)

Взрыв. Образчик ахматовской неистовой речи.

— За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного человека изо всех восемнадцати миллионов репрессированных! И Фрида, и я, и вы, и Твардовский, и Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич. И Копелевы. Это на моих глазах, а сколькие еще, именитые и не именитые, в Ленинграде! А у него типичный лагерный психоз — это мне знакомо: Лёва говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу в лагере…

Я подумала: Лёва пробыл в тюрьмах и лагерях лет двадцать без малого, а Иосиф — без малого три недели. Да и не в тюрьме, не в лагере, а всего лишь в ссылке.

Анна Андреевна задыхалась от гнева. Вот почему она сегодня больная. Не следовало сообщать ей, что говорит Иосиф. Все мы не умеем беречь ее сердце, все! Мне, например, Мишино сообщение трын-трава, пусть думает и говорит обо мне и о нас Иосиф все, что хочет, а ей каково: Бродский ведь ее открытие, ее гордость…

25 *сентября 1965.* Бродский… Освобожденный Бродский.

Он приехал в Москву раньше, чем в Ленинград. С ним вместе мы позвонили в Ленинград, Анне Андреевне. Я отдала ему трубку, а сама ушла в кухню жарить яичницу…

Он как-то еще вырос и поширел. Большой, будто сильный. Но и потрясенный: не кончает фраз, бегает по комнате, все время

крутит пальцами.

Одет плохо. Но и это его не портит. Доброта, простодушие, ум, дурной нрав, ребячливость — прямой поэт.

Анатолий Генрихович Найман:

Бродский… освободившись, приехал в Комарово и немедленно стал копать под Будкой бомбоубежище для Ахматовой. Придя из леса, я застал его уже по плечи в яме, а ее у окна, улыбающейся, но немного растерянной: «Он говорит, что на случай атомной бомбардировки».

Лидия Корнеевна Чуковская:

20 февраля 1966. «Лицо Ахматовой — единственно прекрасное в мире, что осталось у нас», — сказал мне перед своим отъездом в Ленинград Иосиф.

Томас Венцлова:

Несколько слов о Бродском. У него сейчас дочь… Зовут ее Анна Александра Мария. Анна — в честь Анны Андреевны, Александра — в честь отца Иосифа, и Мария — в честь матери Иосифа. Дочь трех имен.

Младшие современники

Маргарита Иосифовна Алигер:

С напряженным и даже несколько ревнивым интересом следила она за успехом некоторых бурно входящих в моду молодых поэтов, считая явления подобного рода преходящими и временными и абсолютно противопоказанными истинной поэзии.

— Все это было, все это уже было, я сама видела, я отлично помню, — говорила она. — Были знаменитые писатели, модные, известные, богатые… У них были красивые жены и роскошные дачи… И все это, казалось, навечно… А теперь и имени их никто не помнит… Нет, нет, поверьте мне, — взволнованно повторяла она, — я-то знаю, я-то помню. То же самое происходило с Северяниным. Головокружительный успех, громкая слава… Никому из нас и не снилось ничего подобного. Но продержалась она года два, а там стала утихать, из Петербурга и Москвы отхлынула в провинцию и там постепенно совсем заглохла… То же самое будет и с ними, поверьте мне. Сегодня в Ленинграде и в Москве истинные любители поэзии и думать о них забыли, их интересует совсем другое… Уверяю вас!..

Это было несправедливо, я была не согласна с ней, но спорить не умела. Думаю, она относилась бы к новым поэтам по-другому, если бы лучше и ближе узнала их, если бы их отношения сложились иначе и приняли более простой и естественный характер. Но этого почему-то не получилось. Белле Ахмадулиной нелепо не повезло: она пригласила Ахматову на дачу и заехала за ней на машине, но едва они отъехали, как машина сломалась и Белле пришлось заняться ремонтом, а Анне Андреевне возвращаться домой. Не знаю уж, кто виноват, но больше они так и не встретились. Приходил к ней однажды при мне Андрей Вознесенский, и разговор у них был добрый и дружеский — Анна Андреевна даже захотела сделать ему надпись на своей книге. Но и они почему-то больше не встречались. Убеждена, что ничего рокового и преднамеренного тут не было, просто так уж как-то нелепо и неудачно складывались обстоятельства.

Но истинного ее отношения к стихам известных молодых поэтов я, в сущности, не знаю, и это не случайно. Думаю, что она никак не относилась к их поэзии, не воспринимала да, собственно, может быть, и не знала ее. Но именно от нее я впервые узнала стихи Арсения Тарковского, который долгие годы был известен только как замечательный переводчик, — первая книга его собственных стихов вышла только в конце пятидесятых

годов. <…>

Она бережно хранила и показывала друзьям стихи молодых поэтов, принадлежащих к ее близкому окружению, — большинство из них были ленинградцы…

Наталия Александровна Роскина:

На волне этого взрыва любви к поэзии поднялись и тогдашние молодежные кумиры: Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина. Ей не нравилась их шумность, их сенсационность, жадность до публики — ей и ее кругу представлений о поэте все это было очень чуждо. Она рассказывала мне, что Ахмадулина была у нее три раза, желая почитать ей свои стихи, но все неудачно: каждый раз у Анны Андреевны начинался приступ стенокардии. Был у нее и Окуджава, и вот его стихи и пение ей нравилось (а Новелла Матвеева почему-то нет). Ей он был интересен и интересен секрет его успеха. Она вообще любила шансонье — еще со времен Вертинского. «Вертинский — это эпоха». Позднее она была очарована Галичем. Как-то я пришла к ней, году в 65-м; вместо «здравствуйте» она сказала мне: «Песенника арестовали». — «Какого песенника?» — «Галича». Дома я узнала, что этот слух уже широко гуляет по Москве, но, к счастью, он не подтвердился.

Вообще же про стихи «молодых» она говорила, что все они кажутся ей слишком длинными.

Лидия Корнеевна Чуковская:

28 мая 1965. …Возник обычный общий разговор о Евтушенко, Вознесенском и Ахмадулиной. О Евтушенко и Ахмадулиной говорили по-разному, о Вознесенском же все с неприятием.

— «Мальчик Андрюшечка», как называли его у Пастернаков, — сказала Анна Андреевна. — Вчера он мне позвонил. «Я лечу в Лондон… огорчительно, что у нас с вами разные маршруты… Я хотел бы присутствовать на церемонии в Оксфорде». Вовсе незачем, ответила я. На этой церемонии должен присутствовать один-единственный человек: я. Свиданий ему не назначила: ни у Большого Бена, ни у Анти-Бена… Разговор впал в обычную колею: вот мы сидим, недоумеваем, бранимся, а Вознесенский, Евтушенко и Ахмадулина имеют бешеный успех.

— Надо признать, — сказала Анна Андреевна, — что все трое — виртуозные эстрадники. Мы судим их меркой поэзии. Между тем, эстрадничество тоже искусство, но другое, к поэзии прямого отношения не имеющее. Они держат аудиторию вот так — ни на секунду не отпуская. (Она туго сжала руку и поставила кулак на стол.) А поэзия — поэзией. Другой жанр. Меня принудили

прочесть «Озу» Вознесенского, какое это кощунство, какие выкрутасы…

Александр Семенович Кушнер:

Говорила о молодых московских поэтах, неодобрительно, называя их эстрадниками. Таким был в прошлом веке Надсон, а уже на ее памяти — Северянин. А во время войны, в Ташкенте, она выступала в госпитале (или перед эвакуированными? — я не понял). «Когда читал поэт Гусев длинные, ужасные стихи про медсестру, ему так хлопали, что, казалось, должна была упасть люстра». «Они пишут в расчете на произнесение с эстрады, а не на чтение с листа». «Колизей какой-то, древние римляне. Только вместо Колизея — Лужники. А стихи вместо футбола».

Георгий Викторович Адамович:

В разговоре я назвал имя Евтушенко. Анна Андреевна не без пренебрежения отозвалась о его эстрадных триумфах. Мне это пренебрежение показалось несправедливым: эстрада эстрадой, но не все же ею исчерпывается! Ахматова слегка пожала плечами, стала возражать и наконец, будто желая прекратить спор, сказала:

— Вы напрасно стараетесь убедить меня, что Евтушенко очень талантлив. Это я знаю сама.

Детство и отрочество

Анна Андреевна Ахматова:

Я родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии — 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь — 23 июня (Midsummer Night)…

…Я родилась 11 (23) июня 1889 года под Одессой (Большой Фонтан). Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север — в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания — царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду». <…>

Читать я училась по азбуке Льва Толстого. В пять лет, слушая, как учительница занималась со старшими детьми, я тоже начала говорить по-французски. Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфирородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама. Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.

Аманда Хейт:

В доме царила довольно необычная для детства будущего поэта обстановка. Книг, очевидно, не было совсем, за исключением толстого тома Некрасова, который Анне позволяли читать на каникулах. У матери, по-видимому, все же был какой-то вкус к поэзии — она читала своим детям Некрасова и Державина. Но почему-то, прежде чем была написана первая строчка, все были уверены, что Аня непременно будет поэтом. Отец дразнил ее декадентской поэтессой.

Валерия Сергеевна Срезневская:

Совсем маленькой девочкой она писала стихи. И отец в шутку называл ее поэтом. Непокорная и чересчур свободолюбивая, она в семье была очень любима, но не пользовалась большим доверием. Все считали, что она может наделать много хлопот: уйти на долгое время из дома, не сказав никому ни слова, или уплыть

далеко-далеко в море, где уже и татарчата не догонят ее, вскарабкаться на крышу — поговорить с луной, — словом, огорчить прелестную синеглазую маму и добродушную и веселую фрейлейн Монику. Вот мое первое впечатление от высокой, слишком тоненькой стриженой девочки.

Виталий Яковлевич Виленкин:

В мрачноватой царскосельской квартире Горенко на углу Безымянного переулка и Широкой улицы из-за тяжелого характера отца атмосфера часто сгущается, девочке живется невесело, одиноко. Дружит она, кажется, только со старшим братом Андреем (у нее были три сестры и два брата) и со своей соседкой Валей Тюльпановой. Но пока она еще маленькая, ей приходится чинно гулять по паркам с гувернанткой-француженкой. Девочка ноет, что ей «ску-учно-о», на что следует невозмутимый и неизменный ответ: «Не понимаю почему. Есть столько занятий. Вы можете, например, нарвать цветов и возложить их на могилу собак ее величества», — ответ, от которого становится уже нестерпимо тошно.

Валерия Сергеевна Срезневская:

Она была неутомимой наядой в воде, неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба. Почему-то ее считали «лунатичкой», и она не очень импонировала «добродетельным» обывательницам затхлого и очень дурно и глупо воспитанного Царского Села, имевшего все недостатки близкой столицы без ее достоинств, как и полагается пригородам.

Анна Андреевна Ахматова:

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древний Херсонес, около которого мы жили.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Здесь можно без всякого надзора, без удержу, часами плескаться в море, заплывать бог знает куда, чувствуя себя как дома в морской стихии, с полной готовностью откликаясь на чье-нибудь досужее предложение: «Девочка, а ну нырни, достань гривенник!»

Анна Андреевна Ахматова (по записи Л. К. Чуковской. 22 октября 1940):

Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой…

У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды на обратном пути дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной — говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: «А где же Аня?» — «Выбросилась». А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега…

Анна Андреевна Ахматова:

Языческое детство. В окрестностях этой дачи («Отрада», Стрелецкая бухта, Херсонес. Непосредственно отсюда античность — эллинизм) я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытом море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень. Однако в Царском Селе она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал ее с собой в оперу (в гимназическом платье) в Мариинский театр (ложа). Бывала в Эрмитаже, в Музее Александра III и на картинных выставках. Весной и осенью в Павловске на музыке — Вокзал… Музеи и картинные выставки… Зимой часто на катке в парке.

В Царскосельских парках тоже античность, но совсем иная (статуи). Читала много и постоянно. Большое (по-моему) влияние (на нее) оказал тогдашний властитель дум Кнут Гамсун («Загадки и тайна»); Пан, Виктория меньше. Другой властитель Ибсен… Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась. В классе дружила только с Тамарой

Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни…

Валерия Сергеевна Срезневская:

В своей семье Аня больше дружила с братом Андреем, года на два старше ее. Очень бледный, не по летам развитой и одаренный мальчик. Привыкнув говорить в семье по-французски (мать Ани иначе не говорила с детьми), они, то есть Аня и Андрей, были на «вы», что меня удивляло вначале. У нас в семье ни о каких «вы» не могло быть и речи, несмотря на иностранных гувернанток. До англичанки, приходившей к старшей сестре, гулявшей с ней и читавшей ей, которую мы видели только за завтраком, — моя любимая мадам Регори мне всегда говорила «ты», вероятно, оттого, что я была еще очень мала; к старшим, естественно, она обращалась на «вы». В доме Горенко не было большого чинопочитания — у нас оно было очень развито, и мне доставляло много удовольствия бывать у них… Мне кажется, что Аня в семье пользовалась большой свободой. Она не признавала никакого насилия над собой — ни в физическом, ни тем более в психологическом плане.

Мы много гуляли, и в тех прогулках, особенно когда мы не торопясь шли из гимназии домой, нас часто «ловил» поджидавший где-то за углом Николай Степанович. Сознаюсь… мы обе не радовались этому (злые, гадкие девчонки!), и мы его часто принимались изводить. Зная, что Коля терпеть не может немецкий язык, мы начинали вслух вдвоем читать длиннейшие немецкие стихи вроде «Sangers Fluch» Уланда (или Ленау, уж не помню…). И этого риторически цветистого стихотворения, которое мы запомнили на всю жизнь, нам хватало на всю дорогу. А бедный Коля терпеливо, стоически слушал его всю дорогу и все-таки доходил с нами до самого дома! Ну не гадкие ли это, зловредные маленькие женщины! Мне и сейчас и смешно и грустно вспоминать об этом.

Анна Андреевна Ахматова (по записи Л. К. Чуковской. 20 июля 1939):

В гимназии, в Царском, был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла — кажется, за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала — мне будет выговор: не так сижу или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем, я не думала об этом много, «мы ленивы и нелюбопытны». И вот настало расставание: начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы,

речи, слезы. И я была. Вечер кончился, и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу — это начальница меня зовет. Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит:

— Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Как-то разговорившись в гостях у нас, Ахматова рассказала, как впервые открыла в себе дар вещуньи-прорицательницы совсем юной девушкой, лет в шестнадцать. По ее словам, внезапному предвидению всегда предшествует состояние расслабленности, граничащей со сном или обмороком. Ахматова говорила: «Нужно быть вялой, никакой сосредоточенности, никакого сознательного усилия». Она чувствовала себя обмякшей, в каком-то полубессознательно-сером состоянии. И, полулежа на диване (на юге, летом, в имении, про которое: «А мы живем как при Екатерине…»), услышала, как ее пожилые родственницы судачат об их молодой удачливой соседке — какая та блестящая, сколько поклонников, красавица. И вдруг, сама не понимая как, Ахматова случайно бросила: «Если она не умрет шестнадцати лет от чахотки в Ницце». Так и случилось.

«Из логова змиева, из города Киева…»

Анна Андреевна Ахматова:

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.

Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

Вера Адольфовна Беер (1889–1976), *педагог, соученица Ахматовой по Киево-Фундуклеевской женской гимназии:*

Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью густо, медленно разносится благовест. Хочется зайти в древний храм Св. Софии, но я ведь принадлежу к «передовым», и в церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико. Запах распускающихся листьев, золотые звезды, загорающиеся на высоком чистом небе, и эти медленные торжественные звуки — все это создает такое настроение, что хочется отойти от обыденного.

В церкви полумрак. Народу мало. Усердно кладут земные поклоны старушки-богомолки, истово крестятся и шепчут молитвы. Налево, в темном приделе, вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она никого не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит. Сдерживаю свое первоначальное желание окликнуть ее. Чувствую, что ей мешать нельзя. В голове опять возникают мысли: «Какая странная Горенко. Какая она своеобразная».

Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом. Несколько раз хотела заговорить с ней о встрече в церкви. Но всегда что-то останавливало. Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит.

* * *

Урок психологии в выпускном (седьмом) классе Киево-Фундуклеевской женской гимназии. Предмет трудный, но преподается он интересно — учитель Шпет, Густав Густавович, заставляет задумываться над рядом вопросов, сложных для нас, юных девушек, и на многое, бывшее прежде неясным, туманным, проливается яркий свет.

Сегодня урок посвящен ассоциативным представлениям. Густав Густавович предлагает нам самостоятельно привести ряд примеров из жизни или из литературы, когда одно представление вызывает в памяти другое. Дружным смехом сопровождается напоминание, как у мистрис Никльби из романа Диккенса «Николас Никльби», пользовавшегося у нас тогда большим успехом, погожее майское утро связывается с поросенком, жаренным с луком. И вдруг раздается спокойный, не то ленивый, не то монотонный голос:

Столетия-фонарики!
О сколько вас во тьме,
На прочной нити времени,
протянутой в уме!

Торжественный размер, своеобразная манера чтения, необычные для нас образы заставляют насторожиться. Мы все смотрим на Аню Горенко, которая даже не встала, а говорит как во сне. Легкая улыбка, игравшая на лице Густава Густавовича, исчезла.

«Чьи это стихи?» — проверяет он ее. Раздается слегка презрительный ответ: «Валерия Брюсова». О Брюсове слышали тогда очень немногие из нас, а знать его стихи так, как Аня Горенко, никто, конечно, не мог. «Пример г-жи Горенко очень интересен», — говорит Густав Густавович. И он продолжает чтение и комментирование стихотворения, начатого Горенкой. На ее сжатых губах скользит легкая самодовольная улыбка. А мы от желтых квадратных фонарей переносимся в далекий знойный Египет. И мистрис Никльби с ее майским утром и жареным поросенком кажется нам такой неинтересной и обыденной.

* * *

В классе шумно. Ученицы по очереди подходят к толстой, добродушной, очень глупой учительнице рукоделия Анне Николаевне и показывают ей бумажный пластрон рубашки и получают указания, как его приложить к материалу для

выкройки. Почти у всех дешевенький, а следовательно, и узенький коленкор; приходится приставлять к ширине клинья, что мы не особенно-то любим. Очередь дошла до Ани Горенко. В руках у нее бледно-розовый, почти прозрачный батист-линон, и такой широкий, что ни о каких неприятных клинчиках и речи быть не может. Но Анна Николаевна с ужасом смотрит на материал Горенко и заявляет, что такую рубашку носить неприлично. Лицо Ани Горенко покрывается как бы тенью, но с обычной своей слегка презрительной манерой она говорит: «Вам — может быть, а мне нисколько». Мы ахнули. Анна Николаевна запылала как пион и не нашлась что сказать. Много дипломатии и трудов пришлось приложить нашей классной даме, Лидии Григорьевне, чтобы не раздуть дела. В конце концов ей удалось добиться, чтобы Горенко попросила у Анны Николаевны извинения. Но как она просила! Как королева.

Даже в мелочах Горенко отличалась от нас. Все мы, гимназистки, носили одинаковую форму — коричневое платье и черный передник определенного фасона. У всех слева на широкой грудке передника вышито стандартного размера красными крестиками обозначение класса и отделения. Но у Горенко материал какой-то особенный, мягкий, приятного шоколадного цвета. И сидит платье на ней как влитое, и на локтях у нее никогда нет заплаток. А безобразие форменной шляпки-«пирожка» на ней незаметно.

* * *

Киев — город цветов, и мы весною и осенью являлись в класс с цветами. Осенью мы любили поздние розы, пышные астры, яркие георгины. Аня Горенко признавала тогда только туберозы.

Анна Андреевна Ахматова (по записи Л. К. Чуковской. 87 сентября 1939):

Но я не любила дореволюционного Киева. Город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды, они и их жены… Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного Швейцера, целовала образок Николая-угодника: «Сделай, чтоб хорошо сидело…»

В Серебряном веке

Георгий Иванович Чулков (1879–1939), *поэт, прозаик, литературовед:*

Однажды, на вернисаже выставки «Мира искусства», я заметил высокую, стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками «Аполлона», которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь, и характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил этой молодой даме довезти ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда. Среди беседы моя новая знакомая сказала между прочим:

— А вы знаете, я пишу стихи.

Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, которые потом вошли в ее первую книжку «Вечер». Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться.

— Еще!.. Еще!.. Читайте еще, — бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов.

— Вы — поэт, — сказал я совсем уж не тем равнодушным голосом, каким я просил ее читать свои стихи.

Так я познакомился с Анной Андреевной Ахматовой. Я горжусь, что на мою долю выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской поэзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения.

Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год.

Анна Андреевна Ахматова:

В 1910 (25 апреля старого стиля) я вышла замуж за Н. С. Гумилёва, и мы поехали на месяц в Париж. Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taveme du Pantheon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут — большевики, а там меньшевики».

Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Анатолий Генрихович Найман:

Параллельно она мне рассказала такую историю. «Мы, шестеро русских, отправились на Монмартр в какой-то дом. Место было не вполне благопристойное, темноватое: кто-то куда-то выходил что-то смотреть, кто-то приходил. Я сразу села за стол с длинной, до полу, скатертью, сняла туфли — они безумно жали ноги — и гордо на всех глядела. По левую руку от меня сидел знаменитый тогда авиатор Блерио со своим механиком. Когда мы поднялись уходить, в туфле лежала визитная карточка Блерио». В этом же роде был рассказ о том, как полковник французского генерального штаба пригласил ее в луна-парк и провел по всем аттракционам; перед каждым непременно спрашивал у служителя: «Est-ce que ces attractions sont vraiment amusantes?» (Этот аттракцион в самом деле увлекательный?)

Надежда Григорьевна Чулкова:

Я впервые встретилась с Ахматовой в Париже в 1911 году. Она приехала туда в одно время с моим мужем, а я приехала месяцем раньше с сестрой Г. И. (Чулкова) Л. И. Рыбаковой. Г. И. писал мне из Петербурга, что он открыл нового поэта. Она тогда еще не печаталась. Он присылал мне ее стихи, и правда, они были очень оригинальны по форме и глубоки по чувству. В Париже мы вместе совершали прогулки и посещали иногда вечерами маленькие кафе, где обыкновенно слушали незатейливые шутливые выступления эстрадных певцов и танцоров. Ахматова была тогда очень молода, ей было не больше двадцати лет. Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая. (Она сама мне показывала, что может, перегнувшись назад, коснуться головой своих ног.) На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж — поэт Н. С. Гумилёв.

Владимир Алексеевич Пяст (1886–1940), *поэт, мемуарист:*

На первых же осенних собраниях Академии стала появляться

очень стройная, очень юная женщина в темном наряде… Нам была она известна в качестве «жены Гумилёва». Еще летом прошел слух, что Гумилёв женился и — против всякого ожидания — «на самой обыкновенной барышне». Так почему-то говорили. Очевидно, от него, уже совершившего первое свое путешествие в Абиссинию, ожидалось, что он привезет в качестве жены зулуску или, по меньшей мере, мулатку. Очевидно, подходящей к нему считалась только такая невеста. Иначе бы, конечно, об Анне Ахматовой никому бы не пришло в голову сказать, что она «самая обыкновенная женщина». Эта «самая обыкновенная женщина», как вскоре выяснилось, пишет «для себя» стихи. «Комплиментщик» Вячеслав Иванов заставил ее однажды выступить «в неофициальной части программы» заседания Академии. Я помню стихи, которые сказала Анна Ахматова, — то есть помню, что среди них было:

У пруда русалку кликаю,
А русалка умерла…

Это стихотворение, кажется, и все другие, читанные Ахматовой в тот вечер, были в скором времени напечатаны. Между тем, как слышно было, она вообще только что начала писать стихи. Дело в том, что эта «самая обыкновенная барышня» сразу, выросши, выросла поэтессой и с первых шагов стала в ряды наиболее признанных, определившихся русских поэтов.

Анна Андреевна Ахматова:

Всем, в особенности за границей, хочется, чтобы меня «открыл» Вячеслав Иванов. Кто отец этой легенды — не знаю. М<ожет> б<ыть>, Пяст, который бывал на Башне (см. «Встречи»).

А в самом деле было так: Н. С. Гумилёв после нашего возвращения из Парижа (летом 1910 года) повез меня к Вяч. Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате втроем), и я прочла: «И когда друг друга проклинали…» (1909. Киевская тетрадь) и еще что-то (кажется, «Пришли и сказали…»), и Вяч<еслав> очень равнодушно и насмешливо произнес: «Какой густой романтизм!» Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Н<иколай> С<тепанович>, успев снискать вечную немилость Иванова рецензией на «Cor Ardens» (см. «Аполлон», № и письмо Иванова к Гумилёву), уехал на полг<ода> в Африку, в Аддис-Абебу. Вяч<еслав> встретил меня на Раевских курсах, где он читал лекции, и пригласил на «понедельники» (уже не «среды»). Там я

действительно несколько раз читала стихи, и он действительно их хвалил, но их тогда уже хвалили все (Толстой, Маковский, Чулков и т. д.), они были приняты в «Апол<лон>» и напечата<ны>, а тот же Иванов лицемерно посылал меня к З. Гиппиус. Александра Николаевна Чеботаревская увела меня в соседнюю комнату и сказала: «Не ходите к ней. Она злая и вас очень обидит». Я ответила: «А я и <не> собираюсь к ней идти». Кроме того, Вяч<еслав> И<ванович> очень уговаривал меня бросить Г<умилёва >. Помню его слова: «Этим вы его сделаете человеком». О том, как он tete-a-tete плакал над стихами, потом выводил в «салон» и там ругал довольно едко, я так часто и давно рассказыва<ю>, что скучно записывать.

Павел Николаевич Лукницкий:

3 июля 1925. АА, рассказывая нижеследующее, сказала: «Не записывайте этого, потому что выйдет, что я хвастаюсь…» И рассказала, что, когда она первый раз была на Башне у Вячеслава Иванова, он пригласил ее к столу, предложил ей место по правую руку от себя, то, на котором прежде сидел И. Анненский. Был совершенно невероятно любезен и мил, потом объявил всем, представляя АА: «Вот новый поэт, открывший нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души И. Анненского»… АА говорит с иронией, что сильно сомневается, чтоб «Вечер» так уж понравился В. Иванову, и было даже чувство неловкости, когда так хвалили «девчонку с накрашенными губами»… А делал это все В. Иванов со специальной целью — уничижить как-нибудь Н. С. (Гумилёва), уколоть его (конечно, не могло это в действительности Н. С. уколоть, но В. Иванов рассчитывал).

Ариадна Тыркова-Вильямс:

Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Пленительная сила струилась от нее, как и от ее стихов. Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветастую шаль, Ахматова походила на гитану. Нос с горбинкой, темные волосы, на лбу подстрижены короткой челкой, на затылке подхвачены высоким испанским гребнем. Небольшой, тонкий, не часто улыбавшийся рот. Темные, суровые глаза. Ее нельзя было не заметить. Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. <…>

В Башне ее стихами упивались, как крепким вином.

Владимир Алексеевич Пяст:

Года через два «ахматовское» направление стало определять чуть ли не всю женскую лирику России. Ее «беличья распластанная шкурка», как правильно говорил когда-то Виктор Шкловский, стала «знаменем» для пришедшей поэтической поры — послужив ключом для некоего возникающего направления… Самое слово «акмеизм» хотя и производилось будто бы от греческого «акмэ» — «острие», «вершина», — но было подставлено, подсознательно продиктовано, пожалуй, именно этим псевдонимом-фамилией. «Ахматов» — не латинский ли здесь суффикс «ат», «атум», «атус»… «Ахматус» — это латинское слово по законам французского языка превратилось бы именно во французское «акмэ»…

Анна Андреевна Ахматова:

Книга («Четки». — *Сост.)* вышла 15 марта 1914 года (ст<арого> ст<иля>), и жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из 19 в<ека> сразу попали в 20-й, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. С «Четками» это<го> не случилось. <…> И потом еще много раз она выплывала и из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плахе, и украшая собой списки запрещенных изданий (Index librorum prohibitorum)[4], и представляя собою краденое добро (изд<ание> Ефрона <в> Берлин<е> и одесская контрафакция при белых 1919 <года>). Habent sua fata libelli…[5]

В дни выхода «Четок» нас пригласила к себе изд<ательница> «Сев<ерных> зап<исок>» эсерка Чайкина (я была в том синем платье, в кот<ором> меня изобразил Альтман). У нее собралось видимо-невидимо гостей. Около полночи начали прощаться. Одних хозяйка отпускала, других просила остаться. Потом все перешли в столовую, где был накрыт парадный стол, и мы оказались на банкете в честь только что выпущенных из Шлиссельбурга народовольцев. Я сидела с Л. К. против Германа Лопатина. Потом часто с ужасом вспоминала, как Л. К. сказал мне: «Если бы мне дали «Четки», я бы согласился провести столько времени в тюрьме, как наш визави».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Ахматова еще в молодости пережила искушение, став предметом общего внимания к себе, вскоре превратившегося в славу. Она сама признавалась, что была очень избалована. В первые десятилетия после революции вместе со сменой людей, вкусов и культур эта слава перестала быть громкой — надолго сосредоточилась в узком, ограниченном кругу прежних почитателей Ахматовой.

Слепнёво

Анна Андреевна Ахматова:

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона — Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть… Над диваном висел небольшой портрет Николая I — не как у снобов в Петербурге, почти как экзотика, а просто, сериозно — по-Онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало — не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года, там провела последнее лето (1917).

…Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легкой свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну…

Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К слепневским господам хранцужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин — очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, там что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате (1911). Березки и Подобино. Дубровка. Тетя Пофи и Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (рожд. Пиленко). Неведомские, Хилковы (1916).

Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то вдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год. После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революцию, которая была назначена на 20 января (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: «В день Русской Революции». Другой рисунок (сохранившийся) он надписал: «Солдатке Гумилёвой, от чертежника Альтмана»).

Слепнево для меня как арка в архитектуре… сначала маленькая, потом все больше и больше и наконец — полная свобода (это если выходить).

1930-е. «Я была тогда с моим народом…»

Михаил Викторович Ардов:

О тридцатых годах:

— Вы не представляете себе, как мы жили… Мы не могли позволить себе роскошь иметь записную книжку с телефонами… Мы дарили друг другу книги без надписей…

В Фонтанном Доме Анна Андреевна и первая жена Николая Николаевича Пунина — Анна Евгеньевна Аренс — готовились к очередному обыску. Им казалось, что они сожгли все, что могло хоть сколько-нибудь компрометировать. Наконец обе дамы присели и закурили. В этот самый момент откуда-то сверху упала к их ногам огромная фотография. Там рядом с государем Николаем Александровичем был изображен отец Анны Евгеньевны — свитский адмирал барон Аренс…

Эмма Григорьевна Герштейн:

В ноябре <19>35-го г. возвращаюсь вечером домой. В передней на маленьком угловом диванчике сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. Мы заходим в мою комнату. «Их арестовали». — «Кого их?» — «Лёву и Николашу»

Она спала у меня на кровати. Я смотрела на ее тяжелый сон, как будто камнем придавили. У нее запали глаза и возле переносицы образовались треугольники. Больше они никогда не проходили. Она изменилась на моих глазах. Потом я отвезла ее в Нащокинский. Целый день я ждала ее звонка. Она меня вызвала только на следующее утро. В чьей квартире она ночевала, я точно не знаю, кажется, у Булгаковых. Мы встретились у ворот дома. Она вышла в синем плаще и в своем фетровом колпаке, из-под него выбились и развевались длинные пряди волос. Она смотрела по сторонам невидящими глазами. Мы пошли искать такси. Кропоткинская площадь и Волхонка были перерыты и перегорожены из-за строительства метро. Осенняя грязь. Она не могла перейти улицу. Я ее тащила. Вдали показалась машина. «Нет, нет — ни за что». — «Машина далеко, идемте». Она ставила ногу на мостовую и пятилась назад. Я ее тянула. Она металась. Машина приближалась. Рядом с шофером сидел человек в кожаной куртке. Казалось, они уже издалека заметили нас и посмеивались. Приближаясь, человек в кожаной куртке вглядывался в эту странную фигуру, похожую на подстреленную птицу, и… узнавал. Узнавал, жалея, ужасаясь почти брезгливо.

Вот эта старая безумная нищая — знаменитая Ахматова? Вся эта физиономическая игра продолжалась полминуты. Вероятно, некогда этот человек был ее поклонником, влюблялся в нее на вечерах поэтов, когда она выступала. (А теперь и себя не узнаешь, милый мой, в кожаной куртке, рядом с водителем.) Они проехали.

Кое-как мы перешли улицу и нашли такси. Шофер двинул машину от стоянки, спросил, куда ехать. Она не слышала. Я не знала, куда мы едем. Он дважды повторил вопрос, она очнулась: «К Сейфуллиной, конечно». — «Где она живет?» Я не знала. Анна Андреевна что-то бормотала. В первый раз в жизни я услышала, как она кричит, почти взвизгнула сердито: «Неужели вы не знаете, где живет Сейфуллина?!» Откуда мне знать? Наконец я догадалась — в Доме писателей? Она не отвечала. Кое-как добились, да, в Камергерском переулке. Мы поехали. Всю дорогу Анна Андреевна вскрикивала: «Коля… Коля… кровь…» и другие слова. Я решила, что Анна Андреевна потеряла рассудок. Она была в бреду. Я довела ее до дверей квартиры. Сейфуллина открыла сама. Я уехала.

Через двадцать лет, в спокойной обстановке, Ахматова читала мне и еще одному слушателю довольно длинное стихотворение. Оно показалось мне знакомым, когда-то давно она мне уже читала его. Она сказала, обращаясь ко мне: «А ведь я его сочиняла, когда мы ехали с вами к Сейфуллиной». К сожалению, эти стихи пропали. Никто их не помнит.

Анатолий Генрихович Найман:

А.А. начала хлопоты об освобождении, поехала в Москву, пришла к Сейфуллиной, та отправилась к Поскребышеву, секретарю Сталина, и узнала, как надо отдать письмо, чтобы оно попало в руки Сталина. Поскребышев сказал: «Под Кутафьей башней Кремля около 10 часов — тогда я передам». Назавтра А.А. с Пильняком подъехали туда на машине, и Пильняк отдал письмо. «Стрелецкие женки», — произнесла она в этом месте рассказа, прокомментировав так строчки из «Реквиема»: «Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями выть». В тот же день отправил туда письмо и Пастернак, при этом сказал: «Сколько бы кто другой ни просил, я бы не сделал, а тут — уже…» Потом в некоем трансе она бродила по Москве и очутилась у Пастернаков. Хозяин весь вечер говорил об Анненском: что он для него, Пастернака, значит. Потом ее уложили спать. А когда утром она проснулась в солнечной комнате, в дверях стояла Зинаида Николаевна (жена П-ка) и говорила: «Вы уже видели телеграмму?» Телеграмма была от Пуниных, что оба уже дома.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Все было сделано быстро. У Сейфуллиной были связи в ЦК. Анна Андреевна написала письмо Сталину, очень короткое. Она ручалась, что ее муж и сын — не заговорщики и не государственные преступники. Письмо заканчивалось фразой: «Помогите, Иосиф Виссарионович!» В свою очередь Сталину написал Пастернак. Он писал, что знает Ахматову давно и наблюдает ее жизнь, полную достоинства. Она живет скромно, никогда не жалуется и ничего никогда не просила для себя. «Ее состояние ужасно», — заканчивалось это письмо.

Пильняк повез Ахматову на своей машине к комендатуре Кремля, там уже было договорено, что письмо будет принято и передано в руки Сталину. Я не помнила, сколько дней прошло. Анна Андреевна исчезла для меня. Но вот вечером — телефон: «Эмма, они дома!»

Я поехала к ней — к Пильняку, на улицу Правды. Там ликованье. Мы с ней сидели в спальне. Из другой комнаты — музыка. Приехали гости. Какой-то важный обкомовец и еще кто-то, «с тремя ромбами», шепчет мне Анна Андреевна. Все они хотят видеть и поздравить Ахматову. Пильняк заходит в спальню, нетерпеливо зовет ее. Она говорит: «Борис Андреевич, это — Эмма!» Но ему ни до чего, ему нужно торжество с гостями в столовой. Он неохотно нас оставляет вдвоем. Она рассказывает мне о письмах к Сталину так, как я передала это выше.

Михаил Викторович Ардов:

В 1935 году Ахматова приехала в Москву хлопотать за арестованных сына и мужа (Н. Н. Пунина).

Мариэтта Шагинян, встретившись с нею, принялась уверять, что беспокоиться и хлопотать совершенно не о чем, что сейчас, как ей, Мариэтте, известно, в советских исправительных лагерях очень хорошие условия…

— Я побежала от нее на шести лапах, — говорила Ахматова…

Анатолий Генрихович Найман:

Ахматова приехала в Ленинград и застала обоих, сильно друг другом недовольных, друг на друга за что-то сердящихся. Про освобождение Пунин рассказал, что, когда его ночью подняли — в который-то раз, — он решил, что снова допрос. Когда же сказали, что отпускают, он, хотя и сбитый от неожиданности с толку, прикинул, что трамваи уже не ходят, и спросил: «А переночевать нельзя?» Ответ был: «Здесь не гостиница». «Вот, Толя, — сказала она, — предыстория моих отношений со Сталиным, не всегда

усач спрашивал: «Что дэлает монахыня?»»)

Лидия Корнеевна Чуковская:

В те годы Анна Андреевна жила, завороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету…

Застенок, поглотивший материально целые кварталы города, а духовно — наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивавший собственную ремесленно сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах, один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни, — мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз или, точнее, ушей. Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было; в очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: «пришли», «взяли»; Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» тоже шепотом, а у себя в Фонтанном Доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь светское: «Хотите чаю?» или: «Вы очень загорели», потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче такая ранняя осень», — громко говорила Анна Андреевна и, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей.

Это был обряд: руки, спичка, пепельница, — обряд прекрасный и горестный…

Анна Андреевна Ахматова:

…В 1936-м я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного коня или Черного коня из тогда еще не рожденных стихов. <…> Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже, судить не мне. 1940 — апогей. Стихи звучат непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь, и иногда, наверно, плохие.

«Реквием»

Исайя Берлин:

Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остановилась и начала рассказывать о 1937–1938 годах, когда и муж, и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь (этому суждено было повториться), о длинных очередях, в которых день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения послать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было, никакие известия не доходили до них. Гробовой покров повис над городами Советского Союза, где миллионы невинных подвергались истязаниям и казням. Она говорила совершенно спокойным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог замечаниями вроде: «Нет, я не могу, все это бесполезно. Вы живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество разделено на людей и…» Затем, после долгого молчания: «И даже теперь…»

Ника Николаевна Глен:

Самым важным для «ахматоведения» событием тех месяцев, что Анна Андреевна провела на Садово-Каретной (в Москве, в квартире Н. Н. Глен в1962 г. — *Сост.),* было, вероятно, «раскрепощение» «Реквиема». К сожалению, я ничего тогда не записала и помню все только в самом общем виде: и что Анна Андреевна очень волновалась, и что я, переписывая эти великие стихи на машинке, понимала значительность происходящего — ведь полный «Реквием» впервые из памяти (его знали наизусть Ахматова и несколько ее ближайших друзей) переходил на бумагу. И в те же дни (вероятно, это был декабрь 62-го) Анна Андреевна сама захотела прочесть «Реквием» на магнитофон. Помню еще, как обсуждалось, предлагать ли «Реквием» для публикации (речь шла о «Новом мире»). Примерно в это же время у «Реквиема» появился эпиграф: «Нет, и не под чуждым небосводом…» Эти ныне знаменитые четыре строки из тогда еще не опубликованного стихотворения Ахматовой предложил сделать эпиграфом к «Реквиему» пришедший к ней в гости Л. З. Копелев, которому она это стихотворение прочла, и Ахматова в ту же минуту согласилась.

Юлиан Григорьевич Оксман:

9 декабря 1962 г. вечером был у Анны Андреевны, где застал Л. К. Чуковскую. Перед моим уходом пришла Э. Г. Герштейн.

Разговор начался с предложения Анны Андреевны посмотреть впервые объединенный в законченный цикл знаменитый «Реквием». Он впервые только вчера и переписан на машинке, снабженный двумя предисловиями — прозаическим и стихотворным. Я очень удивился, прочитав в цикле политических стихов то, что считал прощанием с Н. Н. Пуниным: «И упало каменное слово…» А.А. рассмеялась, сказав, что она обманула решительно всех своих друзей. Никакого отношения к любовной лирике эти стихи не имели никогда. (Я все-таки не совсем уверен, что это так.)

Но самое странное — это желание А.А. напечатать «Реквием» полностью в новом сборнике ее стихотворений. С большим трудом я убедил А. А., что стихи эти не могут быть еще напечатаны… Их пафос перехлестывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. Я убедил ее даже не показывать редакторам, которые могут погубить всю книгу, если представят рапорт о «Реквиеме» высшему начальству. Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее разят сталинскую Россию, чем ее «Реквием».

Михаил Васильевич Толмачёв:

Видимо, сам факт публикации «Одного дня Ивана Денисовича», «с высочайшего соизволения», произвел на Анну Андреевну большое впечатление. В очередной раз после смерти Сталина (сколько их было, таких «раз», начиная с Маленкова и его кратковременного министра культуры Пономаренко, первым заговорившего о свободе печати) казалось, что «все позволено». Истаивал сталинский запас страха, Анна Андреевна решилась записать на бумагу «Реквием» и стала давать читать в своем присутствии. «Вы 54-й», — сказала она мне, протягивая машинопись (впоследствии, после отклонения «Новым миром», по не зависящим от редакции обстоятельствам, и публикации в Мюнхене, «без ведома автора», она пустила «Реквием» по рукам: стала дарить авторизованные машинописные копии, одну из которых, в 1963 году, получил и я).

Лидия Корнеевна Чуковская:

28 декабря 1963. Она открыла сумку, вынула оттуда какую-то книгу и протянула мне. Книжка белая, рамка черная, и большими внятными буквами на белой обложке:

Анна Ахматова

У меня похолодели руки, а сердце нырнуло куда-то в колени. «Реквием» — напечатан! Уже не машинопись, а книга. На титуле: Товарищество зарубежных писателей. Мюнхен. 1963.

Мюнхен. Почему именно в Мюнхене? Но не все ли равно?

И сразу передо мною Фонтанный Дом, продавленное кресло возле печки, беспорядок, ее нерасчесанные волосы на мятой подушке, вспышка огня в пепельнице, обгорелые края заворачивающегося клочка бумаги. Пепел. 1938. А сейчас ее слово воскресло из пепла и обращено в самый обыкновенный, обыденный, заурядный предмет: книга! В мире миллионы — а быть может, и миллиарды книг! — ну, вот, прибавилась еще одна. Еще одна книга — только и всего. «Пепел Клааса».

Пока я перелистывала «Реквием», добывая при этом слова не из напечатанного текста, а из самой себя, — Анна Андреевна уверяла Эмму, что ее, Ахматову, начнут теперь «перемалывать на кофейной мельнице». «Не думаю», — говорила Эмма. Я тоже. Вряд ли станут наши, взамен неудавшегося мирового пожара, раздувать новый мировой скандал — вроде пастернаковского. Слишком глупо. Умнее просто не заметить. Борис Леонидович, напечатав за границей «Живаго», жизнью своей и смертью своей выплатил вперед все сполна. Довольно с нас и того позора, что великий «Реквием» прозвучал на Западе раньше, чем дома. «Мюнхен».

Анатолий Генрихович Найман:

Собственно говоря, «Реквием» — это *советская поэзия,* осуществленная в том *идеальном* виде, какой описывают все декларации ее. Герой этой поэзии — народ. Не называемое так из политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт — вместе с ним, его часть. Ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее приемы — лобовые: «для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов». И эта поэзия полна любви к народу.

Отличает и тем самым противопоставляет ее даже идеальной советской поэзии то, что она личная, столь же глубоко личная, что и «Сжала руки под темной вуалью». От реальной советской поэзии ее отличает, разумеется, и многое другое: во-первых, исходная и уравновешивающая трагедию христианская религиозность, потом — антигероичность, потом — не ставящая себе ограничений искренность, называние запретных вещей их

именами. Но все это — *отсутствие* качеств: признания самодостаточности и самоволия человека, героичности, ограничений, запретов. А личное отношение — это не то, чего нет, а то, что есть и каждым словом свидетельствует о себе в поэзии «Реквиема». Это то, что и делает «Реквием» поэзией — не советской, просто поэзией.

1941–1944. Война. В эвакуации. Ташкент

Яков Захарович Черняк:

Ахматову вывезли из Ленинграда на самолете. Ночью, по пути, самолет сел на секретном аэродроме. Ахматова в полной тьме вышла из самолета. «Где мы?» — обратилась она к еле уследимым силуэтам, возившимся около машины. Естественно, ей никто не ответил: аэродром был секретный. «Где же мы?» — повторила она потерянно и отчаянно. Снова молчание. Ахматова заплакала.

Маргарита Иосифовна Алигер:

…Из Ленинграда приходили тревожные вести. Было известно, что оттуда стараются вывезти как можно больше народа. В конце сентября кто-то приехал на аэродром встречать Шостаковича и, вернувшись, рассказал, что в тот день, часом раньше, прилетела Анна Ахматова.

…Мне непременно нужно было до зимы, до конца навигации, съездить к своим в Набережные Челны, отвезти туда теплые вещи. В начале октября я начала собираться, но выехать из Москвы оказалось не просто. И тут я узнала, что через несколько дней Союз писателей отправляет эшелон в Казань и в Чистополь, где обосновались на зиму писательские семьи. …Эшелон отправлялся 14 октября, и вот на сырой платформе Казанского вокзала, в мутном осеннем рассвете, в невеселой толпе отъезжающих, я во второй раз в жизни увидела Анну Ахматову… В том памятном эшелоне, в том жестком вагоне, Ахматова и Пастернак ехали в одном отделении. Оба были спокойны, приветливы, о чем-то своем негромко беседовали. Они умели держаться просто и естественно, оставаться самими собой и такими, как всегда, независимо от того, что происходило вокруг, — наверно, это и значит быть истинно воспитанным человеком. Многие из нас были в смятении, в тревоге о будущем, в хлопотах о своих тюках и чемоданах, и это, собственно говоря, тоже было вполне естественно в тот момент, и никого тут осуждать не приходится, но эти двое были вне всего окружающего. Они были чем-то отличны от других, спокойнее, свободнее, независимее, и их присутствие рядом с нами как-то неуловимо помогало.

…В Казани мы переехали с вокзала на пристань, погрузились на пароход, и вот тут-то мы с Анной Андреевной очутились в одной каюте. Весь вечер у нас было людно, без конца пили чай из большого синего чайника, который я везла своим. Чай был без сахара, и хлеб был черный и сыроватый, но это было вкусно. Кто-

то из женщин обратил внимание на дымчатые бусы на шее у Анны Андреевны. «Это подарок Марины», — сказала она, и все вдруг замолчали, и в тишине стало слышно, как работает машина и как шумит река. Волга или Кама?.. Кама… Елабуга… Марина Цветаева… Не прошло еще двух месяцев с тех пор, как мы узнали о ее трагическом конце. «Нет в мире виноватых», — сказал когда-то Шекспир. Но, может быть, тот великий, который скажет когда-нибудь, что все виноваты, будет не менее прав.

Наконец гости наши разошлись, и вот мы остались вдвоем и, устроившись на ночь, погасили огонь. Сразу стала слышна река за стенкой каюты и ритмичные сотрясения машины. Не помню, сколько мы пролежали молча, чувствуя, однако, что обе не спим, и вдруг Ахматова заговорила. Совсем по-другому, чем говорила она при свете дня и при людях. Совсем другим голосом, другим тоном. И совсем о другом. И словно бы не начав внезапно, а продолжая давно начатый разговор.

— Такая огромная страна… Такая огромная война… Человечество еще не знало войны такого великого смысла, такого всеобщего смысла… Она перевернет мир, эта война, переделает всю нашу жизнь… Да, да, и нашу жизнь — я именно это хотела сказать… Смотрите, как она срывает все покровы, стирает все камуфляжи, обнажает все безобразное, чтобы люди его увидели, поняли, возненавидели, уничтожили… И как это вдруг оказалось возможным, вдруг вылезло… Вдруг вспышка давно забытого, давно, казалось бы, побежденного антисемитизма. Откуда она снова взялась — этакая мерзость, столь неожиданно вновь вспыхнувшая в эту недобрую осень. Ведь сколько пережито вместе… Вместе голодали, каждым куском делились, вместе сыпняком болели, пережили вместе такие годы… Сколько страшных часов провели, недель и месяцев в очередях в Кресты… И хоронили, и оплакивали вместе, и поддерживали друг друга. И вдруг, вот в такую годину, изволите ли видеть, опять эта мерзость. Как же она могла где-то притаиться и снова вылезти наружу? Нет, не верю, невозможно это, стыдно это. Сейчас, когда впереди еще такие испытания… Такая война! Она откроет двери тюрем и выпустит на волю всех невинных… И как она трезво и точно определяет, что к чему и кто кто… Нет, нет, поверьте мне, это самая великая война в истории человечества… И уверяю вас, никогда еще не было такой войны, в которой бы с первого выстрела был ясен ее смысл, ее единственно мыслимый исход. Единственно допустимый исход, чего бы это нам ни стоило. Мы выиграем войну для того, чтобы люди жили в преображенном мире. Все страшное и гнусное в нем будет смыто кровью наших близких…

Я лежала, почти не дыша, боясь что-то пропустить, что-то не расслышать. Я понимала ее порыв — все, что она говорила, она говорила мне, она ведь знала, что мой муж убит. Но не только ко мне и не только к собственной душе была обращена ее взволнованная речь, полная внутренней убежденности и душевного жара. Она говорила с временем, с историей, с будущим.

За окном каюты шумела Волга, а может быть, уже и Кама, и шум воды удивительно сочетался с ночным голосом моей спутницы. В каюте было темно, и мы не видели друг друга. И хотя мы отнюдь не были ближе друг к другу, чем тогда, зимой сорокового, в крошечной комнате на Ордынке, но голос ее наполнял все вокруг, и я словно дышала им, и он был горячий, живой, близкий, неотделимый от нашей жизни, от нашей общей судьбы. В ту ночь мы и познакомились по-настоящему.

С той ночи я понимаю, сколь горячо и кровно жила она всем, чем жили все мы, ничем не защищенная от жизни, ничем не отгороженная от страдания людей…

Галина Лонгиновна Козловская:

Я впервые увидела ее сидящей на стуле, освещенную тусклым светом лампочки вверху, зябко кутающуюся в серую старую шубку. В первые минуты я напряженно вбирала в себя все приметы ее облика, ее осанку, сдержанные движения рук, тихие интонации ее голоса. Сразу, одновременно поразили — гордость и сиротство. И тут же словно от нее исходило веление: «Не сметь жалеть».

Ее внутренняя сила сразу поражала ясно ощутимым присутствием духовной несломленности, непокоренности, и ее словно не касались бедность и неустроенность личного существования. Когда я взглянула ей в глаза, я прочла в них ту же муку, что таилась в глубине большинства женских глаз тех дней, но у нее еще была та особая печаль, которая хранила в себе познание беды, блокадных испытаний.

Память о них и о тех, кто «там погибать остался», никогда ее не покидала, и мне тогда казалось, что она все еще хранила в себе всю стужу ленинградских дней и ночей и не оттает никогда…

Лидия Корнеевна Чуковская:

10 декабря 1941. …В ее комнате — градус мороза. Сегодня папа звонил о дровах для нее во все инстанции. Обещали, но не посылают. Она лежит, закутанная во все пальто. Кипятка нет, картошку не на чем сварить, обедать в столовку, куда я ее

устроила, пойти не в силах. К нам пойти есть, спать, греться отказалась, ссылаясь на слабость. Открыла мне, что на бедре у нее какой-то очень подозрительный желвак, который необходимо удалить…

8 января 1942. …Вчера, под вечер, я пришла к ней, счастливая от того, что, наконец, иду не с пустыми руками.

Застала ее у Волькенштейнов. Она встретила меня так:

— Л.К., я тут совершила страшное преступление! Такое, что меня бойкотируют все друзья, Штоки дали слово не приходить, Волькенштейны то же… Железнова выгнала из комнаты старуху Блюм, которая у нее ютилась, выбросила в коридор ее вещи; я застала старуху плачущей в коридоре, где еще недавно умирал ее муж, и предложила ей переехать жить ко мне… Ну что? вы присоединяетесь к бойкоту?

— Присоединяюсь! — ответила я.

Передо мной сразу все померкло от огорчения. Как! мало того что ей дали самую плохую комнату в общежитии — маленькую, сырую, холодную, — к плесени, к холоду и неустройству еще присоединится болтливая и глупая старуха Блюм! Я когда-то не хотела хлопотать о комнате для А.А. на Жуковской (бывшая Афиногеновой), потому что та комната большая, хорошая, и туда непременно кто-нибудь вселится. И вот на пять метров А.А. сама себе вселила… А еще на днях говорила, что не пойдет жить с Е.В., так как хочет быть *одна*…

Я вернулась к А.А. Блюм внесла постель — на пол — и чемодан. Говорила о конфетах, которые у нее украли. Глупость ее равна только ее болтливости. В улыбке есть что-то льстивое, жалкое и цепкое одновременно. Монолог:

— Союз писателей ничего не хочет для меня сделать. А между тем я ведь жена члена Союза — одного из самых первых членов Союза к тому же. Фамилия моего мужа ведь начиналась на «Б», и он всегда стоял в списке первым…

Когда она вышла и А.А. снова вызвала меня на разговор, я сказала несколько сердитых слов и получила такую отповедь:

— А я думаю, Л.К., вы должны радоваться тому, что я не могла равнодушно пройти мимо этой старухи и ничем не помочь ей…

Яков Захарович Черняк:

14. VI.42. Здесь Анна Ахматова. К ней паломничество. В. Волькенштейн, живший одно время, вскоре после приезда сюда, рядом с нею, одно время даже в одной комнате, жалуется:

— Люди идут к ней — стаями; она вывешивает записку на

двери: работаю. Не помогает. — Это выражение любви не кажется ему искренним: идут, потому что Ахматова в чести, признана властью, кажется влиятельной.

Артистка Ф. Раневская рассказала: записки с ее двери исчезают, потому что — автограф. Ахматова человек исключительной духовности, строгости, чистоты. От всех благ и преимуществ, щедро предлагаемых ей местным руководством, отказывается. «Как я возьму это, когда все мои близкие погибли в Ленинграде». От квартиры тоже отказалась. Живет намеренно трудно. Поза? Нет, схима.

Галина Лонгиновна Козловская:

В те дни все мы жили сводками с фронта, и, верно, не было тогда в Советском Союзе человека, который бы не замирал перед репродуктором, откуда звучал голос Левитана. В этот вечер вести были неутешительные. Все примолкли, каждый ушел в свою печаль, стало тихо. Я взглянула на Анну Андреевну. Она стояла прямая и словно застывшая. Должна сказать, что я редко встречала человека, который мог бы сравниться с ней в ее целомудренной и глубокой любви к России. Она оберегала ее от расхожих слов и стереотипных выражений, на которые были в то время многие тороваты. В ее присутствии такая болтовня о войне была невозможна. Ей это чувство было так же свойственно, как дыхание, глубокое, сильное и оберегаемое. Прикасаться к этому походя никому не дозволялось.

Эдуард Григорьевич Бабаев:

Анна Андреевна затеяла пешие хождения по Ташкенту. И я стал ее проводником. Она не знала Ташкента. Читала названия улиц по-русски и по-узбекски.

И удивлялась затейливой круговой планировке города. Благодаря такой планировке одна сторона улицы всегда находилась в тени, а перспектива уклончиво уходила вдаль.

— Такая же планировка в Москве, — сказала Анна Андреевна.

— И в Мекке, — добавил Абдулла Каххар.

Мы выходили обычно ближе к вечеру. Но улицы хранили жар прошедшего дня. Один местный корреспондент сфотографировал нас на улице Гоголя. Анна Андреевна шла, опираясь на мое плечо. Эту фотографию в шутку называли «Велизарий». Не знаю, сохранилась ли она в архиве Анны Андреевны. Анна Ахматова своей осанкой, странным обликом неизменно привлекала внимание прохожих. Некоторые раскланивались с ней. Часто у нее спрашивали дорогу.

Старик на белом ослике с поклажей, видимо приехавший из

деревни, почтительно спросил у нее, как проехать на Туркестанский базар.

— Ну, чудеса… — говорил Алексей Федорович Козловский. — Всего можно было ожидать, но чтобы у Анны Ахматовой в Ташкенте спросили, где тут Туркестанский базар, этого ожидать было невозможно. Признание! Доверие!..

Анна Андреевна смеялась и говорила, что это ее призвание, что у нее и в Ленинграде и всюду, где бы она ни была, всегда спрашивали дорогу.

— Однажды я видела, — говорила она, — как человек нарочно перешел площадь, чтобы спросить, как ему проехать на Пески…

С вокзала мы возвращались по улице Самаркандской. И там был длинный старый одноэтажный дом с двускатной черной крышей и глубокими нишами окон. Возле самого дома — трамвайная остановка, шум, вечное движение… Мы уже прошли мимо, когда вдруг Анна Андреевна сказала:

— Вернемся!

Там, за пыльным золотом листвы, она увидела в сумерках мемориальную доску. Это была доска в честь Веры Комиссаржевской, которая умерла в Ташкенте в 1910 году от черной оспы.

— В 1910 году, — сказала Анна Ахматова. — До всего!.. И дом — как глухая исповедь.

Мы уже свернули на Жуковскую, когда увидели, что нам навстречу идет полковник Крылов в новом плаще с полевыми погонами. Из-под фуражки сверкала серебряная седина.

Анна Андреевна познакомилась с ним в госпитале, где он был на излечении после ранения. Он был человеком ее поколения, и она называла его «старым кавалером», потому что он заслужил Георгиевский крест еще на Первой мировой войне. Крылов знал и любил стихи Анны Ахматовой. У него был сборник «Из шести книг», побывавший с ним на фронте.

— Завтра в шесть утра я улетаю, — сказал полковник Крылов. — Я не мог уехать, не простившись с вами.

Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984), *театральная и киноактриса:*

Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег… На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был nature morte, — Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями фиолетового винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть.

Когда мы возвращались домой, по дороге встретили солдат, они пели солдатские песни. Она остановилась, долго смотрела им вслед и сказала: «Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню…»

Светлана Александровна Сомова:

Писатели часто шли со своими стихами, рассказами в госпитали. Ахматова тоже ходила.

В госпиталях тогда лежали изувеченные больные, не редко без рук и без ног. Санитарки и сестры самоотверженно за ними ухаживали, называли их, по русской привычке не поддаваться горю, «самоварчиками». И вот в одной большой палате (бывший класс школы, занятой госпиталем) лежал такой горько страдающий молодой человек. Мы боялись к нему подходить, чтобы не задеть своим сочувствием; он все время молчал, не отвечал на вопросы, сестры по глазам догадывались, что ему бывало нужно.

Ахматова сразу подошла к нему, молча села около кровати. Я не видела ее глаз, но, верно, они были горькими. А потом она стала тихим голосом читать стихи о любви: «Годовщину последнюю празднуй…», «Я с тобой не стану пить вино…», «Как белый камень в глубине колодца…» и другие. Непонятно было, как и зачем читать такие стихи полуживым людям. Но в палате стало тихо. Лица разгладились, посветлели. И этот несчастный юноша вдруг улыбнулся. Тело-то ранено, жизнь висит на волоске, а душа — живая, отзывается на любовь, на правду… Анна Андреевна часто приходила к этому юноше, которого полюбила. Как она рассказывала потом, одна из молоденьких и хорошеньких сестер, потерявшая на войне всех близких, взяла его к себе после госпиталя, вышла за него замуж. Анна Андреевна, которую он почему-то называл своей спасительницей, бывала у них в гостях, помогала им. Так одно горе, столкнувшись с горем других, пережитые совместно, становятся чем-то даже крепче счастья.

Эдуард Григорьевич Бабаев:

Наша школа переехала в помещение детской технической станции, но мы считались шефами госпиталя.

Поэтому мне и поручили передать Анне Ахматовой приглашение на литературный вечер в госпитале. Для раненых. И в то время, когда мы готовили для нее зал, она взяла халат и в сопровождении главврача прошла в палату.

Сержант Еремеев, никогда прежде не слышавший ее имени, весь в белом, руки на растяжках, как серафим, все приподнимался на койке, чтобы взглянуть на нее. Потом он сказал:

— Эх, ребята, жаль, что вы опоздали. Тут сестра приходила…

— Какая сестра?

— Нездешняя… Вы ее не знаете. Песни рассказывала…

Я повторил эти слова Анне Ахматовой. Она говорила, что ничего лучше никогда не слыхала. И переспрашивала:

— Сестра?

— Нездешняя!

— «Песни рассказывала…»

Еще я спросил ее, какие стихи она читала там, в палате.

— Новые, «Постучись кулачком — я открою…», — ответила она. Потом старые: «Пахнет гарью…», «Далеко в лесу огромном…»

Светлана Александровна Сомова:

Помню зал Военной академии имени Фрунзе. Запах натертого пола и новых гимнастерок, яркий свет. Ахматова читает стихи. Строгая, стройная, в чем-то темном. Тогда не было микрофонов, и мы все перед аудиторией старались усилить голос, почти кричали. Но Ахматова читала тихим голосом. И благоговейная тишина сразу ее окружала при первых словах: «Мы знаем, что ныне лежит на весах…» Такова емкость ахматовского слова. Передо мной встают лица офицеров, вначале официальные, а потом как бы согретые душевным теплом. Гул одобрения, гром аплодисментов. Ахматова не кланялась в ответ, она слегка наклоняла голову, рукой как бы отстраняла шум особым жестом, снимающим аплодисменты, и читала стихи дальше.

Лидия Корнеевна Чуковская:

18 января 1942. …Вчера был грандиозный вечер в пользу эвакуированных детей. Я пошла. Впервые пошла, *хотя выступала* А.А. (Я видела ее на эстраде один раз в жизни: в Петербурге, в Доме литераторов, на Бассейной, в годовщину смерти Блока. С тех пор сознательно не ходила: ни в Союз в Ленинграде, ни здесь. Я знала, что будет стыдно за публику.)

Это был полный провал. Всех встречали бурно, провожали с треском, а ее и встретили вяло и проводили почти молча. Она прочла «Воронеж» и «Веет ветер лебединый». Я не глядела на нее. Читала она напряженным голосом, чтобы ее слышали — но все равно было неслышно, — и торопливо, как школьница, чувствуя неуспех, чтобы поскорее кончить. Дело тут не только в малой интеллигентности публики, но и в общей благотворительно-эстрадно-кабаретной настроенности ее. Недаром наибольший успех имела Русланова.

Фаина Георгиевна Раневская:

Был знойный полдень, невыносимый зной, нестерпимое пекло удержало меня дома, я боялась выйти на улицу и вдруг увидела из окна бегущую, не идущую, а бегущую А.А. Она задыхалась, долго не могла начать говорить. А потом сказала, что ей было трудно усидеть дома: сейчас услышала по радио, что Муссолини свергнут народом, и что это событие такой важности, что ей захотелось поделиться со мной радостью. «Вы понимаете, ведь это уничтожена колыбель фашизма, — повторила она несколько раз. — Это надо отпраздновать, Фаина!» И я принесла кувшин разливного, дешевенького вина. Я никогда не видела ее такой радостной.

Лидия Корнеевна Чуковская:

27 *апреля 1942.* Вечером, поздно, зашла к NN (Ахматовой. — *Сост.)* занести и вложить последние перепечатанные страницы. У нее застала Раневскую, которая лежала на постели NN после большого пьянства. NN, по-видимому, тоже выпила много. Она казалась очень красивой, возбужденной и не понравилась мне. Она слишком много говорила — не было ее обычных молчаний, курений — ее обычной сдержанности, тихости. Она говорила не умолкая и как-то не скромно: в похвалу себе. Приехали какие-то с Памира, стояли перед ней на коленях. Зовут туда. Не вставая. Видела когда-то в каком-то журнале свой портрет с подписью «гений» и т. д. И — откровенности: Вовочка (предположительно В. Г. Гаршин. — *Сост.)* был похож на Лёву, потому она его так любила. И Пастернак объяснялся, говорил: вас я мог бы любить.

Я ушла, мне не хотелось видеть ее такой.

Раневская, в пьяном виде, говорят, кричала во дворе писательским стервам: «Вы гордиться должны, что живете в доме, на котором будет набита доска». Не следовало этого кричать в пьяном виде.

Раневская без умолку говорит о своем обожании NN, целует ей руки — и это мне тоже не нравится.

Фаина Георгиевна Раневская:

Из ближайших друзей она очень любила Е. С. Булгакову и часто говорила мне: «Она умница, она достойная! Она прелесть!»

…В Ташкенте я часто у нее ночевала — лежала на полу и слушала «Мастера и Маргариту» Булгакова… Она читала вслух, повторяя: «Фаина, это гениально, он гений!»

Лидия Корнеевна Чуковская:

*6 мая 1942. …*Я слышала, что накануне, сидя у Радзинских, NN в шутливой форме предложила основать «общество людей, не говорящих худо о своих ближних». Я затронула эту тему, сказав, что я не смогла бы быть членом этого общества. NN откликнулась очень горячо и строго и произнесла один из своих великолепных грозных монологов, который я постараюсь воспроизвести:

— Разумеется, я не намерена организовывать никакого общества. Я просто хотела в деликатной форме намекнуть присутствующим, что я не желаю слышать каждую минуту какую-нибудь гадость об одном из наших коллег — будь то Уткин, П. или Городецкий. Мы здесь все живем так тесно, что нужно принимать специальные меры, чтобы сохранять минимальную чистоту воздуха. Зак говорил, что в эмиграции к каждой фамилии, как у испанцев «дон», механически приставлялось «вор» — до того люди дошли. Вот и у нас скоро будет: воровка Чуковская, воровка Ахматова… Будет, уверяю вас!.. И говорят ведь чушь собачью, невесть что. Это очень легко проверить, если вспомнить, что говорят люди о нас самих. До какой степени это на нас не похоже. Когда я вспоминаю, что говорят обо мне, я всегда думаю: «Бедные Шаляпин и Горький! По-видимому, все, что о них говорят, — такая же неправда». У меня был такой случай: в одном доме меня познакомили с дамой. Потом, через несколько дней, узнаю: дама рассказывает, будто она была моей соседкой, когда я была замужем за Островским. Но я никогда ни за каким Островским замужем не была. Оказывается: замужем за Островским была Наталья Грушко. Для дамы женщина-поэт ассоциировалась именно с Грушко. Вот и получилось…

— С той минуты ко всем вашим мужьям неизменно присчитывался Островский. Плюс Островский, — сказала Раневская.

— Именно так, — подтвердила NN.

Светлана Александровна Сомова:

Ахматова заболела, как оказалось, брюшным тифом. Она металась по кровати, лицо было красным и искаженным. «Чужие, кругом чужие! — восклицала она. Брала образок со спинки кровати: — На грудь мне, когда умру…» И какие-то бледные беспомощные женщины были вокруг…

Я бросилась к Бусселю. Буссель Григорий Аронович — чудесный черноглазый человек с ироническим лицом, известный терапевт, тогда уже доктор медицинских наук, руководил больницей в Ташми. Он немедленно пошел со мной на улицу Карла Маркса, осмотрел Ахматову и взял к себе в больницу. Анна Андреевна в больнице написала такие трудные стихи:

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная…
Ой худая, ой худая
Голова тифозная.
Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,
Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо б,
Я одна — рассказчица.

Сильва Соломоновна Гитович:

Рассказывала, как болела тифом и лежала в больнице, как было тяжело, тоскливо и жарко, как в больничной палате над каждой койкой висели, чуть раскачиваясь, пыльные электрические лампочки, которые не горели, и как в один прекрасный день, топая ногами, вошел больничный завхоз, остановился в дверях и громко спросил: «Где здесь лежит Ахмедова?», после чего подошел к ее кровати и молча включил лампочку. Оказывается, в это время Сталин поинтересовался ею и спросил у Фадеева, как живет Ахматова, а тот позвонил в Ташкент, и в результате была проявлена забота и лампочка над кроватью включена.

Лидия Корнеевна Чуковская:

8 ноября 1942. …Вчера я пошла к ней… Квадратная голубая палата, сверкающее окно — и на постели какая-то жалкая, маленькая — NN.

Лицо страшно переменилось за те сутки, что я ее не видала. Желто-серое. Глядит, не мигая, в стену. Плохо слышит. Сначала она с нами не говорила, лежала как отдельно, потом разговорилась. Расспрашивала Раневскую о комнате, о вещах, целы ли книги, кому что отдали. Обо всех мелочах. При нас ей принесли обед из Правительственной поликлиники: бульон, манная каша на молоке, молоко. Я грела на электрической плитке, стоящей в коридоре, а Раневская кормила ее с ложечки. Сестра сказала, что ей нужна отдельная кастрюлька, чайничек. Я пошла за посудой домой. Когда я вернулась — NN диктовала Раневской телеграмму Пуниным:

— Лежу больнице больна брюшным тифом желаю всем

долгой счастливой жизни.

Раневская сделала в мою сторону круглые глаза, а я сказала:

— NN, дорогая, не посылайте такую телеграмму!

Она закричала:

— Я еле на ладан дышу, а вы все еще когтите меня! Дайте уж мне самой делать, что я знаю! А вы мучаете меня все.

— Я не мучаю Вас, А.А., мне только жалко.

— Кого вам жалко? Меня, их или телеграфное агентство?

— Их.

Она сердито рассмеялась.

— Господь с вами, Л.К., что это вы вдруг стали такой христианкой!

А что это она перестала вдруг быть христианкой?..

9 *ноября.* Вчера я была у нее недолго. t° утром 38.6. Выглядит немного лучше. Со мной разговаривала как-то сухо — не знаю, недовольна мной или просто от бессилия. У нее был профессор Кацанович, выслушал, нашел, что состояние хорошее, но велел обстричь волосы. Я высказала сожаление о челке.

— Ах в гробу все равно — бритая или небритая, — сказала NN.

…После одного долгого молчания сказала:

— Я вчера объяснила Фаине свою телеграмму в Самарканд, чтобы она поняла. Я ответила Н.Н. как православному, как христианину. В моей телеграмме он прочтет ответ: прощение. Что и требуется… А остальные? Ира ко мне равнодушна совсем, ей все равно — есть я или нет. Анна Евгеньевна дико меня ненавидит. Кого же там жалеть?

А смерти бояться не надо, и слова этого бояться не надо. В жизни есть много такого, что гораздо страшнее, чем смерть. Вся грязь, вся мерзость происходят от боязни смерти. А эти интеллигентские штучки, что умирает кто-то другой, плохой, а не мы, — надо бросить. Именно мы погибаем, мы умираем, а никто другой.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

В шестидесятые годы Анна Андреевна была занята восстановлением своей пьесы, написанной в Ташкенте во время войны и сожженной в 1944 году.

Пьеса называлась «Энума элиш» — первыми словами вавилонской мифологической поэмы о начале мироздания; Шилейко перевел их «Когда вверху» (у Ахматовой «Там вверху»). Анна Андреевна так мне рассказывала о том, как она ее написала. Она была больна тифом. Тяжелый период болезни кончился, и

еще оставалась от бреда горячечность (я это хорошо знаю — сам тогда же и там же, в Ташкенте, болел тифом). И в этом как бы бреду, уже предвещавшем выздоровление, Ахматова увидела стену и грязные пятна на ней, что-то вроде плесени. За этими пятнами открылась главная сцена пьесы: судилище, на котором автора обвиняли во всех возможных и невозможных прегрешениях. Уже после того, как пьеса, увиденная в бреду, была ею записана, Ахматова сама почувствовала, что она в ней сама себе (в который раз! — дурные предсказанья всегда сбывались, как со стихами «Дай мне долгие годы недуга…») напророчествовала беду. И в испуге сожгла пьесу. Позднее убедилась, что предвиденья послетифозного бреда из пьесы сбылись.

Светлана Александровна Сомова:

Это было раннее лето, вероятно, май 1944 года. Здание Союза писателей на Первомайской в Ташкенте. По коридору идет Ахматова в сером костюме и туфлях на низком каблуке. К ней подходит Гафур Гулям. Гафур Гулям был легендарной личностью… Узбеки называли его «Гафур удивительный». И красив он был красотой особенной, сумными, проницательными, какими-то мгновенными глазами и темно-смуглым лицом с бронзовой медали. Так вот, подходит Гафур к Ахматовой и говорит ей: «Вас зовут Анна, а по-узбекски «ана» — мать. Поедем со мной в кишлак на янги ер — новую землю, там завтра пускают первую воду на пустынные поля». Ахматова сделала отрицающий знак рукой, но Гафур взял эту руку за локоть: «Как мать, вы должны…» Она благодарно улыбнулась: «Но я не знаю по-узбекски. Как же?..» Гафур Гулям подозвал Сайду Зуннунову: «Вот вам переводчик, она будет помогать вам и все рассказывать». Ехали по летнему городу, сквозь пух цветущих тополей, по шоссе, окруженному молодыми ивами и поющими арыками, изредка сквозь эту свежесть как бы прорывалось сухое марево Голодной степи, которая веками не знала воды и только теперь, несмотря на все тяжести войны, кое-где начинала дышать влагой. Степное марево, приближаясь, опаляло щеки, как пламя из открытой печи.

А Гафур веселился (он всегда веселился и поражал), нараспев, очень музыкально, читал на фарси Омара Хайяма; Ахматова попросила перевести. Гафур прочел еще раз, а Сайда, строку за строкой, как подстрочник, переводила на русский, объясняя что-то по пути. Вдруг я заметила, что губы Анны Андреевны безмолвно шевелятся, Сайда заметила, замолчала, и Гафур, обернувшись, заметил и замолчал. Это было чудо — три поэта своей особой интуицией почувствовали поэтическую волну

поэта четвертого. Она пошептала что-то и внезапно прочла вслух:

Если пьешь ты вино, только с умным дели его, друг.
Иль с красавицей тюльпаноликой, стыдливою, друг.
Много лучше не пей и грехов своих не открывай,
Пей один, пей тайком эту чашу счастливую, друг.

Это было удивительным примером сотворчества, того, что я называю дружбой вдохновений. Ритмичная, прелестная по своей певучей пластике мелодия персидского рубай, русский с узбекским акцентом язык Сайды Зуннуновой и, наконец, мягкий, удлиненный по-восточному, на нежном русском языке перевод Ахматовой, точный по смыслу и с редифом, как было у Хайяма.

Эдуард Григорьевич Бабаев:

В тот вечер, когда Анна Ахматова уезжала из Ташкента, комната ее была полна провожающими. Абдулла Каххар, Хамид Алимджан, Владимир Липко, Алексей Федорович Козловский — все пришли проститься.

У ворот стояла машина, присланная из Союза писателей, которая должна была отвезти Анну Ахматову на аэродром. Она шла к машине, накинув плащ на руку. Было совсем темно. И, как это бывает весной в Ташкенте, пахло пылью, сиренью, грозой. Большие тучи наплывали на высокие тополя. Я приблизился к дверце машины и сказал:

— Прощайте, Анна Андреевна!

— До свидания! — ответила она. — Храни тебя Господь!

Я никогда не слыхал таких слов.

Яков Захарович Черняк:

Сказала очень нежно: «Здесь мы узнали простые и важные вещи. Как прекрасен звук льющейся воды и что древесная тень ничем не заменима… Все, о чем мы читали в восточной поэзии и не очень верили…»

«Поэма без героя»

Анна Андреевна Ахматова:

Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции «Маскарада» 25 февраля 1917 года), а конница лавой неслась по мостовой, то ли… когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в <то время> когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 октября 1917 года). Как знать?! <…>

…Я сразу услышала и увидела ее всю — какая она сейчас (кроме войны, разумеется), но понадобилось двадцать лет, чтобы из первого наброска выросла вся поэма.

На месяцы, на годы она закрывалась герметически, я забывала ее, я не любила ее, я внутренне боролась с ней. Работа над ней (когда она подпускала меня к себе) напоминала проявление пластинки. Там уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы (чем-то вроде Маяковского), и т. д. Характеры развивались, менялись, жизнь приводила новые действующие лица. Кто-то уходил. Борьба с читателем продолжалась все время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе.

Иногда она вся устремлялась в балет (два раза), и тогда ее было ничем не удержать. Я думала, что она там и останется навсегда. Я писала некое подобие балетного либретто, но потом она возвращалась и все шло по-старому. Первый росток (первый толчок), который я десятилетиями скрывала от себя самой, это, конечно, запись Пушкина: «Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне…» Всеволод (Князев. — *Сост.*) был не первым убитым и никогда моим любовником не был, но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу… что они навсегда слились для меня. Вторая картина, выхваченная прожектором памяти из мрака прошлого, это мы с Ольгой после похорон Блока, ищущие на Смоленском кладбище могилу Всеволода (1913). «Это где-то у стены», — сказала Ольга, но найти не могли. Я почему-то запомнила эту минуту навсегда.

Анатолий Генрихович Найман:

Ахматова начала писать Поэму в пятьдесят лет и писала до

конца жизни. Во всех смыслах эта вещь занимала центральное место в ее творчестве, судьбе, биографии. Это была единственная ее цельная книга после пяти первых, т. е. после 1921 года, при этом не в одном ряду с ними, а их — как и все, что вообще написала Ахматова, включая самое Поэму, — покрывшая собою, включившая в себя.

Анна Андреевна Ахматова:

Я начала ее в Ленинграде (в мой самый урожайный 1940 год), продолжала в «Константинополе для бедных», который был для нее волшебной колыбелью, Ташкенте, потом в последний год войны опять в Фонтанном Доме, среди развалин моего города, в Москве и между сосенок Комарова. Рядом с ней, такой пестрой (несмотря на отсутствие красочных эпитетов) и тонущей в музыке, шел траурный Requiem, единственным аккомпанементом которого может быть только Тишина и редкие отдаленные удары похоронного звона. В Ташкенте у нее появилась еще одна попутчица — пьеса «Энума элиш» — одновременно шутовская и пророческая, от которой и пепла нет. Лирика ей не мешала, и она не вмешивалась в нее.

Галина Лонгиновна Козловская:

Нарушив молчание, она вдруг сказала: «Хотите, почитаю последние стихи?» И прочла нам пролог из «Поэмы без героя», начинающийся словами: «Из года сорокового, как с башни, на все гляжу».

Впечатление от пролога осталось навсегда.

И с этой ночи началось одно из самых удивительных событий нашей жизни. Судьбе было угодно одарить нас чудом, сделав свидетелями того, как в течение двух лет росла и творилась поэма.

С того новогоднего вечера Анна Андреевна стала приходить к нам часто. Иногда это бывало каждый день, иногда через 2–3 дня. И мы знали, что она спешит к нам, чтобы прочитать написанное и получить от нас отклик сердца.

Поэма росла и развивалась как дерево, прорастая все новыми побегами. Мы видели, как поэт ломает одно, заменяя другим, и поэма, разрастаясь, становилась все фантастичней, загадочней, призывно притягательной в своей энигматичности.

Многое в ней было непонятно. Иногда просто потому, что многие реалии были неведомы и не могли быть ведомы нашему поколению. Другое же вследствие того, что автор уходил в такие темные подземелья памяти, где только он один не шел на ощупь.

Ошеломляли неустанность творческого напряжения,

появление и оттачивание все новых граней, форм. От одних эпиграфов захватывало дух и кружилась голова. Начиная от итальянского текста моцартовского Дон Жуана — «Смеяться перестанешь раньше, чем наступит заря» — и кончая Хемингуэем — «Я уверен, что с нами случится самое ужасное» — из «Прощай, оружие».

С годами их становилось все больше и больше. Сотни отблесков чужой мысли врастали в поэму. И мне кажется, что если бы собрать всю их многочисленность, то в своем множестве они выросли бы в поэму сами по себе.

Эдуард Григорьевич Бабаев:

Я переписывал по рукописям Анны Ахматовой ее «Поэму без героя» в тетрадь, которую называл «Моей антологией». Мне и сейчас кажется «ташкентский вариант» поэмы более совершенным и «чистым», чем его позднейшая версия, с дополнениями и пояснениями. Однажды я сказал об этом Анне Андреевне. Она кивнула и ответила, как мне показалось, с пониманием:

— Все мои ташкентские друзья так считают…

Не могу утверждать, что тогда мне была ясна сама поэма. Но ветер, шевеливший листочки плюща за окном, казался мне ветром истории.

Нина Пушкарская, ташкентская поэтесса, услышав начало поэмы:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу, —

сказала:

— Это как набат!

Анна Андреевна согласилась. В некоторых списках поэмы, в том числе и в моей тетради, пролог имеет название «Набат». Но это название не удержалось.

Наталия Александровна Роскина:

В то время (1945 г. — *Сост.)* и, кстати, до конца дней на поэме были сосредоточены все интересы Ахматовой, все линии ее личной поэтической жизни. «Томашевский сказал мне, что о моей поэме он мог бы написать книгу». Томашевский — это было для нее много, очень много, она чрезвычайно ценила пушкинистов и честью для себя считала быть причисленной к их клану.

Сергей Васильевич Шервинский:

Один раз за все наше долгое знакомство у нас с Анной

Андреевной возникло несогласие, довольно крупное. Она прочла мне, в раннем варианте, свою «Поэму без героя». Я потерялся в необычной для Ахматовой безудержной образности. На вопрос Анны Андреевны, как я понимаю поэму, я ответил каким-то смутным, головным построением, от которого тут же готов был отказаться. Поэма до меня «не дошла». Это не помешало Анне Андреевне потом читать мне поэму еще, с дополненными вставками. Затем я высказал суждение, уже не касавшееся поэтического приема. Я сказал всегда внимательному к моим замечаниям автору, что поэма, выросшая на основе трагического эпизода личной жизни, написана слишком по горячим следам. Отсюда и еще не совсем опоэтизированное, еще находящееся в состоянии кипения, жизненное, а не поэтически претворенное чувство. Анна Андреевна задумалась. Потом сказала, по-видимому не без горечи, несколько слов, из которых было ясно, что мое замечание, касавшееся самой сути произведения, не прошло мимо ее чуткости и ума. Впоследствии мы не возвращались больше к «Поэме без героя», но не раз, встречаясь со мною, Анна Андреевна говорила вскользь: «Ведь вы моей поэмы не любите…» Не могу скрыть, что она называла меня «лучшим слушателем».

Исайя Берлин:

Затем она прочла еще не оконченную в то время «Поэму без героя». Сохранились звукозаписи ее чтения, и я не буду пытаться описать его. Уже тогда я сознавал, что слушаю гениальное произведение. Не буду утверждать, что тогда я понимал эту многогранную и совершенно волшебную поэму с ее глубоко личными аллюзиями в большей степени, чем понимаю ее теперь. Ахматова не скрывала, что поэма была задумана как своего рода окончательный памятник ее жизни как поэта, памятник прошлому ее города — Петербурга, которое стало неотъемлемой частью ее личности, и — под видом святочной карнавальной процессии переодетых фигур в масках — памятник ее друзьям, их жизни и судьбам, памятник ее собственной судьбе, своего рода художественное «ныне отпущаеши», произнесенное перед неизбежным и уже близким концом. Строки о «Госте из будущего» еще не были написаны, как и третье посвящение. Это таинственная вещь, полная скрытого смысла. Курган научных комментариев неумолимо растет над поэмой. Скоро она, пожалуй, будет совсем погребена под ним. <…>

Я спросил ее, согласится ли она когда-нибудь дать комментарий к «Поэме без героя». Ее многочисленные аллюзии могут остаться непонятными для тех, кто не был знаком с

жизнью, описываемой в поэме. Неужели она хочет, чтобы все это так и осталось неизвестным? Она ответила, что когда тех, кто знали мир, о котором написана поэма, настигнут дряхлость или смерть, поэма тоже должна будет умереть. Она будет погребена вместе с поэтом и ее веком. Она написана не для вечности и даже не для потомства. Для поэта единственное, что имеет значение, — это прошлое, а более всего — детство. Все поэты стремятся воспроизвести и заново пережить свое детство. Вещий дар, оды к будущему, даже замечательное послание Пушкина Чаадаеву — все это чистая декламация и риторика, попытка стать в величественную позу, устремив взгляд в слабо различимое будущее, — поза, которую она презирала.

Владимир Григорьевич Адмони:

Цельности многослойной душевной природы Ахматовой соответствовала и цельность в развитии ее духовного мира. Это развитие было необычайно органическим и было отмечено чрезвычайной устойчивостью. Ничего застывшего в Ахматовой не было. Она была крайне отзывчивой на все, что происходило в стране и мире. Поэзия Ахматовой была открыта всему колоссальному историческому опыту XX века. И в жизни, и в творчестве Ахматовой отчетливо вырисовывается несколько этапов. Но крайне существенно, что на переходе от одного этапа к другому прежний этап, прошлый период внутренней жизни Ахматовой не угасал в ней, а продолжал жить. Особенно прочными, особенно устойчивыми из периодов жизни Ахматовой были те, которые оказались самыми важными, решающими в годы ее молодости.

Это, прежде всего, зима 1913/1914 года, зима, которая принесла Ахматовой славу. Затем конец 10-х и начало 20-х годов — период, когда было создано столько новых ахматовских стихов, а жизнь Ахматовой была ознаменована тяжкими переломными событиями, когда умер Блок и был расстрелян Гумилёв. И когда жизнь Ахматовой стала до крайности горестной, в годы брака с В. К. Шилейко. Оценки людей и явлений искусства, которые сложились у Ахматовой в те годы, почти никогда не изменялись в последующие десятилетия. Пересматривала эти свои оценки она лишь изредка и неохотно. И память об этих, по сути дела, сформировавших ее периодах она хранила неотступно. Особенно тема «последней зимы перед войной», тема кануна Первой мировой войны, никогда не покидала Ахматову. Свое самое главное, самое сверкающее воплощение эта тема нашла в «Поэме без героя». Именно величайшая органичность этой темы для Ахматовой делает понятной и ту легкость, с которой Ахматова

писала поэму (эту легкость Ахматова иногда называла колдовской), и владевшее Ахматовой ощущение, что поэма сама пришла к ней и как бы сама себя пишет, и постоянные возвращения к поэме, дополнения и вычеркивания, вообще переделки в течение свыше двадцати лет, с 1940 г. до начала шестидесятых годов. Как говорила Ахматова, поэма все это время не оставляла ее, заставляла все снова и снова к себе обращаться, хотя Ахматова не раз зарекалась и торжественно провозглашала, что больше к поэме никогда не притронется.

Живут в поэме и люди предвоенной эпохи, и ее атмосфера, вообще все то, что Ахматова так остро запомнила в канун первой глобальной катастрофы XX века. И кажется закономерным, что решающий толчок для создания поэмы Ахматова получила в канун нового эпохального и трагического события XX века, Великой Отечественной войны, в дни, когда Вторая мировая война уже началась. Сложная и неблагодарная задача подыскивать для каждого персонажа поэмы его конкретный прототип. Тем более что от варианта к варианту приметы многих персонажей меняются. И у них, несомненно, есть и общее, типическое значение. Но все же решусь утверждать, что в некоторых из этих персонажей, притом в самых главных из них, есть черты конкретные и устойчивые, притом те черты, которые восприняла Ахматова еще в дни, изображенные в поэме. Потому что характеристика этих людей в поэме полностью соответствует тому, как их очертила Ахматова в наших беседах первых лет знакомства и как рисовала их в беседах более поздних лет.

Особенно примечателен образ героини поэмы — Ольги Афанасьевны Глебовой-Судейкиной. Героини, потому что в «Поэме без героя» героя действительно нет, но героиня есть, вернее, даже две героини. Одна героиня сюжетная — актриса Глебова-Судейкина (в вводной ремарке ко второй главе сказано прямо: «Спальня Героини»), Другая, подлинно смысловая или, проще говоря, вообще подлинная героиня поэмы — изображенная в поэме эпоха.

Глебова-Судейкина, Оля, как называла ее Ахматова, показана в поэме, во всех ее вариантах, лишь слегка видоизменяясь, именно такой, какой она ожила чуть ли не во время нашей первой довоенной прогулки. Мы шли по Фонтанке, и, когда поравнялись с каким-то домом (не помню каким), Ахматова сказала: «А вот здесь мы жили с Олей», назвала год или годы, когда они здесь жили (даты я тоже не запомнил). И была поражена, что я не понимаю, о какой Оле идет речь, а затем еще более удивилась, узнав, что я вообще никогда не слыхал о Глебовой-Судейкиной. Она стала мне о ней рассказывать, и меня поразило сочетание

восхищения и глубокой сопричастности с какой-то затаенной отчужденностью и горечью, которых сама Ахматова, наверное, даже не замечала. В «Поэме без героя» такая двойственность отношения Ахматовой к Глебовой-Судейкиной присутствует явственно. А в какой-то мере эта двойственность воспроизводит ту двойственность, которой окрашена оценка всей изображенной в поэме эпохи. В этом смысле обе героини поэмы даны в одном ракурсе, хотя акценты при показе каждой из них расставлены иные.

Анна Андреевна Ахматова:

Другое ее свойство: этот волшебный напиток, лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем-то во сне или в ряде зеркал («И я рада или не рада, что иду с тобой…»). Иногда я вижу ее всю сквозную, излучающую непонятный свет (похожий на свет белой ночи, когда все светится изнутри), распахиваются неожиданные галереи, ведущие в никуда, звучит второй шаг, эхо, считая себя самым главным, говорит свое, а не повторяет чужое, тени притворяются теми, кто их отбросил. Все двоится и троится вплоть до дна шкатулки.

И вдруг эта фата-моргана обрывается. На столе просто стихи, довольно изящные, искусные, дерзкие. Ни таинственного света, ни второго шага, ни взбунтовавшегося эха, ни теней, получивших отдельное бытие, и тогда я начинаю понимать, почему она оставляет холодными некоторых своих читателей. Это случается, главным образом, тогда, когда я читаю ее кому-нибудь, до кого она не доходит, и она, как бумеранг (прошу извинить за избитое сравнение), возвращается ко мне, но в каком виде (!?) и ранит меня самое.

Игнатий Михайлович Ивановский:

О своей любимой «Поэме без героя» она говорила, задумавшись, глядя сквозь стены и поверх голов:

— Гадина.

И в этом слове слышалась как бы далекая жалоба, даже отголосок отчаяния. Уж очень неотступно преследовала Ахматову ее поэма.

Анна Андреевна Ахматова:

Поэма опять двоится. Все время звучит второй шаг. Что-то идущее рядом, другой текст, и не понять, где голос, где эхо и которая тень другой, поэтому она так вместительна, чтобы не сказать бездонна. Никогда еще брошенный в нее факел не

осветил ее дна. Я как дождь влетаю в самые узкие щелочки, расширяю их — так появляются новые строфы. За словами мне порой чудится петербургский период русской истории:

Да будет пусто место сие, —

дальше Суздаль, Покровский монастырь, Евдокия Федоровна Лопухина. Петербургские ужасы: смерть Петра, Павла, дуэль Пушкина, наводнение, блокада. Все это должно звучать в еще не существующей музыке. Опять декабрь, опять она стучится в мою дверь и клянется, что это в последний раз. Опять я вижу ее в пустом зеркале.

Лидия Корнеевна Чуковская:

8 мая 1954. …Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула из чемоданчика экземпляр «Поэмы» (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски. Читала она одни только вставки — строки, строфы, — быстро переворачивая страницы и мельком указывая, куда вставляется новое, — а я, от боязни, что не пойму и не запомню куда, — вообще ничего не расслышала и ничего не запомнила. На обратном пути проверяла, теперь проверяю — ни строки.

«1913 год» стал называться «Петербургская повесть».

— Как долго она вас не отпускает! — сказала я.

— Нет, тут другое. Сейчас я ее не отпускаю. Я пыталась рассказать все, что за этим вижу. Оказывается, вижу только я. Ну, может быть, вы. Теперь пусть видят все… А то Лидин ходит и толкует бог знает как. Пусть теперь ему говорят: «Ничего там такого нету, вам надо лечиться…

«**Эмма Григорьевна Герштейн:**

Повышенный интерес к рукописи «Поэмы без героя» — именно к рукописи — не покидал Ахматову в течение многих последующих лет. Безмерно страдая от невозможности напечатать свое любимое детище полностью, Анна Андреевна тиражировала его во множестве машинописных экземпляров. Она изобрела особенное графическое расположение отдельных кусков текста, утвердив надолго систему разных виньеток, начертаний эпиграфов и собственноручных надписей. Отдельные экземпляры она дарила не только друзьям и знакомым, но и незнакомым, мнение которых о «Поэме…» она хотела бы услышать. Даже дарственные надписи на этих экземплярах были стандартизированы. «Дано такому-то (инициалы) в такой-то день такого-то месяца и года, Москва или Ленинград».

Вячеслав Всеволодович Иванов:

В конце пятидесятых годов, когда все время редактировалась и дописывалась «Поэма без героя», Ахматова спрашивала у каждого, кто ее прочитал, его суждение. Потом некоторые из чужих критических оценок она пересказывала и сопоставляла.

Анна Андреевна Ахматова:

Просто люди с улицы приходят и жалуются, что их измучила Поэма. И мне приходит в голову, что мне ее действительно кто-то продиктовал, причем приберег лучшие строфы под конец. Особенно меня убеждает в этом та демонская легкость, с которой я писала Поэму: редчайшие рифмы просто висели на кончике карандаша, сложнейшие повороты сами выступали из бумаги.

Анатолий Генрихович Найман:

Поэма — при самом строгом авторском наблюдении за ее композицией — писалась сама, и чаще приходилось не впускать в нее принимавший ее внешность кусок, чем загонять в строфы прямо к ней относившийся, но формально самостоятельный.

Ахматова собирала мнения о Поэме, сама писала о ней, будущая судьба Поэмы ее волновала, она опасалась, что текст слишком герметичен или представляется таким. Рассказывала, что одна поклонница, декламировавшая стихи с эстрады, спросила у нее: «Говорят, вы написали поэму без чего-то? Я хочу это читать». С промежутком в два года она дала мне два ее варианта, оба раза подробно расспрашивала о впечатлении. Ища место для новых строф, вписывая или, наоборот, вычеркивая их, проверяла, естественно ли, убедительно ли, неожиданно ли ее решение. После одной такой беседы предложила сделать статью из всего, что я говорил о Поэме. Мне же казалось тогда, что статья должна быть фундаментальной, а мои заметки фрагментарны, но все же года через полтора я все собрал и что-то написал, поутратив свежих мыслей и не преуспев в фундаментальности. В частности, я описывал тогда строфу Поэмы: «Первая ее строка, например, привлекает внимание, заинтересовывает; вторая — окончательно увлекает, третья — пугает; четвертая — оставляет перед бездной; пятая одаряет блаженством, и шестая, исчерпывая все оставшиеся возможности, заключает строфу. Но следующая начинает все сначала, и это тем более поразительно, что Ахматова — признанный мастер короткого стихотворения». Уже после ее смерти выяснилось, что она записала это мое наблюдение в самый день нашего разговора, и вот в каких словах: «Еще о Поэме. Икс-Игрек сказал сегодня, что

для поэмы всего характернее следующее: еще первая строка строфы вызывает, скажем, изумление, вторая — желание спорить, третья — куда-то завлекает, четвертая — пугает, пятая — глубоко умиляет, а шестая — дарит последний покой, или сладостное удовлетворение, читатель меньше всего ждет, что в следующей строфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о поэме я еще не слыхала. Это открывает какую-то новую ее сторону».

Лидия Корнеевна Чуковская:

16 июня Пересказала мнение Шервинского о «Поэме», по-моему, совершенно ошибочное. Это, якобы, не поэма, а цепь отдельных лирических стихотворений. Неверно, никаких отдельных стихотворений тут нет. Второе: это старомодно, десятые годы. Неверно, тут только по материалу — десятые годы, а сама «Поэма» оглушительно нова, в такой степени нова, что неизвестно, поэма ли это; и нова не для одной лишь поэзии Анны Ахматовой, а для русской поэзии вообще. (Может быть, и для мировой; я судить не могу, я слишком невежественна.) Тут все впервые: и композиция, создающая некую новую форму, и строфа, и самое отношение к слову: акмеистическим — точным, конкретным, вещным словом Ахматова воспроизводит потустороннее, духовное, отвлеченное, таинственное. Конечно, это свойство всегда было присуще поэзии Ахматовой, но в «Поэме» оно приобрело новое качество. Острое чувство истории, тоже всегда присущее поэзии Ахматовой, тут празднует свое торжество. Это праздник памяти, пир памяти. А что память человека нашей эпохи набита мертвецами — вполне естественно: поколение Ахматовой пережило 1914, 1917. 1937, 1941 и проч., и т. п. История пережита автором интимно, *лично* — вот в чем главная сила «Поэмы». Тут и те, кто погиб в предчувствии гибели, — самоубийца Князев, например («Сколько гибелей шло к поэту, / Глупый мальчик, он выбрал эту… <…> Не в проклятых Мазурских болотах, / Не на синих Карпатских высотах…»). В «Поэме» не вообще мертвые — убитые, замученные, расстрелянные — а *ее* мертвые, те, что когда-то делали живой ее жизнь, герои ее лирических стихов. Но это вовсе не превращает «Поэму» в цепь лирических стихотворений, как полагает Шервинский. Это только пропитывает эпос лирикой, делает «Поэму» лирико-эпической, бездонно глубокой, хватающей за душу. «У шкатулки ж двойное дно» — а какое дно у памяти? четверное? семерное? не знаю, память бездонна, поглядишь — голова закружится.

Корней Иванович Чуковский:

30 *июня 1955.* Ахматова приехала ко мне в тот самый день, когда в СССР прилетел Неру Так как Можайское шоссе было заполнено встречавшим его народом, всякое движение в сторону Переделкина было прекращено. Перед нами встала стена милиционеров, повторявших одно слово: назад. Между тем в машине сидит очень усталая, истомленная Ахматова, которую мне так хочется вывезти из духоты на природу…

Ахматова была, как всегда, очень проста, добродушна и в то же время королевственна. Вскоре я понял, что приехала она не ради свежего воздуха, а исключительно из-за своей поэмы. Очевидно, в ее трагической, мучительной жизни поэма — единственный просвет, единственная иллюзия счастья. Она приехала — говорить о поэме, услышать похвалу поэме, временно пожить своей поэмой. Ей отвратительно думать, что содержание поэмы ускользает от многих читателей, она стоит за то, что поэма совершенно понятна, хотя для большинства она — тарабарщина… Ахматова делит мир на две неравные части: на тех, кто понимает поэму, и тех, кто не понимает ее.

Анатолий Генрихович Найман:

Поэма была для Ахматовой, как «Онегин» для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии. По ней, как по каталогу, можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения. Начавшись обзором пережитого — а стало быть, написанного, — она сразу взяла на себя функцию учетно-отчетного гроссбуха — или электронной памяти современных ЭВМ, — где, определенным образом перекодированные, «отмечались» «Реквием», «Ветер войны», «Шиповник цветет», «Полночные стихи», «Пролог», словом, все крупные циклы и некоторые из вещей, стоящие особняком, равно как и вся ахматовская пушкиниана. Попутно Ахматова совершенно сознательно вела Поэму и в духе беспристрастной летописи событий, возможно, осуществляя таким своеобразным способом пушкинско-карамзинскую миссию поэта-историографа.

1946. Триумф и отчаяние

Наталия Александровна Роскина:

Жила Ахматова тогда — даже не скажешь: бедно. Бедность — это мало чего-то, то есть что-то, у нее же не было ничего. В пустой комнате стояло небольшое старое бюро и железная кровать, покрытая плохим одеялом. Видно было, что кровать жесткая, одеяло холодное. Готовность любить, с которой я переступила этот порог, смешалась у меня с безумной тоской, с ощущением близости катастрофы… <…> Боже, как неуютна была ее жизнь! Часами молчал телефон, неделями никто не приходил…

Ахматова страдала от одиночества. Я поняла это, когда сама пожаловалась ей на одиночество. Я рано осталась сиротой и с шестнадцати лет жила в Москве одна, в комнате, где когда-то жил мой отец. «Есть уединение и одиночество, — сказала она. — Уединения ищут, одиночества бегут. Ужасно, когда с твоей комнатой никто не связан, никто в ней не дышит, никто не ждет твоего возвращения».

Для самой Ахматовой в ее уединении и одиночестве был неожиданным тот взрыв любви и восхищения, которым ее одарили москвичи на знаменитом вечере в Колонном зале в 1946 году, когда она читала стихи вместе с Пастернаком.

Лев Владимирович Горнунг:

6. IV.1946. 3-го и 4 апреля в Колонном зале Дома союзов были назначены два поэтических вечера Ахматовой.

Увидев афиши, я бросился в кассы, но, как оказалось, билеты на оба вечера были распроданы. Вечером после первого выступления Ахматовой мне рассказали, что, когда она вышла на эстраду, публика, поднявшись со своих мест, встретила ее громом аплодисментов и в течение 15 минут не давала ей начать свое выступление. Концерт прошел с исключительным успехом.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Ахматова и Пастернак выступают в Колонном зале Дома Союзов. «Вы не ходите, это не для белого человека», — сказала мне Анна Андреевна, и я не была. Но она рассказывала, что Пастернак обнаружил полное владение законами эстрады. Переходил с одного конца сцены на другой, приговаривая: «А теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам», от кого-то прятался за спины сидящих в президиуме и т. п. (А самой Ахматовой послали из зала записку: «Вы похожи на

Екатерину II».)

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Их обоих просили читать снова и снова, они не отказывались, успех их был огромен. Первой из них двоих читала Ахматова, потом она ушла из президиума, перешла в правую ложу, где слушала, как читает Пастернак. Прослезилась, когда он читал реквием Цветаевой.

Нина Антоновна Ольшевская:

Когда она выступала в Колонном зале Дома союзов, из публики ее просили прочесть из «Четок» и «Белой стаи» и выкрикивали названия самых знаменитых стихотворений. Она делала перед собой отрицательный жест рукой, морщилась и чуть лукаво улыбалась…

Наталия Александровна Роскина:

Я, конечно, была в числе тех, кто неистово аплодировал ей, требуя продолжать чтение. Я даже послала ей записочку, она легко нашла меня глазами и, улыбнувшись, отрицательно покачала головой. Ахматова была в черном платье, на плечах — белая с кистями шаль. Держалась она на эстраде великолепно, однако заметна была скованность и какая-то тревога. Наконец ей пришлось встать: «Наизусть я своих стихов не знаю, а с собой у меня больше нет». Залу было ясно, что это вынужденные слова. Овации продолжали греметь; проницательная, отнюдь не наивная политически Ахматова сразу же почувствовала, что они не сулят ей добра. Этот вечер вскоре оказался для нее роковым.

Лев Владимирович Горнунг:

Второй концерт был отменен, и кассы Дома союзов возвращали деньги.

Ника Николаевна Глен:

По слухам, Сталин был разгневан пылким приемом, который оказывали Ахматовой слушатели. Согласно одной из версий, Сталин спросил после какого-то вечера: «Кто организовал вставание?»

Анатолий Генрихович Найман:

Ахматова составила список своих публичных выступлений, последние из которых помечены 1946 годом.

Из 31, упомянутого в списке, на этот год приходится, по крайней мере, 6, и почти наверное к тому же времени относится

несколько выступлений перечисленных, но не датированных. Эту насыщенность она ставила в связь с последовавшим в августе Постановлением ЦК.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Пастернак рвался к широкой аудитории. Ахматова больше радовалась благоговейному почитанию и восхищенному любованию многочисленных знакомых. Повторяли привезенное из Ташкента слово: «королева». Весь литературный beau monde перебывал тогда на Ордынке у Ардовых, где она останавливалась. Актеры, художники и даже эстрадники хотели засвидетельствовать Ахматовой свое почтенье. Не забывали ее и старые друзья совсем другого толка. Борису Леонидовичу это очень нравилось. Он говорил о впечатлении какого-то прибоя, при мне сравнил квартиру Ардовых с «узловой станцией», а имя ей «Ахматовка».

Я мало бывала на этих пиршествах тщеславия, о которых впоследствии Анна Андреевна вспомнила покаянно: «…я просто обалдела…» Впрочем, и в этих обстоятельствах она не теряла чувства юмора и самоиронии. Она тогда из «городской нищенки», какой выглядела до войны, преобразилась в полнеющую немолодую и элегантную даму: ей выдали из каких-то специальных фондов одежду и обувь. Впервые за десятки лет у нее появилась маленькая изящная шляпа. «Я похожа на жену посла, — сказала она мне, — он уже двадцать лет с ней не живет, и все это знают, но когда она приезжает, в газетах сообщается о прибытии супруги такого-то, а чиновники из министерства едут на вокзал ее встречать».

Галина Лонгиновна Козловская:

Первая встреча в Ленинграде была незабываема. Война кончилась. Великое мученичество блокады, не отпетое, не воспетое еще, постепенно уходило в святая святых народной памяти.

Мы пришли к ней в Фонтанный Дом, тот самый дом, где родилась и жила Ее поэма.

Когда мы поднялись на площадку, перед дверью Ахматовой стоял куст великолепной белой сирени. Она открыла нам дверь и, обняв нас и взглянув на сирень, воскликнула: «Боже мой, опять цветы!»

Когда мы очнулись от первой радости встречи, то увидели великое множество прекрасных тюльпанов. Она рассказала нам, как почти каждый день неведомые люди ставят цветы перед ее дверью. Иногда с краткими записками от каких-то военных,

иногда просто неведомо от кого.

Это было время, когда Ахматова была в ореоле славы и любви.

В «Ленинградской газете» только что была напечатана статья «В гостях у поэта» с ее портретом. Она получала письма от множества людей, говоривших ей о своей любви к ней и ее поэзии. Она вполне пережила ту радость сокровенной любви читателя к поэту.

В конце стихотворения «Читатель» она написала:

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг.
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

Это был счастливый, но, как оказалось, короткий взлет в ее судьбе.

Никто не мог предвидеть тогда, что через два месяца грянет страшная беда.

Но он настал, тот день, когда в газетах было напечатано знаменитое постановление об Ахматовой и Зощенко. Несправедливое, оскорбительное и позорное. Произведя длительный шум и разрушив здоровье у многих писателей, не аннулировав официально возведенную напраслину, потом тихо свели все на нет, словно ничего и не было. Такое же пережил и Шостакович.

Все это трудно вспоминать. А вспоминать надо, а не стыдливо молчать.

Анатолий Генрихович Найман:

Ахматова говорила, что, сколько она ни встречала людей, каждый запомнил 14 августа 1946 года, день Постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», так же отчетливо, как день объявления войны. Это был первый послевоенный год, и меня отправили к родственникам в маленький латвийский город Лудзу (Люцин), подкормиться. Дом тетушки стоял на площади, прямо против него, через тротуар, располагалась деревянная трибуна, мимо которой по праздникам проходила демонстрация. Мне было 10 лет, я лежал на горячих от солнца крашеных досках трибуны и что-то читал, когда с газетой в руках появился двоюродный брат, рижанин, старшеклассник, и, изображая строгость, проговорил: «Что это у вас в Ленинграде за безобразие творится, распустились!»

Сильва Соломоновна Гитович:

Знаменитое собрание в Смольном, выступление Жданова, а затем роковое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».

На другой день после этого собрания А. А., спокойная, статная, плавно поднималась по деревянной литфондовской лестнице. Встречные почтительно и робко жались к стене, давая ей дорогу. Смущенные служащие, затаив дыхание, сидели потупившись. Аня Капорина, с полными слез глазами, разговаривала с ней. Окончив свои дела, А. А., как всегда, приветливо распрощалась и не спеша направилась к выходу. Лишь только за ней закрылась дверь, как горестный вздох удивления, восхищения и жалости пронесся ей вслед: «Боже, какое самообладание! Подумайте, какая выдержка!» — поражались работники Литфонда. Слух о ее приходе, полном спокойствии и царственном самообладании побежал из комнаты в комнату, быстро перекинулся в здание Союза, перекочевывая из отдела в отдел.

О ней говорили с болью, восхищением и грустью. Говорили, что только она одна могла так по-королевски спокойно, с достоинством разговаривать и держаться после всего того, что случилось.

Когда Анне Андреевне рассказали, что ее приход в Литфонд, спокойствие и приветливость с окружающими удивили, всколыхнули и восхитили все учреждение, она сказала: «Да боже мой! Мне ровным счетом ничего не было известно. Утренних газет я не видела, радио не включала, а звонить мне по телефону, по-видимому, никто не решился. Вот я и говорила с ними, будучи в полном неведении о том, что обрушилось на мою седую голову».

Наталия Александровна Роскина:

Впоследствии Анна Андреевна часто рассказывала всем, как она узнала о касающемся ее и Зощенко постановлении ЦК. Этот рассказ, повторяясь, звучал все менее страшно. Однако когда я слышала его впервые, мороз продирал по коже. Газет Анна Андреевна не получала, радио у нее не было. Она ничего не знала! Кто-то позвонил и спросил, как она себя чувствует. Позвонил и еще, и еще кто-то. Не чуя беды и лишь слегка недоумевая, она ровно отвечала всем: все хорошо, благодарю вас, все в порядке, благодарю вас… И, выйдя зачем-то на улицу, она прочла, встав на цыпочки, поверх чужих голов, газету с докладом Жданова.

Лев Владимирович Горнунг:

Писательская братия быстро отреагировала на это постановление и исключила Ахматову и Зощенко из Союза писателей. Писатели даже перестарались и лишили ее рабочей продовольственной карточки. Но это вызвало недовольство в верхах, и карточку Ахматовой возвратили.

По этому поводу в Москве многие вспоминали пророческую басню Крылова «Ослы на Парнасе».

Ирина Николаевна Пунина:

Акума лежала в большой комнате, ни с кем не виделась, не разговаривала. Она позвала к себе Анюту, которая после этого стала повторять: «Я знаю один секрет — Зощенко и Ахматова». Убедить ее помолчать и понять, что это действительно секрет, было трудно. На следующий месяц Акуме в Союзе писателей не дали никаких карточек. Она и не пыталась ни получить их, ни что-либо узнать. Николай Николаевич после очередного разговора с Акумой позвал меня к себе и сказал: «Я сговорился с Акумой, будем теперь питаться вместе на наши карточки. Ты постарайся это организовать, ты сумеешь».

До тех пор в Союзе писателей Ахматовой выдавалась рабочая карточка, лимит на 500 рублей, пропуск в закрытый распределитель на Михайловской ул., книжка для проезда в такси на 200 рублей в месяц. За ней было закреплено право на дополнительную комнату.

Дополнительную комнату отнять не могли, так как в то время уже вернулся с фронта Лёва Гумилёв и жил в маленькой комнате. Все остальное просто не дали следующий месяц.

В Союзе проходили мрачные заседания. Ахматову исключили из числа членов Союза. Но были люди, чувствовавшие чудовищную несправедливость происходившего и старавшиеся в меру своих сил помочь Анне Андреевне пережить обрушившуюся на нее травлю.

Нина Антоновна Ольшевская:

Я была с мальчиками в Коктебеле. И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается? Получаю от него телеграмму: «Дура читай газеты». И я прочла постановление (о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и об Ахматовой). Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми… Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград (тогда еще были пропуска). Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву. И когда мы шли по Климентовскому переулку,

встречали писателей, они переходили на другую сторону.

Сурков мне говорил: «Как я вам благодарен, что вы ее привезли к себе».

А потом приехал из экспедиции Лёва, и они вместе уехали в Ленинград…

Ирина Николаевна Пунина:

В начале сентября на несколько дней из Москвы приехала Нина Антоновна Ольшевская. При ней А.А. сжигала свои рукописи и бумаги. Нина Антоновна, возвратившись в Москву, естественно, рассказывала, в каком положении она увидела Анну Андреевну. И в Ленинграде не все смирились с постановлением. Больше других, рискуя всем, открыто помогала Ольга Федоровна Берггольц.

Наталия Александровна Роскина:

Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через десять дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что повидаться со мной не сможет. Голос ее был мертвым.

Сильва Соломоновна Гитович:

А постановление росло, ширилось и двигалось семимильными шагами по стране. Все газеты того времени пестрят именами Зощенко и Ахматовой. Постановление изучают, прорабатывают. В народе только об этом и говорят, ничего толком не понимая, за что же их, бедных, так ругают.

Одна сердобольная старушка в очереди говорила, что всем известно, какой Зощенко подлец и мерзавец, а вот за что так ругают его жену Ахматову — это совсем непонятно. «Известно за что, — отвечала другая, — мужья подлецы, а жены бедные за них всегда в ответе».

А газеты не унимались. Вот их исключают из Союза, лишают карточек. Хлеб надо покупать на рынке втридорога. Денег нет. Если бы не друзья, жить было бы совсем невозможно… Время шло, и вдруг в верхах заинтересовались тем, как живут Зощенко и Ахматова. Их вызвали в Смольный, после чего им были выданы хлебные карточки.

Молоденькая секретарша, отмечая пропуск А.А. на выход из Смольного, вскинула на нее глаза и быстрым шепотом сказала: «А я ваши стихи все равно люблю…»

Ирина Николаевна Пунина:

29-го (сентября. — *Сост.)* позвонили из Союза и велели

прийти за ахматовской карточкой. Дали рабочую карточку за весь прошедший месяц. Я пошла с ней в «наш» магазин, но там «отоварить» карточку отказались: она не была «прикреплена». Потом мы пошли вместе с Лёвой второй раз. Снова отказали. Встретили домработницу М. М. Зощенко. Она тоже хлопотала с целой месячной карточкой. Нас направили в дежурный магазин, около Казанского собора. Долго объяснялись. Лёва присел на бампер чьего-то автомобиля и отпускал меткие реплики. Наконец вышел заведующий и сказал, что мы можем все получить, но только теми продуктами, которые у них остались, а за хлеб — мукой. Завтра начинается другой месяц. Мы были на все согласны. Лёва подхватил мешок с мукой, я — сумки с другими продуктами, попрощались с домработницей Мих. Мих. Она сказала: «Все понесу моему Зощенке».

С тех пор А.А. давали одну рабочую карточку каждый месяц.

Галина Лонгиновна Козловская:

Мы были в это время снова в Ленинграде, и увидеть ее не пришлось. Она лежала за закрытой дверью. Лежала неподвижно, глядя в потолок, безмолвная, как бы лишившись речи. Так было долго-долго.

Наталия Александровна Роскина:

Неуют холодной ахматовской комнаты принял тюремный характер. Анна Андреевна дома почти ничего не говорила, а только все показывала на потолок. Однажды, придя домой, она обнаружила на подушке и на полу куски известки и уверилась, что в потолок вставлен микрофон. Обычно мы бесприютно гуляли по безлюдным местам, обмениваясь короткими репликами.

Галина Лонгиновна Козловская:

А вокруг бушевал литературный шабаш, и в клочья летели репутации и разбивались сердца. А люди, неведомые ей, в то ужасное для нее время стали вместо цветов посылать ей еще не отмененные хлебные и продуктовые карточки, которые она неукоснительно сдавала в домоуправление.

Елена Константиновна Гкльперина-Осмёркина

Доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» я прочла в дачном поезде. Мне стало почти дурно, когда я с трудом вникала в грубые фразы, поносящие Зощенко и Ахматову. «Наверное, они оба умрут, не переживут позора и отверженности», — думала я.

Увидела я Анну Андреевну месяца через два в Ленинграде. Я

пришла к ней с какими-то продуктами, захватила с собой даже буханку хлеба. К моему удивлению, Ахматова встретила меня с приветливой улыбкой и бодрым шагом провела в свою комнату. «О, какую тяжелую сумку вы тащите», — заметила она сочувственно. Я выложила все продукты из сумки на стол. «Анна Андреевна, я принесла вам то, что могла, ведь вы живете без карточек». Она неожиданно рассмеялась и приподняла коробку, стоявшую на столе. Под ней лежали продовольственные карточки. «Что это?» — изумилась я. «Это мне присылают на дом». — «Кто?» — «Право, не знаю, но присылают почти каждый день».

Ни капли раздражения, ни гнева… Я молчала, а в душе моей звучали строки ее стихотворения, обращенного к Музе:

> Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
> Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Наталия Александровна Роскина:

Друзья организовали тайный фонд помощи Ахматовой. По тем временам это было истинным героизмом. Анна Андреевна рассказала мне об этом через много лет, грустно добавив: «Они покупали мне апельсины и шоколад, как больной, а я была просто голодная».

Виталий Яковлевич Виленкин:

В Фонтанном Доме я у нее потом бывал несколько раз начиная с зимы 1946/47 года — каждый раз, как приезжал в Ленинград. Особенно мне запомнился первый мой приход к ней после катастрофы 1946 года…

Когда Анна Андреевна открыла мне дверь, я не мог не заметить сразу, как она осунулась и как изменилось, стало каким-то неспокойным выражение ее глаз. На этот раз были особые причины, затруднявшие начало разговора. Я боялся причинить ей какую-нибудь невольную боль.

Среди книг, как всегда повсюду разбросанных, которые я стал разглядывать, было много библиотечных — о Моцарте, о его жизни и творчестве, французских, немецких, английских; были тут и очень редкие старинные издания. На мой вопрос, почему у нее сейчас такое скопление «моцартианы», Анна Андреевна сказала, что книги эти приносят по ее просьбе из фондов Публичной библиотеки, что нужны они ей и для ее «пушкинских штудий» и потому что с некоторых пор ее «заинтриговал» Моцарт как личность, что она много думает о его судьбе, об истории создания «Реквиема», о тайне, окружающей его смерть и место

погребения. Все больше увлекаясь, она мне рассказывала о женщинах, которых Моцарт любил, о его жене, которая оказалась способна не установить тогда же место захоронения его тела, о легендах, которые распространяли о нем и о его творчестве Сальери и другие его друзья-враги.

Все это в устах Анны Андреевны и в той обстановке было, конечно, очень далеко от желания занять гостя интересным разговором; я это почувствовал и тогда, но по-настоящему осознал гораздо позже. Она говорила со мной о том, чем сама в то время жила. К Моцарту ее притягивало его глухое, безысходное одиночество, его вопиюще незаслуженная обреченность.

И опять, как семь лет назад, мы пили кофе, только на этот раз Анна Андреевна извинилась, что придется без сахара. И так как у меня не оказалось папирос, то курили ее, какие-то самые дешевые. А одну из книг, лежавших на подоконнике, — альбом старинных литографий Петербурга — она меня попросила, если можно, взять с собой и продать в какой-нибудь букинистический магазин. Позднее я узнал, что в это время Ирина Николаевна и Борис Викторович Томашевские, ее старые, верные друзья, ежедневно посылали ей с кем-нибудь из своих детей горячую еду, заворачивая кастрюльку в несколько газет, чтобы не остыла. <…>

Анне Андреевне нужно было выйти из дому — куда-то не то на Литейный, не то на улицу Некрасова, к каким-то знакомым. Она меня попросила ее проводить, прибавив, опять шепотом: «Только на улице не будем разговаривать». Когда я уже подавал ей пальто в передней, она вдруг попросила меня минутку подождать и, вернувшись из своей комнаты, быстро протянула мне какой-то сложенный вчетверо лист бумаги, опять приложила палец к губам, молча показала рукой, чтобы я спрятал его во внутренний карман. «После прочтете», — тихо сказала она уже на лестнице. Мы шли молча по набережной Фонтанки, по Пантелеймоновской, простились где-то на Литейном.

Наталия Александровна Роскина:

Два месяца я знала об Анне Андреевне только одно — что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что очень прошу ее со мной встретиться. Ахматова назначила мне свидание у Русского музея. С ужасным волнением я ждала ее на холодной скамейке в плохую ноябрьскую ленинградскую погоду. Ахматова стала мне говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате — подслушивают; что

общение с нею может иметь для меня самые страшные последствия. Нас обеих знобило. Анна Андреевна смотрела в сторону, не на меня. Но как только я почувствовала, что она просто за меня боится, я сразу повеселела и ответила ей, что я совсем и не думаю ни о чем таком и думать не хочу. Анна Андреевна продолжала говорить о необходимости быть осторожной, но я уже поняла, что это говорится по долгу, а не по сердцу. На самом деле она была мне рада, вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня с нежной жалостью, сказала тихо: «Миленький!» Страшный круг обреченности был тогда, и в этом круге был весь этот огромный прекрасный город, и честь наша, и правда, и я сама была в этом круге, но я все это забыла, радуясь, что она сидит рядом со мной и что я тоже ей дорога.

Провожая Анну Андреевну, я взяла с нее слово, что она не будет меня отталкивать. Но когда мы стали прощаться у Фонтанного Дома, на ее лицо вернулась каменная маска, и она едва кивнула мне, проходя в парадное.

Нина Антоновна Ольшевская:

Замечательно, что в первые же месяцы после августовского постановления, подвергшего ее остракизму, Ахматова написала свою лучшую исследовательскую работу ««Каменный гость» Пушкина». Набело переписанная ее рукой статья датирована 20 апреля 1947 г. Вероятно, к тому же времени относится пока не найденная, может быть незаконченная, статья о другой «маленькой трагедии» Пушкина — «Моцарте и Сальери». Что касается «Повестей Белкина», Ахматова вернулась к ним лишь через десять лет, когда наконец увидела свет работа о «Каменном госте». Вслед за этим Анна Андреевна немедленно захотела сделать к ней ряд добавлений, среди них — ее уникальные наблюдения над психологией творчества Пушкина на материале «Повестей Белкина». Эти дополнения опубликованы посмертно.

Исайя Берлин:

Когда мы встретились в 1965 году, Ахматова в подробностях рассказала о кампании, поднятой против нее властями. Она рассказала мне, что сам Сталин лично был возмущен тем, что она, аполитичный, почти не печатающийся писатель, обязанная своею безопасностью, скорее всего, тому, что ухитрилась прожить относительно незамеченной в первые годы революции, еще до того как разразились культурные баталии, часто заканчивавшиеся лагерем или расстрелом, осмелилась совершить страшное преступление, состоявшее в частной, не разрешенной властями встрече с иностранцем, причем не просто с иностранцем, а

состоящим на службе капиталистического правительства. «Оказывается, наша монахиня принимает визиты от иностранных шпионов», — заметил (как рассказывали) Сталин и разразился по адресу Ахматовой набором таких непристойных ругательств, что она вначале даже не решилась воспроизвести их в моем присутствии. То, что я никогда не работал ни в каком разведывательном учреждении, было несущественно: для Сталина все сотрудники иностранных посольств или миссий были шпионами. «Конечно, — продолжала она, — к тому времени старик уже совершенно выжил из ума. Люди, присутствовавшие при этом взрыве бешенства по моему адресу (а один из них потом об этом мне рассказывал), нисколько не сомневались, что перед ними был человек, страдавший патологической неудержимой манией преследования». 6 апреля 1946 года, на следующий день после того, как я покинул Ленинград, у входа на ее лестницу поставили людей в форме, а в потолок комнаты вставили микрофон — явно не для того, чтобы подслушивать, а чтобы вселить страх. Она поняла, что обречена. И хотя официальная немилость последовала позднее, через несколько месяцев, когда Жданов выступил с официальным отлучением ее и Зощенко, она приписывала свои несчастья личной паранойе Сталина.

«Беспокойная старость»

Надежда Яковлевна Мандельштам:

До конца жизни она оставалась бездомной, бесприютной, одинокой бродягой. Видно, такова судьба поэтов. И она не переставала удивляться своей судьбе: «У всех есть хоть что-то — муж, дети, работа, хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь… Почему у меня ничего нет?..»

Наталия Александровна Роскина:

После смерти Сталина Ахматовой сразу стало легче, хотя бы в денежном отношении. Вышел ее перевод пьесы «Марион Делорм» в собрании сочинений Виктора Гюго, она получила первые крупные деньги — они доставили ей много удовольствия. Правда, она никак не изменила своего быта и не предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала на склоне лет обзаводиться хозяйством. Я как-то спросила Анну Андреевну: «Если бы я стала богатой, сколько времени я получала бы от этого удовольствие?» Она ответила с присущей ей ясностью: «Недолго. Дней десять». Когда у меня завелись деньги, я спросила Анну Андреевну, что мне с ними делать. Она отвечала опять-таки твердо: «Строить жилье. Жилье — это главное». Но сама она по-прежнему просила пристанища, — когда, случалось, у Ардовых не было места, жила у Западовых, у Ники Глен, М. С. Петровых, Л. Д. Большинцовой, М. И. Алигер, Шенгели… А ее ленинградская комната и позднее — комаровская дача являли собой прежнюю неприкаянность…

Лидия Корнеевна Чуковская:

17 февраля 1963. …Дом — стены, окна, крыша, стол, стул, постель — у Анны Андреевны все это есть — там, дома, в Ленинграде, да еще Будка в придачу. Но ведь настоящий дом — это не стены и крыша, а забота. Ирочка и Аничка, видно, не очень-то. Хотя в Ленинграде Союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой (не Пуниным), они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по *ее* образу и подобию — быт, соответствующий *ее* работе, *ее* болезни, *ее* нраву, *ее* привычкам. Сколько бы они ни усердствовали, выдавая себя всюду за «семью Ахматовой», — это ложь. Никакая они не семья. Я-то ведь помню Ирину в тридцать восьмом году, как она обращалась с Анной Андреевной еще в Фонтанном Доме. Здешние друзья, принимая Ахматову, хотя и продолжают собственный образ жизни (продиктованный работой, болезнями,

привычным укладом, стариками, детьми, теснотою), умеют устраивать так, чтобы, живя у них, жила она на *свой* лад. Потому, видно, и наезжает Анна Андреевна так часто из Ленинграда в Москву.

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва и т. д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали ее по мере сил. Она была чрезвычайно нетребовательна, и я не раз, навещая ее в гостях и особенно у Пуниных, заставал ее голодной — хотя именно там, у Пуниных, она «ежеминутно все оплачивала».

Анатолий Генрихович Найман:

И Пунина, и Каминская относились к Ахматовой, разумеется, уважительно, но с оттенком недовольства — легкого, без объяснения конкретных причин, и постоянного. Бывали периоды ласковости, большей близости, они сменялись охлаждением и ссорами, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность, демонстрируемая обращением к Ахматовой «Акума», не подвергались колебаниям, они были вынесены за скобки. Про Пунину в ее лучший период Ахматова как-то сказала: «Ира — замирённый горец». К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом» старался достать путевку в Дом творчества в Комарове; по возвращении из Будки ее, часто через считанные дни, собирали и отправляли в Москву. <…>

Жить в Доме творчества писателей она не любила: всегда на людях, причем не ею выбираемых, казарменный «подъем» и «отход ко сну», общая ванна, общий завтрак-обед-ужин, — но мирилась с этим, как с неизбежностью.

Наталия Иосифовна Ильина:

В течение многих лет каждую весну вставал вопрос: кто сможет поехать с Ахматовой в Комарове? Кто будет носить из колодца воду и готовить обед? Эти заботы брали на себя по очереди друзья, и однажды вышло так, что никто не смог поехать, и об Анне Андреевне пеклась жена поэта Гитовича, Сильва Соломоновна, жившая в соседней «будке»…

Анатолий Генрихович Найман:

Бездомность, неустроенность, скитальчество. Готовность к

утратам, пренебрежение к утратам, память о них. Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в таза. Не культивируемое, не — спутанные волосы, не — намеренное занашивание платья до дыр. Не поддельное — «три месяца уже не дают визу в Париж». Неблагополучие как норма жизни. И сиюминутный счастливый поворот какого-то дела, как вспышка, лишь освещал несчастную общую картину. «Выгодный» перевод, который ей предлагали, означал недели или месяцы утомительной работы, напоминал о семидесятирублевой пенсии. Переезд на лето в Комарово начинался с поисков дальней родственницы, знакомой, приятельницы, которая ухаживала бы за ней, помогала бы ей. Вручение итальянской премии или оксфордской мантии подчеркивало, как она больна, стара. Точно так же ее улыбка, смех, живой монолог, шутка подчеркивали, как скорбно ее лицо, глаза, рот.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Анна Андреевна в Москве бывала всегда, что называется, окружена. Друзья заботились о ней, каждый по-своему, не выпускали ее надолго из поля зрения, старались облегчить ее жизнь. Но то ли потому, что их было много и усилия их, естественно, не координировались, то ли еще почему-нибудь, но только как-то выходило так, что самый элементарный уход, в котором она нуждалась просто уже в силу возраста и болезни, везде, и «дома», в Ленинграде, и «в гостях», в Москве, подолгу отсутствовал. В Ленинграде она была «дома», а все-таки жила она там бездомной.

Наталия Иосифовна Ильина:

Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М. Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: «На следующей выходите?» Я крикнула: «Уступите кто-нибудь место!» Не помню: уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаяния и запомнилось…

Эмма Григорьевна Герштейн:

В 1958 году вышла в свет ненавистная Ахматовой ее куцая книга «Стихотворения» — первая после постановления 1946 года. На подаренном мне экземпляре она надписала: «Остались от козлика ножки да рожки». Когда еще не все авторские экземпляры были раздарены, часто среди разговора Анна Андреевна объявляла, что ей надо еще поработать над своей книгой. Она шла в другую комнату, брала с собой клей и там склеивала страницы, на которых были напечатаны стихи из цикла «Слава миру». Затем аккуратно переписывала другие стихи и вклеивала их в книгу. Причем в каждом экземпляре были другие стихи. Она надеялась таким способом сохранить для потомства свои ненапечатанные стихотворения.

Юлиан Григорьевич Оксман:

24 ноября 1962 г. В девятом часу добрался до новой временной квартиры Анны Андреевны. Она ютится сейчас у Ники Николаевны Глен. Большая коммунальная квартира, очень захламленная (Садовая-Каретная, 8, кв. 13). 8-й этаж. Странно, что А. А. Ахматова, проводящая больше половины года в Москве, живет в таких трудных условиях — всегда «на краешке чужого гнезда», как бедная родственница, без настоящего ухода. Сперва она живет у Ардовых, затем переезжает к Марии Сергеевне Петровых, потом к Нике Глен, потом еще куда-нибудь.

Но Анна Андреевна сейчас очень бодра, в явном подъеме. Вид у нее «победный», блестят глаза, молодой голос, легкие и свободные движения. У нее сегодня были гости из Болгарии, заезжал А. А. Сурков, без конца звонят друзья. Газеты и журналы просят стихов. Правда, Твардовский неожиданно отказался печатать куски из ее поэмы, несмотря даже на специально заказанное К. И. Чуковскому послесловие, но А.А. передает поэму в «Знамя». Журнал этот не очень ей нравится, она презирает и Кожевникова, и Сучкова, но большого значения месту публикации она не придает. Лишь бы печатали полностью, без принудительных вариантов, да скорее… Но в «весну» А.А. верит… Когда же я сказал, что Москва в последние дни похожа на Петербург весною 1821 года, когда все читали IX том «Истории» Карамзина (о зверствах Грозного), А.А. со смехом заметила: «Я ведь подумала об этом же самом».

Виталий Яковлевич Виленкин:

Усугублялось с годами и то, что Пастернак когда-то называл «ахматовкой»: самые гостеприимные хозяева начинали иногда добродушно подсчитывать звонки, которых бывало по 20–30 в день и на которые им часто приходилось отвечать за Анну

Андреевну; ее посетители сменяли один другого бесконечной чередой, и нужно было все-таки хоть как-то помогать ей их принимать; да и посильно оберегать ее от чрезмерного утомления тоже надо было. Она бывала легкомысленной по отношению к своему нездоровью, а между тем оно давало о себе знать все более и более тревожными звонками — с валидолом и нитроглицерином она уже не расставалась, задыхания ее повторялись все чаще, приходилось иногда вызывать и «неотложку». Она не жаловалась никогда, в крайнем случае могла сказать о себе: «Я что-то стала совсем плохая», но и это мимоходом. Правда, один раз, когда я ее спросил, бывают ли у нее неприятные ощущения в сердце, она мне ответила не очень похоже на себя: «Только эти ощущения у меня и бывают». Но тоже очень спокойно.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Теперь она почти не бывала одна, вокруг было множество знакомых, друзей, поклонников и поклонниц, иностранных почитателей и исследователей ее поэзии (у отечественных руки тогда еще не дошли, если не считать всем известных единичных исключений). Этот водоворот людей вокруг Ахматовой Пастернак назвал «ахматовкой».

Ахматова и сама могла иногда посмеиваться над своей способностью (может быть, уже привычкой или желанием?) постоянно быть посреди «ахматовки». Все время кто-то приходил и уходил, один помогал править верстку, другой вычитывал текст с машинки, еще одна поклонница помогала найти затерявшуюся рукопись в чемоданчике. И среди этого ералаша Ахматова непостижимым образом писала стихи и прозу, читала книги и журналы, готовилась к писанию литературоведческой статьи.

Маргарита Иосифовна Алигер:

В последние годы — вот и у нас на Лаврушинском — работать ей, очевидно, было трудно, почти невозможно, писала она не много и совсем неприметно — между телефонными разговорами, многочисленными посещениями. Читала она тоже мало, сама говорила, что уже не столько читает, сколько перечитывает. Даже любимый томик Шекспира в подлиннике лежал подолгу раскрытый на одной странице. Главным содержанием ее жизни стали люди, общение с людьми. Телефонных звонков было не счесть, что же до визитов, то если их бывало в день три-четыре, день считался очень спокойным и даже пустоватым. А выпадали дни, когда число посетителей переваливало за десять! И Анна Андреевна переносила такое

количество людей с завидной легкостью — день был прожит полноценно.

Она любила знать с утра, что вечером кто-то придет. Не забежит мимоходом, а придет в гости на целый вечер, сидеть, пить чай, беседовать. Нервничала, если редко звонил телефон.

Лев Адольфович Озеров:

Последние восемь-десять лет жизни Анна Андреевна Ахматова была окружена людьми в большей степени, чем прежде. Это были старые друзья (Ф. Г. Раневская, Н. А. Ольшевская, Л. К. Чуковская, В. М. Жирмунский, Э. Г. Герштейн, Н. Я. Мандельштам и другие). К ним добавились «друзья последнего призыва». Среди этих последних были люди глубоко преданные ей, понимающие ее, искренно желающие помочь ей. Но приходили и люди, чуждые ей, шумные, всего более желавшие обратить внимание общества на то, видите ли, обстоятельство, что и «мы имели честь» общаться с Анной Ахматовой. Они записывали ее голос на пленку, фотографировали, задавали банальные и никчемные вопросы. Интервью и интервьюшки…

Утомленная такого рода посетителями, Анна Андреевна как-то на другой день сказала мне:

— Что-то странное, а подчас и подозрительное вижу в этом вспыхнувшем интересе к бывшей, чудом выжившей акмеистке. Это не по мне. Мне спокойней и привычней в моем одиночестве, я в нем знаю каждый уголок…

Наталия Александровна Роскина:

Кто только в эти годы к ней не ходил! Иностранцев было неистовое количество.

Наталия Иосифовна Ильина:

Последние годы своей жизни она допускала к себе всех, кто хотел ее видеть, и круг ее знакомых расширялся безудержно…

Прежде было иначе… Помню, как поздней осенью 1955 года ко мне на улицу Кирова без телефонного звонка зашла одна моя приятельница и застала у меня Ахматову. На моих глазах Анна Андреевна облачилась в свою непробиваемую броню и уже только на вопросы отвечала, и то кратко, и уж вообразить было нельзя, что она бывает иной. Приятельница моя оробела, не засиживалась, я ее не удерживала, и, одеваясь в передней (а я провожала), она говорила не полным голосом, а шепотом, будто рядом больной. Сильное впечатление умела произвести Ахматова на свежего человека!

Был около нее в те годы узкий круг друзей, дружба с

которыми исчислялась десятилетиями. Новых людей допускала к себе с трудом.

Но вот стали выходить ее книги. Сначала переводы корейской поэзии. Затем (1958 год) не только переводы Ахматовой, но и стихи ее. Вскоре Государственное издательство художественной литературы подготовило новую книгу стихов, без переводов. Эта толстенькая, малого формата, изящная книжка появилась весной 1961 года.

Ахматова стала получать письма читателей. Все чаще звонил телефон: редакции просили новые стихи, корреспонденты интересовались творческими планами… Вновь пришла к Ахматовой слава, о которой она когда-то могла отозваться так презрительно: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом трещать» — и так равнодушно-надменно: «Отдай другим игрушку мира — славу, иди домой и ничего не жди».

А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему «без внимания» (ее выражение), в новой ленинградской квартире почти не жила, в Москве скиталась по друзьям, лето — в комаровской Будке, и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение, и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписан, и зовут выступать или хотя бы только присутствовать — это стало нужным.

Придешь к ней, сядешь, закуришь, а Анна Андреевна с лицом таинственным и значительным вынимает из сумки (черной, порыжелой, всегда туго набитой) листок. Протягивает. Листок оказывался либо письмом читателя, недавно открывшего для себя Ахматову и свежо этому удивившегося, либо бумагой с грифом какого-нибудь института, где некто занялся изучением творчества Ахматовой и просит добавочных сведений. Иногда из сумки извлекалась газетная вырезка или страница журнала… Прочитав, следовало что-то говорить, а лучше восклицать. Хвалить читателя за чуткость. Об институте, занявшемся изучением ахматовского творчества, говорить: «Давно пора!» Газетную заметку следовало либо одобрять, либо ею возмущаться.

Я, случалось, путала. Одобряла, а ждали от меня возмущения, ибо в статейке проскользнуло что-то Ахматовой не понравившееся… Я, значит, радостно восклицаю, а по лицу ее, по гневно сузившимся глазам вижу, что попала не в струю, пытаюсь на ходу перестроиться, мечтая, однако, чтобы мне подсказали, чем именно надо возмущаться. Подсказывали: «Вы что ж, не заметили…» Я горячо протестовала: ну конечно заметила! Только сначала хотела отметить положительную сторону явления, а уж потом… И она, видевшая на семь аршин под землею, она,

мудрейшая, она, всезнающая, всепонимающая, — она перестала чувствовать фальшь!

…Слышу: «Ахматова сказала…», «Ахматова считает…» Спрашиваю: «Откуда вы знаете?» — «От такого-то. Он на днях у нее был». Имя «такого-то» мне знакомо и мною не уважаемо. Думаю: «Господи, его-то она зачем пустила к себе? И зачем ей вообще нужны эти разношерстные толпы?»

Осуждала. Смела осуждать. А ведь дрогнула она лишь в одном: стала менее строга к себе, позволила себе немного расслабиться, молчание и отшельничество утомили ее. И все осталось при ней. Ее «таинственный песенный дар» не покинул ее до смерти. Пронзительный ум (встречала ли я кого-нибудь умнее?), великолепная ирония, умение давать меткие характеристики, точность и взвешенность каждого слова — все было с ней до конца. Но она не была ни святой, ни статуей, ничто человеческое не было ей чуждо… В каком-то из писем Льва Толстого в период его работы над «Анной Карениной» проскальзывает такая примерно мысль: пишешь, пишешь (дело одинокое!), и наступает наконец минута, когда непременно надо, чтобы тебя похвалили. Это, значит, и гению нужно.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Могла показаться, да многим и казалась, тщеславной суетностью та нескрываемая жадность, с которой она с некоторых пор стала воспринимать всякое свидетельство популярности своих стихов, как говорится, «в широких кругах» интеллигенции и учащейся молодежи, а также все возрастающего интереса к ее поэзии на Западе. Она не скрывала своей гордости, вынимая из сумки и какое-нибудь совсем неожиданное, корявое письмо из далекого, когда-то «медвежьего» угла, иной раз из лагеря, с признанием в давней любви и просьбой прислать новую книжку Она с явным удовольствием рассказывала, как однажды в больнице, куда она попала с тяжелейшим приступом аппендицита, санитарка, причесывая ее в постели, вдруг ей сказала: «Ты, говорят, хорошо стихи пишешь» — и на ее вопрос, откуда она это взяла, ответила: «Даша, буфетчица, говорила».

Каюсь, и мне казалось чем-то нескромным, предосудительным даже, когда Анна Андреевна интересовалась, дошло ли до меня, как ее книжка «скандально вела себя» при появлении в Москве и Ленинграде, что распродана она была чуть ли не за полчаса, что за ней всюду выстраивались огромные очереди, что из-за нее чуть ли не дрались «покупатели-генералы» и т.д. <…>

Все, что было связано с надеждой напечатать новые

произведения — полный текст «Поэмы без героя» и последние циклы стихов, — все это волновало Анну Андреевну мучительно, болезненно, не в переносном смысле, а в самом прямом, до сердечных приступов. Каждую очередную несбывшуюся надежду она воспринимала как удар, после которого долго не могла оправиться. Но переживала она свои неудачи молча, а если и говорила об этом, то очень сдержанно и лаконично, без жалоб: просто сообщала факт. И очень хорошо знала цену любой даже частичной удаче: хотя бы сокращенной публикации, хотя бы где-то кем-то «заниженного» тиража, хотя бы «не ее» композиции журнальной подборки.

Лев Адольфович Озеров:

У старых людей есть потребность в том, чтобы молодые время от времени описывали им значение их для истории. В этом нет ничего неестественного, ущербного или комического. Такая потребность у всех, проживших на этом свете семьдесят и более лет.

Прихожу к Анне Андреевне Ахматовой. Она с первых же слов торжественно жалуется:

— Мне вчера вернули мои стихи из редакции. Со мной обращаются как с сенной девкой.

— Что вы, Анна Андреевна! Как можно?

Она спокойно, не без интереса наблюдает за тем, как во мне нарастает возмущение. Молчит, чего-то ждет. Наконец говорю:

— Вам это показалось. Все смотрят на вас как на императрицу.

Поправляет шаль на плечах, слегка поднимает голову, опускает веки. Приготовилась слушать. Я не заставляю себя долго ждать.

— Это не только мое мнение.

Не выдерживает:

— А чье же еще?

— Большинства.

— Это ваша доброта множит ваше суждение на множество.

— Могу назвать этих людей.

— Можно без имен, но в чем смысл их суждения?

— Они давно и прочно оставляют за вами первенство в современной поэзии.

Ничего не отвечает. Слушает внимательно, несколько отрешенно. Чувствую, что могу долго продолжать в том же духе. Но в этом нет необходимости. Анна Андреевна пришла в себя. Она избыла свою досаду и взбодрилась.

— Не хотите ли прослушать несколько новых строк?

Читает из блокнота новое стихотворение.

Вячеслав Всеволодович Иванов:

Ахматовой было всегда интересно и важно, что о ней говорят и пишут, даже когда это были и люди безвестные, не то что Блок; ей это, во всяком случае, никогда не было безразлично. И не скажу, что всегда устраивали ее похвалы. Как-то, показывая мне льстивое письмо молодой женщины из литературной семьи, Ахматова сказала мне, когда я его прочитал: «Правда, что-то не то? Как будто ко мне заползла змея».

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Люди, стоявшие к Анне Андреевне ближе, чем я, рассказывали, что гордыня доводила ее иногда (вероятно, не часто) до капризов, проявлений несправедливости, почти жестокости. Я не был свидетелем таких эксцессов — Анна Андреевна даже несогласие со мною выражала очень мягко, — но и я вполне отчетливо ощущал полускрытое шевеление в ней этой гордыни. Самоутверждение принимало у нее подчас наивные формы. Как-то, предлагая мне прочитать письмо к ней какого-то поклонника из Франции, она обратила мое внимание на фразу, в которой она названа grand poet'ом. И несмотря на то что таких писем приходило к ней немало, она, читая их, не скрывала удовольствия и показывала их своим посетителям.

Да, она ловила знаки признания и почета. Как хотела она, чтобы о ее поэзии писали статьи и исследования! И однако, можно быть уверенным, что все это было не столько проявлением славолюбия в прямом смысле, которое питается из своих собственных корней, независимо от обстоятельств, но имело и другие источники — понятное желание занять в литературе подобающее ей положение.

Несколько иной характер носило ее слегка ревнивое, в чем-то похожее на соперничество отношение к тем наиболее выдающимся современным ей русским поэтам, с которыми обычно ее сопоставляли. Она отдавала им должное, вполне признавала их талант, их яркое своеобразие и значение, но вместе с тем в ее устных отзывах о них как о поэтах и людях иногда ощущалась какая-то привнесенная сдержанность и временами — перевес обычно справедливых, но порою слишком заостренных критических замечаний.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Ее сосредоточенность на своей литературной судьбе в последние годы, вероятно, могла иногда показаться даже

чрезмерной. Но только на поверхностный взгляд. В ее творческом самосознании не было эгоцентризма, она никогда не замыкалась в себе и не ставила себя выше других. Судя по многим ее высказываниям, которые мне приходилось слышать, Ахматовой вообще было свойственно видеть себя как поэта не отдельно и отнюдь не на «пьедестале», а в ряду других поэтов своего времени. От Блока, Маяковского, Хлебникова, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой — до Твардовского, Заболоцкого, Ольги Берггольц, Марии Петровых, Арсения Тарковского, до молодого поэтического окружения ее последних лет.

Вряд ли она сомневалась в том, что у нее есть свое место в истории поэзии XX века. Но вот ведь почему-то совсем не любила, когда ее сверхпочтительно встречали как «живого классика», обычно отвечала на подобные декларации юмором или каким-нибудь нарочито житейским прозаизмом. Она не могла не думать о том, в чем сейчас непосредственно выражается ее участие в литературной жизни страны, о том, как воспринимается читателем, особенно молодым, новое в ее стихах, в ее последней заветной поэме. Отсюда и протест против возможных искажений и «перекосов» ее творческой биографии. <…>

Поражала и не могла не поражать в этой старой, уже малоподвижной физически, больной и усталой женщине какая-то все возраставшая напряженность духовной жизни, какое-то непрерывное торжество духа творчества над старостью, над болезнями, над бездомностью и мало ли еще над какими невзгодами. Ведь за последние годы она ни разу не приезжала в Москву без стихов, и каких стихов!

Анатолий Генрихович Найман:

В последние годы, однако, переезды давались ей все труднее, главным образом из-за болезни сердца. За час до выхода из дома появлялись симптомы Reisefieber, предотъездной лихорадки, иногда случался сердечный приступ. Ездила она только с какой-нибудь близкой знакомой или свойственницей. На вокзал прибывали задолго до подачи поезда к перрону. Как-то раз сидели в зале ожидания на Московском вокзале в Ленинграде, и сопровождавшая ее Стенич-Большинцова вспомнила, как они с мужем провожали Мандельштама и тоже приехали раньше времени; в зале стояла пальма в кадке, Мандельштам повесил на нее свой узелок и произнес: «Одинокий странник в пустыне». Кто-нибудь из молодых назначался ответственным за ахматовский багаж, кто-то постоянно находился возле нее с нитроглицерином под рукой — другой флакон с нитроглицерином всегда лежал у нее в сумочке. Шла к вагону она медленно, опираясь на чью-

нибудь руку, и время от времени останавливалась отдохнуть.

Михаил Васильевич Толмачёв:

Последняя моя встреча с Анной Андреевной относится к июню 1964 года. Было это 21 июня, за два дня до ее 75-летия. <…> Анна Андреевна сказала, что собирается «встретить» день своего рождения в поезде Москва — Ленинград, выехав на самом исходе 22 июня. Было понятно, что ей хочется избегнуть оскорбительного невнимания или еще более оскорбительного полувнимания к этой дате со стороны московского Союза писателей. Предчувствия Анну Андреевну не обманули. Не знаю, как московский, а ленинградский Союз в лице его руководителя «поэта-лауреата» Прокофьева поздравил Анну Андреевну… в августе 1964 года.

Сильва Соломоновна Нитович:

Ранним утром 24 июня 1964 г. в саду мне нарезают особенно большой букет сирени. Здесь сегодня вообще торговля цветами идет бойко и оживленно. Комарово покупает цветы для А. А., которой исполнилось 75 лет.

Дача вся в цветах. Цветы стоят в вазах, банках, кастрюлях и ведрах. Боясь торжеств, она, как всегда, этот день проводит в Комарове, чтобы, как она говорила, «не быть ни в Москве, ни в Ленинграде». Но тем не менее комаровская почтальонша не слезает с велосипеда, доставляя пачками поздравительные телеграммы. Телеграммы идут сплошным потоком: и от московского Союза писателей, и от различных издательств, и от друзей, и просто от чужих, незнакомых людей. Единственная организация, которая не поздравила А.А., был ленинградский Союз писателей.

В сущности, человеком, поздравившим ее от Ленинградского отделения, был только союзный шофер Вася, который 25-го днем заехал в Комарово и привез А.А. все полученные на Союз поздравительные телеграммы. Это было настолько странным, что даже не было обидным.

Так как А.А. не желала отмечать этот день, то пышного торжества не было.

Званых гостей не было. Были только свои. За столом А.А. сидела в парадном платье, все в том же «подряснике», в новой прическе, глаза у нее сияли, и была, по словам Веронички, «такой красоткой».

Лидия Корнеевна Чуковская:

7 *ноября 1964.* …И тут мы наконец свободно разговорились.

Мне даже и хохотать привелось. Видывала я Анну Андреевну негодующей Федрой, Екатериной Великой, царевной Софьей… А тут я впервые увидела Ахматову в комедийной роли. Да еще, кто бы мог подумать, в мужской.

— Все писательские организации поздравили меня, все, кроме родного ленинградского отделения… Да, да, да… Наверное, им за такую оплошность намылили холку: через полтора месяца сам Прокофьев, в сопровождении Брауна и Чепурова, пожаловал ко мне извиняться. Не иначе как по приказу свыше. Преподнес букет белых лилий. Ни дать ни взять — архангел Гавриил.

Интересно, в каких же выражениях он извинялся? В каких — буквально? Чем оправдывался? Анна Андреевна привстала. На моих глазах превратила себя в косопузого, кривоногого поздравителя. В правой руке букет, левой он обнимает голову. Твердит неустанно: «Ой, стыдобища! Ой, срамотища!» Я утерла слезы, Анна Андреевна опустилась в кресло и снова из Александра Прокофьева превратилась в Анну Ахматову.

Исайя Берлин:

Она знала, что ей осталось жить недолго. Доктора объяснили ей, что у нее слабое сердце. Поэтому она терпеливо ожидает конца. Она ненавидит саму мысль о том, что ее будут жалеть. Она знала ужасы, самое безысходное горе, и она заставила друзей дать ей обещание, что они не позволят себе выказать ни малейшего намека на жалость по отношению к ней, что они немедленно подавят в себе всякие признаки жалости, чуть только почувствуют ее. Некоторые из ее друзей не смогли противостоять жалости, и с ними ей пришлось расстаться. Она может вынести все — ненависть, оскорбление, презрение, непонимание, преследования, но только не сочувствие, смешанное с состраданием. <…> Она обладала беспримерной гордостью и чувством собственного достоинства.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Она никогда не относилась к жизни как старый человек, никогда не была равнодушной, безучастной и безразличной к тому, что было ей дорого. В последние годы она, казалось, стала моложе, чаще выходила из дома. Примерно за год до ее смерти мы встретились на каком-то литературном вечере. Я сказала, что собираюсь ее навестить — жила она тогда у старой приятельницы в Сокольниках.

— Буду рада вам, — сказала Анна Андреевна, — но не будет ли вам трудно? Это пятый этаж без лифта.

— Но ведь вы поднимаетесь, — ответила я.
— Ну, я! — бесшабашно отмахнулась она…

«Легендарная Ордынка»

Анатолий Генрихович Найман:

Московским домом Ахматовой была квартира Ардовых на Ордынке, «легендарная Ордынка», как иронически называла ее сама А.А. и, вслед за ней, близкие к ней люди. Хозяйка, Нина Антоновна Ольшевская, предоставляла гостье малюсенькую, но уютную комнату, прежде принадлежавшую ее старшему сыну Алексею Баталову, и окружала почтительно-нежной заботой. Ее полная внутреннего достоинства самоотверженность и преданность Ахматовой оплачивалась доверительностью и любовью старшей подруги. Прежде актриса МХАТа, потом Театра Советской Армии, прожившая, как большинство женщин ее поколения и круга, далеко не безоблачную жизнь, Ольшевская обладала тонким чутьем и горьким опытом, позволявшими ей одинаково хорошо разбираться в людях и в стихах. Она умела делать добро. Ахматова повторяла: «Добро делать очень трудно; зло делать просто, а добро очень трудно». Я спросил Нину Антоновну, почему она так антипедагогично балует внучку. «А хочу, чтобы, когда я умру, она вспоминала, какая у нее была добрая бабушка», — ответ был совершенно серьезный. Высокая, стройная, несуетливая, немногословная, она задавала тон этому дому, в котором за столом могли одновременно оказаться ее претенциозная свекровь и Ахматова, Пастернак и пошляк-эстрадник, академически корректно строящий фразы Жирмунский и пьяные студенты. Ее судьбе Ахматова собиралась посвятить в своей прозаической книге главу «И все-таки победительница».

Ее муж, Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты и с переменным успехом изобретавший новые, зарабатывал на свою немалую семью и сменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы, от «Вестника ЦСУ» до «Крокодила», юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой-нибудь сатирик из провинции или конферансье. Речь его была яркой даже в тех случаях, когда яркости не требовалось, на всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история, более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседника он провоцировал на рассказ таких же историй. Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов, в разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые

ими по поводу, а можно и без повода, истории, помесь деградировавшего «Декамерона» с увядшей «Тысячью и одной ночью», что-то вроде шлепанья через томительные пяти- или десятиминутные промежутки картами в игре «свои козыри». И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора, начинал рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно-сочувственной интонацией приговаривая невпопад: «Ай-яй-яй. Да, да, вообще знаете ли…» Когда Ахматова спросила у Нины Антоновны, как ее внучка обращается к отчиму, и, узнав, что по имени, одобрила: «Так и нужно. Папой надо называть папу, мамой маму…» — он, проходивший мимо, тут же подхватил: «…дядей дядю, снохой сноху, шурином шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список, подам вам, ладно?»

Кроме Баталова… у них было еще два сына, Михаил и Борис, родившиеся незадолго до войны. Оба выросли на глазах у Ахматовой, оба в какой-то мере были воспитаны ею, фактом ее присутствия в их доме. Михаил, литературно одаренный, усвоивший отцовскую живость, насмешливость и остроумие, был прозван ею Шибановым в честь воспетого А. К. Толстым стремянного, верного своему князю до смерти. «Но слово его все едино», — декламировал он, усаживая ее в такси, и она без выражения продолжала: «Он славит сваво господина». Борис, служивший актером в театре «Современник», назывался «артист драмы», как герой известного рассказа Зощенко. Он обладал безошибочным чутьем на фальшь и ложь и даром лицедейства, мгновенно преображавшим его в премьер-министра на трибуне ООН, в поэтессу, рассказывающую Ахматовой о своем успехе, в мерзнущего на лестнице шпика. Принесенная им частушка:

Дура, дура, дура я,
Дура я проклятая,
У него четыре дуры,
А я дура пятая, —

была ею тотчас оценена и пополнила арсенал: «Это я. И это мои стихи». В домашнем употреблении была и другая, сочиненная Михаилом еще в бытность студентом-филологом по поводу визита к Ахматовой академика Виноградова и одобренная ею, «узко цеховая» частушка:

К нам приехал Виноградов,
Виноградова не надо;

Выйду в поле, закричу:
Мещанинова хочу!

«Миша-беспощадник», — улыбалась она. У обоих мальчиков Ардовых был хороший вкус, проявлявшийся, правда, наиболее выразительно в отталкивании от вещей дурного вкуса. Многое в литературе и в искусстве они получали из первых рук, например, им, еще детям, позволили сидеть в гостиной, где Пастернак — для Ахматовой и для хозяев — читал только что переведенные куски «Фауста», и, слушая сцену в кабачке, они засмеялись, на них зашикали, но Пастернак сказал, что и должно быть смешно. Как большинство людей, приученных смотреть на литературу как на живое дело, а не как на стоящие на полке книги, они не благоговели перед ней, не говорили о ней с придыханием и вообще больше были гуляки, выпивохи и любители приключений, чем книгочеи.

Алексей Владимирович Баталов:

Надобно сказать, что под руководством Ардова завтрак в нашем доме превращался в бесконечное, нередко плавно переходящее в обед застолье. Всё, приходившие с утра и в первой половине дня — будь то школьные приятели братьев, студенты с моего курса, артисты, пришедшие к Виктору Ефимовичу по делам, мамины ученики или гости Анны Андреевны, — все прежде всего приглашались за общий стол и, выпив за компанию чаю или «кофию», как говорила Ахматова, невольно попадали в круг новостей и разговоров самых неожиданных. А чашки и какая-то нехитрая еда, между делом сменяющаяся на столе, были не более чем поводом для собрания, вроде как в горьковских пьесах, где то и дело по воле автора нужные действующие лица сходятся за чаепитием.

В этом круговороте постоянными фигурами были только Ахматова и Ардов. Он спиной к окну в кресле, она — рядом, в углу дивана. Оба седые, красиво старые люди, они много лет провожали нас, напутствуя и дружески кивая со своих мест, в институты, на репетиции, в поездки, на свидания, а в общем-то, в жизнь.

Эмма Григорьевна Герштейн:

Дом Ардовых напоминает проходной двор. Тут и соавторы Виктора Ефимовича, пишущие для эстрады, и подруги Нины, актрисы со своими заботами, и гурьба школьных товарищей Миши и Бори Ардовых — все это приходит и уходит, ночует,

уезжает в другой город, сваливается на голову без предупреждения, и даже портниха из соседней квартиры заходит со своими клиентами в столовую Ардовых для примерки перед большим зеркалом.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

В доме Ардовых было многолюдно, весело. Обилие друзей — артистов театров и эстрады, — шум и гам, как ни странно, казалось, абсолютно устраивали Анну Андреевну. Видно было, что здесь ей уютно, что здесь она хорошо себя чувствует.

Лидия Корнеевна Чуковская:

18 января 1954 …Меня очень смешат шутки Ардова, которые Анна Андреевна выносит с благосклонной полуулыбкой. Он постоянно «снижает» величавость Ахматовой, называя ее то «m-me Цигельперчик», то «жиличка», то «командировошная из Ленинграда». Когда она при мне вошла в столовую в шуршащем лиловом халате — Ардов сказал, поднимаясь ей навстречу: «Благословите, отец благочинный!..»

12 февраля 1954. Только что пришла от Анны Андреевны.

Ардов изображает дурака-грузина, попрекающего тещу: «Вам, мама, в вашем возрасте не пудриться надо, а размышлять о потустороннем мире». Анна Андреевна, сидя на диване в пышном лиловом халате, сохраняет полное спокойствие и неподвижность лица— всё вместе уморительно.

Наталия Иосифовна Ильина:

Нина Антоновна спрашивала с грубоватой заботливостью: «Лекарство опять не приняли?» Отодвигала масло: «Хватит, вам больше нельзя». Мальчики были весело-почтительны. Анна Андреевна… смеялась на шутки Ардова, и чувствовалось, что она привязана к Нине Антоновне и к мальчикам и что в этом доме ей хорошо.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Когда она здесь гостила, ардовский телефон работал вовсю (хотя Анна Андреевна телефонных разговоров вообще не признавала и вела их лаконично, только по необходимости); поток посетителей с трудом поддавался какой-либо регламентации: помимо друзей и давних знакомых побывать у Ахматовой — в последние годы — стремились еще очень и очень многие. Да она и сама, если позволяло здоровье, много выезжала. Иногда расписание приемов и выездов путалось, одни налезали

на другие, и начиналось то, что Пастернак очень образно называл «ахматовкой», имея в виду, очевидно, все вместе — и встречи, и проводы, и беспрерывный поток посетителей, и телефон, и хаос в комнатах, и общую приподнятую атмосферу дома, взбудораженного приездом Анны Андреевны.

Виктор Ефимович Ардов:

Чем старше становилась, тем больше любила окружать себя молодежью. В нашем доме часто собирались друзья моих сыновей. И Анна Андреевна, радостная, оживленная, сидела на своем обычном месте на диване в нашей маленькой столовой, слушала громкие шутки собеседников, из которых старшему едва исполнилось 25, шутила сама…

Более того: часто именно по инициативе Анны Андреевны затевались такие пирушки. Она часто просила моих сыновей организовать «бал», по ее выражению, — собрать сверстников, распорядиться насчет трапезы…

Анатолий Генрихович Найман:

…Я получил неожиданный гонорар и хотел пригласить в ресторан всю ордынскую компанию, она посоветовала вместо этого купить ведро пива и ведро раков и прямо с двумя ведрами явиться к Ардовым; и когда я так и сделал, купив ведра в хозтоварах, раков на Сретенке, пива в Кадашевских банях, и, догрызая последние клешни и дочерпывая со дна остатки пива после еще одной или более ходок в те же бани, все шумно отдали должное замыслу и его осуществлению, Ахматова, с таким же красным и отяжелевшим, как у остальных, лицом, но без их горячности и многоглаголания, произнесла: «Дай Бог на Пасху, как говорил солдат нашей няни».

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Волков. Опишите «ахматовку» подробнее.

Бродский. Это, в первую очередь, непрерывный поток людей. А вечером — стол, за которым сидели царь-царевич, король-королевич. Сам Ардов, при всех его многих недостатках, был человек чрезвычайно остроумный. Таким же было все его семейство: жена Нина Антоновна и мальчики Боря и Миша. И их приятели. Это все были московские мальчики из хороших семей. Как правило, они были журналистами, работали в замечательных предприятиях типа АПН. Это были люди хорошо одетые, битые, тертые, циничные. И очень веселые. Удивительно остроумные, на мой взгляд. Более остроумных людей я в своей жизни не

встречал. Не помню, чтобы я смеялся чаще, чем тогда, за ардовским столом. Это опять-таки одно из самых счастливых моих воспоминаний. Зачастую казалось, что острословие и остроумие составляло для этих людей единственное содержание их жизни. Я не думаю, чтобы их когда бы то ни было охватывало уныние. Но, может быть, я несправедлив в данном случае. Во всяком случае, Анну Андреевну они обожали.

Приходили и другие люди: Кома (Вяч. Вс. — *Сост.)* Иванов, гениальный Симон Маркиш, редакторши, театроведы, инженеры, переводчики, критики, вдовы — всех не назвать. В семь или восемь часов вечера на столе появлялись бутылки.

Владимир Сергеевич Муравьёв:

Вот однажды у меня было впечатление. Это, кажется, было у Ардовых, много народу сидело за столом. Сидели там симпатичные мне люди, Нина Ольшевская, которую я очень любил. Ну и ребятки ардовские хорошие очень. И вот посмотрел я на все эти милые лица… И немножко отстраненно сидела Анна Андреевна. Это было совсем другое. Это было лицо, на котором было сияние. Она чуть ли не на кусок сыра смотрела, я не знаю. И тем не менее у нее в лице было что-то такое… ну, печать, что ли, отмеченность. Оно было по-особому… по-особому структурировано.

Симон Перецович Маркиш (1931–2003), *поэт, переводчик:*

Всегда бросалась в глаза молчаливость Ахматовой на фоне шумной ардовской жовиальности. Впрочем, молчаливой видел я ее и в остальных московских домах, где она находила приют.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Все это приходилось не раз заставать здесь и мне. Но еще больше Ордынка помнится мне другой, тихой, без всякой «ахматовки». Может быть, потому, что я часто заставал здесь Анну Андреевну больной, или в периоды после тяжелой болезни, или просто очень усталой. Обычно мы сидели с ней «у нее», то есть в крошечной комнатке Алеши Баталова (старшего сына жены Ардова, Н. А. Ольшевской), которую Алеша неизменно, при любых своих личных обстоятельствах, с радостью уступал Анне Андреевне, когда бы ей ни вздумалось приехать.

В этой комнатке было тесно и от того немногого, что там находилось обычно: в нее еле вмещалась тахта, маленький письменный стол, стул и, кажется, еще столик с зеркалом. А когда с приездом Анны Андреевны все это еще заваливалось книгами, папками, раскрытыми чемоданами и т. п., закуток

становился еще теснее. Стул стоял прямо против ее тахты и очень к ней близко. Уже от одного этого общение с ней поневоле приобретало здесь особую остроту, особенно когда она начинала читать своему гостю новые стихи. А без новых стихов она в Москву не приезжала — я, по крайней мере, такого случая не помню.

Читать она начинала почти сразу, почти непосредственно после какого-нибудь полуиронического вступления, вроде «ну, что мы имеем на сегодняшний день?» или «что произошло за отчетный период?» — как будто заранее ждала этого и вот теперь без всяких отлагательств исполняла свое намерение. Читала почти всегда наизусть, только в редких случаях просила достать из чемодана или из груды папок на окне одну из своих записных книжек. И какой бы она ни была в этот день бесконечно усталой, как бы пугающе ни сказывался недавний сердечный приступ в неровном дыхании и иссиня-черном цвете губ, она непременно читала стихи. И ничто не могло помешать ее внутреннему преображению: ни случайность того, что было на ней надето, ни грузная «непоэтичность» ее позы на тахте, ни квартирный шум за стеной, ни духота этой тесной клетушки, в которой она еще предлагала своим посетителям не стесняться курить.

Бывало иногда, что Анна Андреевна ждала у себя на Ордынке не просто слушателя, которому могла доверить свои новые стихи, но кого-нибудь, чье впечатление могло бы ей как-то помочь в еще не оконченной работе. Однажды она меня встретила в передней совсем не по-обычному, я сразу заметил, что она чем-то не то взволнована, не то смущена, и подумал, что, наверно, не вовремя пришел. Оказалось, что это волнение, эта немножко напряженная улыбка относятся ко мне непосредственно. Она решила прочитать мне несколько сцен из трагедии Гюго «Марион Делорм», которую в то время переводила по заказу Гослитиздата: «Не бойтесь, я не очень долго буду вас «душить трагедией в углу», но вы — театральный, «понимающий» и должны мне честно сказать, как это выходит сценически». Прочитала она мне почти два акта, стесняясь, что «утомляет». Но было видно, как она этим переводом увлечена (вспоминают, что она им тяготилась, — я видел другое).

Будка

Виталий Яковлевич Виленкин:

С лета 1961 года начались мои не очень регулярные, редкие, в общем, поездки в Комарово, чтобы повидаться с Анной Андреевной — либо у нее на даче, в Будке, как она называла этот домик, предоставленный ей ленинградским Литфондом во временное пользование, либо зимой в литфондовском Доме творчества.

Комарово Анна Андреевна, по-моему, не любила, с этим чуждым ей пейзажем скорее примирилась, чем сжилась, и эта земля навсегда осталась для нее «холодной», «железной», с «черными, приземистыми елками» и чужим, не ее поля, вереском.

На каком-то «листке из дневника» у нее так тоскливо «на своем языке говорят» комаровские «сосенки, которые сейчас сердито качаются на фоне белой ночи…». По-моему, она здесь острее, чем где-либо, ощущала старость и одиночество. Есть и такой «листок из дневника»: «Теперь, когда все позади — даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно проясняется (как в первые осенние дни) — люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств…»

Анатолий Генрихович Найман:

Вдоль ахматовской стороны забора тянулась поросшая травой колея, по ней время от времени проезжала одна и та же телега. Лошадью правила жившая наискосок от Будки «женщина-конюх», с которой у Ахматовой были подчеркнуто приязненные, хотя и шапочные, отношения, выражавшиеся в том, что, заслышав шум телеги, она отрывалась от беседы, от перевода, от любого занятия и поднятой рукой приветствовала знакомую. Та радостно отвечала тем же, и Ахматова, непонятно — всерьез или в шутку, признавалась, что боится мнения соседки и чуть-чуть заискивает перед ней.

Другим соседом был Виктор Максимович Жирмунский, в ту пору уже академик, но еще приват-доцентом в 10-е годы знавший Ахматову. О приват-доцентстве он вспоминал всякий раз, когда выпивал рюмочку: казалось, он ценил его выше нынешнего академства, может быть, потому что это было славное время и его молодость.

Сильва Соломоновна Гитович:

По утрам, если не шел дождь, она, в сером клетчатом

пыльнике, медленно двигалась по участку, гуляя и собирая грибы. Рядом с ней, неотступно, шаг за шагом, шел мальчик Алик — сын няни из соседнего детского садика. Чтобы Анна Андреевна не нагибалась, он срывал ей грибы и, захлебываясь от восторга, спешки и гордости, без конца ей что-то рассказывал. Когда она уходила в дом, выставить его с нашего участка не было никакой возможности. Мальчик Алик был пленен Анной Андреевной, очарован ею и не хотел никуда уходить. Он приносил разные веточки и втыкал в землю у ее окна. А у крыльца дачи из сосновых шишек выкладывал замысловатые узоры, говоря: «Это для писательницы, которая живет совсем одна и все выдумывает из головы».

Анатолий Генрихович Найман:

Ей нравилось собирать грибы, вокруг дома и по дороге на озеро, и чистить их.

Сильва Соломоновна Гитович:

Бывало, днем, подстелив половичок, Анна Андреевна подолгу сидела на ступеньках террасы, или, как она говорила, «на любимой ступенечке», вглядываясь, не идет ли кто по лесной тропинке.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Она здесь чаще томилась, чем чувствовала себя «у себя», хотя именно здесь в последние годы протекала главным образом ее творческая работа. И оживала она, только когда кто-нибудь к ней сюда приезжал. Я однажды, уходя от нее, видел, как по саду шли приехавшие к ней из города молодые поэты и с какой радостной улыбкой, как будто сразу помолодев, она их встречала на крыльце.

Сильва Соломоновна Гитович:

Вечерами появлялись молодые поэты, которых Анна Андреевна очень любила. Плечистый рыжеволосый Бродский, с веснушками на круглом лице, и хорошенький, мелкокостный, с глазами, как чернослив, предельно вежливый Толя Найман.

Частенько, в любое время дня, бесцеремонно приезжали проворные молодые люди, пишущие и не пишущие, знакомые и незнакомые, почитать свои стихи Ахматовой или просто поглазеть на нее, чтобы потом где-нибудь при случае сказать: «Этот вечер я провел у Ахматовой. Было чудесно».

Саня (Александр Гитович, поэт, переводчик. — *Сост.*) из себя выходил, страшно возмущаясь тем, что она не гонит их в шею. Но

последние годы Анна Андреевна уже была не так строга и менее неприступна.

Я помню, как на моих глазах утром явился какой-то болван с гитарой под мышкой. Нахально вперся на веранду, где Анна Андреевна пила чай, и сказал, что ему необходимо прочесть свои стихи только ей.

«Давно вы пишете?» — спросила она. «Уже два месяца», — ответил гость. Выставить его оказалось совершенно невозможно, и пока он не прокричал две толстых общих тетради, он не двинулся с места.

Алексей Владимирович Баталов:

Убеленные сединами солидные посетители, которые навещали Ахматову в Будке, не на шутку смущались, найдя за ветхим забором вместо тихой обители у куста знаменитой бузины настежь распахнутый дом. Во дворе валялись велосипеды, стояли мотоциклы и бродили по-домашнему одетые молодые люди. Одни разводили костер, другие таскали воду, а третьи шумно сражались в кости, расположившись на ступенях веранды. В соответствии с испугом гостя и серьезностью его визита эта публика, конечно, сразу несколько стихала, приобретая необходимую долю приличия, но кипевшая вокруг дома жизнь отнюдь не прекращалась и не теряла первоначального направления. Анна Андреевна очень чинно уводила посетителя в свою комнату, говорила с ним о делах, угощала чаем или «кофием», а потом, если находила это нужным, приглашала гостя на веранду к общему столу.

Анатолий Генрихович Найман:

С большой неохотой раз в день она выходила на прогулку, хотя врачи настаивали на двух-трех. Маршрут был, как правило, до Озерной и обратно, аллейкой, проложенной в сосновом лесу. В нескольких метрах от Озерной была низенькая скамейка, она ненадолго присаживалась и, продолжая разговор, начинала водить концом трости по земле влево и вправо, так что вскоре появлялся свободный от опавшей хвои сегмент чистой сыроватой почвы. Было что-то завораживающее в этом похожем на качания стрелки метронома скольжении тонкой коричневой палочки и постепенном очищении черной земли, как бы грифельной доски, готовой для письма, в окружении желтых иголок. Я ловил себя на том, что это неожиданно становилось существенней и интересней беседы, что под эти шаркающие звуки и вычерчивание дуг беседа может быть все равно какая…

Сильва Соломоновна Гитович:

Обычно под вечер А.А. с гостями ходила гулять в сторону дороги до сдвоенной скамейки, стоящей против бледно-голубой двухэтажной дачи Плоткина. Доходя до Озерной, А.А. указывала на эту дачу, говоря: «Этот фундамент замешен и на моих капельках крови».

Сидели, отдыхали, любовались закатом. Затем медленно шли обратно. Но все это было потом, а в первые годы комаровского житья она легко проходила такое расстояние, как от своей Кудринской до 2-й Дачной, а когда однажды нас на дороге застала гроза и полил крупный дождь, мы, мокрые до нитки, весело бежали мимо шумящих деревьев и, наконец добежав до дому, А.А. ловко выкручивала потемневший подол чесучового платья.

Анатолий Генрихович Найман:

Из соседей по участку — с Гитовичами она дружила, с другим писателем и его женой была, что называется, в добрососедских отношениях. Он был инвалидом войны, чудом выжил после тяжелейшего ранения: Ахматова говорила, кажется, со слов жены, что от него осталось 40 %, остальное протезы. Когда я приехал в Комарово почти после месячного перерыва, она среди новостей рассказала, что сосед со скандалом ушел к другой: «Вы понимаете, две женщины боролись за сорок процентов».

Недалеко от ее домика стояла дача критика, который в конце сороковых годов сделал карьеру на травле Ахматовой. Проходя мимо этой двухэтажной виллы, она приговаривала: «На моих костях построена». Однажды мы медленно шли по дороге на озеро, когда появился шагавший нам навстречу хозяин дачи со своей молоденькой дочерью. Сняв берет, он почтительно поздоровался с Ахматовой. Она не ответила, потому, может быть, что действительно не заметила или могла не заметить. Тогда он обогнал нас лесом, зашел вперед и еще раз так же ее приветствовал. Она поклонилась. Через несколько минут я спросил, зачем она это сделала, если узнала его. Она ответила: «Когда вам будет семьдесят пять и такое же дырявое, как у меня, сердце, вы поймете, что легче поздороваться, чем не поздороваться». Про двух знаменитых ленинградских писательниц говорила: «Пишут большие романы и строят большие дачи».

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Я помню зиму, которую я провел в Комарове. Каждый вечер

она отряжала то ли меня, то ли кого-нибудь еще за бутылкой водки. Конечно, были в ее окружении люди, которые этого не переносили. Например, Лидия Корнеевна Чуковская. При первых признаках ее появления водка пряталась и на лицах воцарялось партикулярное выражение. Вечер продолжался чрезвычайно приличным и интеллигентным образом. После ухода такого непьющего человека водка снова извлекалась из-под стола. Бутылка, как правило, стояла рядом с батареей. И Анна Андреевна произносила более или менее неизменную фразу: «Она согрелась».

Помню наши бесконечные дискуссии по поводу бутылок, которые кончаются и не кончаются. Временами в наших разговорах возникали такие мучительные паузы: вы сидите перед великим человеком и не знаете, что сказать. Понимаете, что тратите его время. И тогда спрашиваете нечто просто для того, чтобы такую паузу заполнить. Я помню очень отчетливо, как я спросил ее нечто, касающееся Сологуба: в каком году произошло такое-то событие? Ахматова в это время уже поднесла рюмку с водкой ко рту и отпила. Услышав мой вопрос, она сделала глоток и ответила: «Семнадцатого августа тысяча девятьсот двадцать первого года». Или что-то в этом роде. И допила оставшееся.

Сильва Соломоновна Гитович:

Приезжала погостить в Комарово подруга юности Анны Андреевны Валерия Сергеевна Срезневская. Ее привез ее сын. В мое окно мне было хорошо видно, как из машины с трудом вылезла согнутая пополам старуха с завитыми буклями и, тяжело опираясь на палку, заковыляла по дорожке.

На крыльцо, высоко неся седую голову, вышла навстречу Анна Андреевна.

Валерия Сергеевна пробыла на даче два дня. Они сидели на открытой веранде, и она, смотрясь в ручное зеркало, бережно поправляла крашеные завитки каштановых волос. Слышен был воркующий смех. Потом Анна Андреевна, слегка монотонно, нараспев читала:

> И сердце то уже не отзовется
> На голос мой, ликуя и скорбя.
> Все кончено. И песнь моя несется
> В пустую ночь, где больше нет тебя.

«Аня, прекрасно, — восхищалась Валерия Сергеевна. — Прочти теперь из «Anno Domini»: «Враг мой вечный, пора научиться / Вам кого-нибудь вправду любить…»» — «Нет, Валя, я

лучше тебе прочту другое…»

…В Ленинград приехал Роберт Фрост. Его торжественно принимали в Союзе писателей, возили по городу, показывая Ленинград, а на другой день в Комарове на своей даче академик Алексеев устроил в его честь званый завтрак. Конечно, была приглашена и Анна Андреевна.

Утром Нина Антоновна сделала ей великолепную прическу, красиво зачесала волосы наверх, погладила парадное шелковое платье, называемое «подрясник». В тон платья надели на Анну Андреевну серые туфли Нины Антоновны. И, высоко неся седую голову, в длинном светло-сером платье, она, в ожидании машины, появилась на крыльце.

Скоро приехала алексеевская «Волга» и увезла Анну Андреевну.

Завтрак в честь Фроста сильно затянулся, и Анна Андреевна вернулась усталой. Она сбросила «подрясник», уютно улеглась на кровать и с непередаваемой интонацией, какой-то смесью шутливости и сожаления, сказала: «Я и не представляла себе, что он такой старый. Весь завтрак он мирно спал. Спал, неожиданно просыпался, смотрел поверх голов на верхушки сосен и снова сладко засыпал».

Анатолий Генрихович Найман:

Окно ее комнаты выходило в сосновую рощицу, летом наполненную «зеленым воздухом», который она охотно и с некоторой гордостью за природу показывала гостям. Раза два в неделю перед домом устраивался костер, из сухих веток, шишек, опавших иголок. Она эти часы — гудящее пламя, тлеющие красные угли — очень любила. Но предупреждала, если устроитель был неопытный: «Мой костер — одно из коварнейших на свете существ», — и следила, чтобы на ночь его тщательно засыпали землей: дескать, однажды она проснулась среди ночи, оттого что пламя полыхало выше сосен: «А вечером притворялся смирным. Вы его не знаете».

1964. Европейское признание

Михаил Васильевич Толмачёв:

После лета 1963 года последовал длительный перерыв в моих встречах с Анной Андреевной. Конец ему был положен ее звонком поздней зимой или ранней весной 1964 года. Раздался этот звонок чуть ли не посреди ночи: Анна Андреевна просила приехать на другой день помочь: надо было вписать французский текст в машинопись ее воспоминаний о Модильяни, которую официально признанный «патрон» Ахматовой А. А. Сурков должен был увезти в тот же день в Италию для публикации. <… >

Акция Суркова связана с тем, что ей присуждена поэтическая премия Европейского сообщества писателей (она показала мне письмо, извещавшее об этом, за подписью руководителя Сообщества итальянца Джанкарло Вигорелли). Премия называется «Этна-Таормина». Никто ничего толком ни о премии, ни о Таормине, кроме того, что она находится вблизи вулкана Этна в Сицилии, сказать не может (и слава богу, можно добавить сегодня: знай Анна Андреевна, что Таормина в течение десятилетий была той Аркадией, где Вильхельм фон Глёден мог черпать мотивы своих гомоэротических фотобуколик, она могла бы туда и не поехать). Впрочем, и в нашу встречу она сказала: «Я, конечно, никуда не поеду». Я буквально взмолился: «Анна Андреевна, вам надо ехать». «Но вы забываете о моих ногах» (а ведь она еще ничего не знала о той лестнице, которая ведет к замку в Катании, где ее будут чествовать, как Петрарку на Капитолии). «Вам надо ехать», — повторил я и добавил: «И еще, по вашим словам, Италия это сновидение, которое помнишь всю жизнь». Она улыбнулась.

Анатолий Генрихович Найман:

Это был немножко «визит старой дамы»: ехала не Анна Андреевна — Анна Ахматова. Она должна была вести себя, и вела себя, как «Ахматова». Возвратившись, показывала фотографии; церемония на Сицилии, дворец, большой стол, много людей; на заднем плане — античный бюст с довольно живым — и насмешливым — выражением лица. Она комментировала: «Видите, он говорит: «Эвтерпу — знаю. Сафо — знаю. Ахматова? — первый раз слышу»». Сопоставление имен было существеннее самоиронии.

Рассказывала, как проснулась утром в поезде и подошла к вагонному окну: «И вижу приклеенную к стеклу — во весь его

размер — открытку с видом Везувия. Оказалось, что это и есть «лично» Везувий».

Ганс Вернер Рихтер (1908–1993), *немецкий писатель, журналист:*

Наутро, когда я открыл ставни, я увидел секретаря Союза советских писателей, который сидел на желтой садовой скамье под моим окном, окруженный мандариновыми и апельсиновыми деревьями, на фоне пышной зелени и цветущих кустов. Он сидел как олицетворение мирного сосуществования посреди сицилийского утра и, быть может, думал о Хрущеве, утраченном им всего два месяца назад. «Ах Сурков, как переменчива жизнь!» — хотел я воскликнуть, но ограничился чопорным поклоном из окна, и он так же чопорно поклонился мне — то были поклоны добропорядочных прихожан во храме мирного сосуществования.

Солнце сияло, Этна курилась, греко-римский театр гляделся в мирное море, а я лежал в шезлонге, размышляя о смысле своего пребывания здесь. И тут я увидел, что мимо проходит генеральный секретарь Джанкарло Вигорелли, итальянский литературный менеджер. Был он, как всегда, элегантен, строен, волосы гармонически завиты… Очки сияли. Я окликнул его и спросил, что мне нужно делать. Он изумленно воздел очки горе и развел руками. «Ничего, мой милый, ничего! События и поэты сами придут к вам!» И они действительно шли… испанцы, португальцы, финны, шведы, русские, румыны, венгры, югославы, чехи, французы, англичане. Целые делегации с председателем, переводчиком и секретарем и растерянные одиночки, несущие перед собою свои стихи. Лишь немногие были мне знакомы: Унгаретти, Альберти, Симонов, Лундквист, Твардовский, Квазимодо, Пазолини. Но здесь не требовалось представляться друг другу. Достаточно было днем лежать на солнце, вечер проводить в перестроенном из молельни баре, есть, пить, спать — и не платить за это ни гроша. Виски, водка и граппа безвозмездно текли в глотки, закаленные стихами. Кто оплачивал все это? Советское посольство, сицилийская промышленность, римское правительство и, быть может, все-таки мафия? Неужели мы гости мафии? А может быть — Анна Ахматова?.. Но нет, дальше я думать не стал.

…В последующие дни не происходило ничего… В конце концов я сообразил, что все мы просто пребывали в ожидании. Да, мы заняты тем, что ожидаем Анну Ахматову — божественную Анну Ахматову; обязана она быть божественной, судя по всему тому, что говорилось кругом вслух, шепотом, намеками, судя по всем стихам в ее честь, которые в стольких комнатах огромного

монастыря вколачивались в пишущие машинки и потом выколачивались наружу. Право, теперь уже и я с нетерпением ожидал ее прибытия.

— Анна Ахматова здесь, — услышал я, вернувшись в отель после прогулки на пятый день безделья. Это было в пятницу, в двенадцать часов дня, когда солнце стояло в зените.

На этом месте, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достойно оценить этот час. Потому что из-за этой груди, из-за этого голоса, из-за всего этого облика могла бы начаться Первая мировая война, если б не нашлось для нее других причин.

Да, здесь сидела сама Россия — посреди сицилийски-доминиканского монастырского сада. Россия восседала в белом лакированном садовом кресле, на фоне мощных колонн монастырской галереи. Великая княгиня поэзии (придворная дама на почтительном от нее расстоянии) давала аудиенцию поэтам в собственном дворце. Перед нею стояли поэты всех стран Европы — с Запада и с Востока — малые, мельчайшие и великие, молодые и старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой. Я присоединился к ним. Она сидела, протягивала руку, каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок, и многие — я видел — отходили, ярко раскрасневшись; каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: итальянцы — обаятельно, испанцы — величественно, болгары — набожно, англичане — спокойно, и только русские знали ту манеру, которую ожидала Ахматова. Они стояли перед своей царицей, они преклоняли колена и целовали землю. Нет, этого, разумеется, они не совершали, но выглядело это именно так, или могло быть так. Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы. Среди них только один оказался насмешником — я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, насмешник сказал: «А знаете ли, в 1905 году, в пору первой русской революции, она была очень красивой женщиной».

Тогда Анне Ахматовой было шестнадцать лет; два года спустя, в 1907 году, появились ее первые стихи, которые привлекли внимание избранных литературных кругов. То были стихи восемнадцатилетней. А сегодня в семьдесят шесть она принимала чествования в Таормино, она — живое олицетворение целого периода русской истории от Николая II через Керенского,

Ленина, Сталина, Хрущева до Брежнева и Косыгина, — все еще непреклонная, все еще величественная, часть самой России среди сицилийских мандариновых деревьев. Теперь следовало бы наконец рассказать о жизни и творчестве Анны Ахматовой, ради чего — признаюсь откровенно — мне пришлось заглянуть в историю русской литературы, — но сперва я хочу описать вечер, который наступил после этого дневного приема. Нам объявили, что Анна Ахматова будет читать стихи. Мы собрались вечером в одном из залов просторного монастыря — двести человек, большинство в праздничных костюмах, как на премьеру. За столом президиума сидели Унгаретти, Альберти, Вигорелли и Квазимодо. Один стул посередине оставался пустым. Снова мы ждали Анну Ахматову. Когда она вошла наконец в зал, все вскочили с мест. Образовался проход, и она шла сквозь строй рукоплещущих, шла не глядя по сторонам, высоко подняв голову, без улыбки, не выражая ни удовлетворения, ни радости, и заняла свое место в президиуме. После пышной итальянской речи наступило великое мгновение.

Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза или только еще приближается. Ее темный, рокочущий голос не допускал высоких нот. Первое стихотворение было короткое, очень короткое. Едва она кончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ни слова. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, и закрыла книгу. Не прошло и десяти минут, как ее чтение — акт милости, оказанной всем, — окончилось. Взволнованно благодарил ее Вигорелли, взволнованно благодарил Унгаретти, взволнованно рукоплескали все; аплодисменты не умолкали долго.

После этого присутствовавших поэтов попросили прочесть стихи, посвященные Анне Ахматовой. Один поэт за другим подходил к ее стулу и читал свое стихотворение, обращаясь к ней и к публике, и каждый раз она поднимала голову, смотрела налево, вверх или назад — туда, где стоял читавший, — и благодарила его любезным кивком каждый раз, будь то английские, исландские, ирландские, болгарские или румынские стихи. Все происходившее напоминало — пусть простят мне это сравнение — новогодний прием при дворе монархини. Царица поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, просто от выступавших здесь дипломатов не требовали вручения верительных грамот. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходит — высокая женщина, на голову выше всех поэтов среднего роста, женщина,

подобная статуе, о которую разбивалась волна времен с 1889 года и до наших дней.

Ирина Николаевна Пунина:

Был декабрь 1964 г., двенадцатое число. Незадолго до полудня Ахматовой подали машину и мы поехали из Таормины в столицу Сицилии — Катанью. От Таормины шоссейная дорога идет серпантином вдоль побережья Ионического моря. Со стороны гор во многих местах дорога укреплена гигантскими квадратами вулканической породы — это циклопическая кладка. Шофер-сицилиец все время старался обратить наше внимание на эти глыбы. Со свойственной южанам темпераментностью он много раз произносил слово «киклоп». Не надеясь, что мы поняли, он оставлял руль и одной рукой показывал направо, на кладку, а другой тыкал себя в середину лба, чтобы напомнить нам об одноглазых циклопах. Автомобиль ехал при этом со скоростью сто километров, и постоянно на пути были повороты почти под прямым углом, там, где выступали скалы. Слева был то крутой обрыв над морем, то дорога приближалась к самой кромке воды. Когда Акума осознала все это, она безумно испугалась и возмутилась, что нас бросили на попечение этого ужасного сицилийца, который ничего не хотел слушать и не понимал наших предупреждений о рискованности такой езды. Акума хотела объяснить ему по-французски, что так нельзя ездить, но он по-прежнему шумно рассказывал нам свое. Когда я стала ему втолковывать, что на нашем языке «циклоп» известен и мы поняли его, шофер невероятно обрадовался, но руки его не легли на руль; лишь слегка прикасаясь к рулю, он уверенно направлял машину.

Позже Анна Андреевна создала целую новеллу о том, как Вигорелли нас бросил, шофер вез над пропастью и все время разговаривал руками, жестами, не управляя машиной, а машина мчалась с бешеной скоростью. Она очень ярко об этом рассказывала всем навещавшим ее после возвращения из Италии.

Машина мчалась вдоль берега моря, а шофер, обрадованный, что ему удалось привлечь наше внимание к следам гигантской работы циклопов, стал рассказывать о следующих легендах этого сказочного края. Он был весел и спокоен, временами ладонью подправлял баранку, нам оставалось только довериться его профессиональной опытности. За всю дорогу мы не испытали ни одного резкого торможения, ни одного неприятного ощущения. Акумин испуг и напряжение постепенно отпали, и она слушала, как шофер с новым жаром рассказывал синьоре о путешествии Одиссея, показывая обеими руками на море, на скалы,

подымавшиеся среди волн. Светило яркое солнце, ласково плескалось лазурное море, при некоторых поворотах виднелась Этна, которая, казалось, неотступно следила за нашим движением у ее подножия. В ложбинках вдоль дороги лежали опавшие перезрелые лимоны. На плоских местах были виноградники, пышно и ярко цвели кустарники. На некоторых деревьях уже зацветала мимоза. По сицилийским понятиям — это преддверие весны. Нам это почти непонятно. Весь южный берег Сицилии в декабре ярко-зеленый: цветут ромашки высотой с человеческий рост, цветут кактусы, которые выше двухэтажных домиков, на цитрусовых висят оранжевые и желтые зрелые плоды и набухают новые почки. Но мимоза это символ весны.

Мы прибыли в Катанью около часа дня. Акума сильно устала от испуга, от дороги, от вчерашнего вечера. Впереди еще были главные торжества. Нас подвезли к гостинице «Эксельсиор» — многоэтажному небоскребу, столь непохожему на радушный отель Святого Доминика в Таормине. Вдоль подхода к гостинице с двух сторон толпились репортеры, фотографы, любопытные и большое количество американских моряков. Решительным гневным жестом Ахматова остановила фотографирование и вопросы. Мы шли медленно, она опиралась на мою руку, опустив лицо, тяжело дыша. Только в самых дверях гостиницы нас встретили, кого-то послали за нашими вещами, я получила ключ от номера, и мы поехали на восьмой этаж. Горничная открыла номер — это была маленькая комната с одной кроватью посередине. Накапливавшиеся в Акуме усталость и раздражение передались и мне, я сказала, что не потерплю такого издевательства, спущусь вниз выяснить недоразумение. Акума, не желая меня отпустить, перешла на крик: «Не смей! Откуда ты знаешь, может быть, у них принято спать на одной кровати!!!»

Я пошла к администратору, все довольно быстро уладилось, нам дали другой номер: с двумя огромными кроватями, с маленькой приемной, с ванной комнатой (в которой был телефон) и небольшой прихожей. Номер был на том же восьмом этаже, но по другую сторону холла и не угловой, а чуть в глубине.

Насколько в Таормине Ахматова была окружена вниманием и почетом, настолько здесь мы были предоставлены сами себе. В четыре часа Сурков и Брейтбурд обещали прийти за Анной Андреевной. Акума прилегла, я дала ей бутерброды, привезенные с собой, и кофе из термоса. Она скоро поднялась, я ее одела, причесала. Ей не понравилась прическа, я пыталась что-то менять. Акуме опять не понравилось, она хотела что-то поправить сама. Наконец, я сделала новую прическу, очень удачную, классическую и скромную. Ее неудовольствие продолжалось, но

как-то внезапно она смирилась. Посмотрели на часы, был уже пятый час. Никто не пришел за нами. Я позвонила Суркову — никто не ответил. Я хотела спуститься вниз — Акума не отпустила. Нельзя было ее оставлять. Наконец я вышла на балкон. Напротив было огромное административное здание со статуей, напоминающей американскую статую Свободы. Таормина казалась чудесным сном. В Катанье все было чуждое. На площади понемногу собирались роскошные автобусы. Присмотревшись, я увидела Симоновых и еще знакомые фигуры. Я пыталась позвать их, махала, но с высоты восьмого этажа ничто не доходило до шумной площади. Я ходила от балкона до порога, придумывала какие-то мелочи, чтобы отвлечь Акуму. Надо было что-нибудь узнать, но оставить Акуму одну в таком состоянии было невозможно. Я вышла в коридор пригласить горничную.

В номер по ту сторону холла (который мы должны были занимать) кулаками стучали Брейтбурд и Симонов. Появился и Сурков с «сине-зеленым от страха лицом» (как потом рассказывала Акума) — они больше получаса стучались в пустой номер. Из этого Акума сделала еще одну новеллу, рассказывая знакомым о том, как Брейтбурд и Сурков, не застав нас в номере, решили, что мы сбежали. «Бедный Сурков», — иногда заканчивала Акума этот рассказ.

Но в тот день, наспех выяснив произошедшее, все спустились вниз, на площадь, сели в давно нас ожидавшие автомобили и поехали в здание парламента — палаццо Урсино — средневековый замок с глухими стенами и круглыми угловыми башнями. Машина въехала через низкие каменные ворота внутрь прямоугольного замкнутого двора и остановилась около крутой высокой каменной лестницы. Когда я узнала, что никакого другого входа нет, я замерла. Акума меня одернула и, впившись в мою руку, начала подыматься с решительностью, которую проявляют люди, готовые к любому рискованному шагу.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Увидев рыцарские ступени замка, куда ее вели, она вспомнила о предупреждении врачей: лестницы опасны для ее сердца. Но делать было нечего. «Что же? — подумала я. — По крайней мере, я умру на земле Данте! И, представьте себе, я даже не очень задохнулась…»

Войдя в зал для церемоний и заняв предназначенное ей место, она обратила внимание на мраморный бюст Данте, стоявший поблизости. «Мне показалось, что на его лице было написано хмурое недоумение — что тут происходит? Ну, я понимаю — Сафо, а то какая-то неизвестная дама…»

Микола Бажан (1904–1983), *украинский поэт:*

Расставили и включили прожектора. Проверили акустику. Опробовали съемочную аппаратуру. Было душно, шумно, утомительно. Отворились двери, и в зал неторопливо и торжественно в сопровождении нескольких человек вошла Анна Ахматова. На нее упали лучи прожекторов. Вся ее фигура выражала спокойное достоинство. По ней не было заметно, чего стоило этой пожилой женщине одолеть крутые ступени высокой средневековой лестницы. Поэтесса стояла величественная, словно королева из легенды. И вся разношерстная публика, которая наполняла зал, независимо от своего отношения к советским людям сейчас единодушно поднялась со своих мест, чтобы приветствовать прибывшую с севера советскую гостью, само появление которой вызвало изумление и восторг.

Я любовался ее манерой держаться, ее неторопливыми величавыми жестами, ее осанкой. Длинное платье из коричневого шуршащего шелка облегало ее фигуру, которая, утратив девичью хрупкость и гибкость, запечатленную на портретах Модильяни, Анненкова, Тышлера, приобрела какую-то, я бы сказал, царственную величавость. Поэтесса словно вознеслась над разноцветной и разноликой толпой на недосягаемую высоту. В ее поведении была и своеобразная поза, и некоторая театральность, игра, но столь талантливая и естественная, что казалась изначально ей присущей.

Слегка поклонившись, она присела у стола и обернулась к сопровождавшим ее и что-то говорившим ей людям. Я смотрел на четкий, красивый, гордый профиль, линии которого нисколько не исказило время. Дочь Украины, она в чертах своих сохранила задумчивую красоту черноволосых южанок. И вместе с тем, прожив чуть ли не всю жизнь на севере, в строгом величественном Ленинграде, она в своем облике как бы несла отпечаток этой строгости и величия.

Пауза длилась довольно долго. Ждали какого-то министра, а он, как водится, не мог не опаздывать. Ахматова, изредка роняя слово-другое своему разговорчивому соседу, держалась так, будто ее совсем не касается это опоздание, становившееся просто невежливым. Лишь легким кивком головы ответила она на преувеличенно подобострастные извинения министра, когда тот наконец явился.

Ирина Николаевна Пунина:

В большой старинной зале было многолюдно. Анну Ахматову провели на сцену. Сначала я присела около нее, потом мне дали

место во втором ряду. В первом сидели господа и дамы в мехах и драгоценностях. Под теплым небом Италии меха вызывали удивление.

Людей становилось все больше, скоро уже стояли. В проходах бегали фотографы и репортеры, телевизионщики устанавливали юпитеры и перекидывали провода. Прошло порядочно времени, но торжества не начинались. Наконец посередине сцены появился элегантный человек и произнес извинения, что все вынуждены ждать министра, а он задерживается в самолете. «Il vole…» (Он летит, *фр. — Сост.)* — повторил он по-французски и, глядя в потолок, сделал движение рукой, как бы показывая, что самолет опускается.

Ожидание было томительным, слепили прожекторы, в зале было тесно, говорили на многих языках, не все знали даже французский, который был как бы всеобщим. Ахматова сидела на сцене, время от времени призывая меня. Русские спрашивали, как чувствует себя Анна Андреевна. Она интересовалась, кто и что спросил. Она успокоилась и наперекор всем стала бодрой и терпеливой.

Наконец появился министр. (Позже в очередной новелле Акума рассказывала: «Я думала, все солидно — европейское сообщество писателей, министр искусств, культуры, просвещения, оказался министр… спорта».) Когда мы вернулись в Рим, нам сказали, что это был министр туризма — самого богатого министерства в Италии. Но Акума продолжала, смеясь, рассказывать: «Вы представляете: во главе всего — министр спорта!»

Министр извинился за опоздание самолета и выступил с приветственной речью к конгрессу писателей и его гостям. Затем было вручение премий.

Микола Бажан:

Вспыхнули прожекторы, засуетились кинооператоры. Твардовский поднялся и вошел в круг света, заливавшего абсиду. Ахматова встретила его с доброй приветливостью. Впервые на доселе неподвижном ее лице засияла простая и нежная улыбка.

Александр Иванович Кондратович (1920–1984), *критик, литературовед:*

Твардовский поехал в Италию на заседание руководящего совета Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого он являлся. Но знал, что Ахматовой уже присуждена итальянская литературная премия, и перед отъездом говорил: «Наверное, я буду и на вручении премии». Он не только был на

вручении премии в замке Урсино, но и выступил на торжественной церемонии с речью. За редким исключением Твардовский всегда выступал без «бумажек», и потому эта речь его сохранилась лишь небольшой своей частью, в информационной заметке, опубликованной в «Литературной газете» от 17 декабря 1964 года.

«Первое, что можно сказать о поэзии Ахматовой, — сказал Твардовский, — это подлинность лирического изъяснения, невыдуманность чувств и незаимствованность мыслей. Поэзия Ахматовой — образец высокого мастерства. Она на уровне высших достижений культуры русского стиха, следуя классической, главным образом пушкинской традиции, обладает чертами несомненной самобытности. Ее поэзия немногословна, экономна в средствах и по видимости как бы только традиционна…»

Микола Бажан:

Всю свою щедрую душу вложил Твардовский в слова, исполненные глубокого уважения к высокому таланту любимой поэтессы. Прекрасный знаток итальянского языка, Брейтбурд постарался как можно более точно воспроизвести не только содержание речи Твардовского, но и эмоциональные оттенки его выступления. Присутствующие встретили аплодисментами достойное начало церемонии. Пазолини прочел стихотворение, посвященное знаменитой гостье. Известная австрийская поэтесса Ингеборг Бахман произнесла свое сердечное приветствие. Не все выступления Ахматова воспринимала приязненно и благодарно. Некоторые ораторы допускали скрытые, но, несомненно, враждебные намеки. Ахматова реагировала на них с откровенным презрением, которое выразительно рисовалось на ее лице. По нему пробегали тени. Они исчезали, когда звучали теплые слова таких выдающихся писателей, как Пазолини, Бахман, Рихтер, Унгаретти.

Ирина Николаевна Пунина:

Совершенно неожиданно выяснилось, что Ахматова должна что-то сказать. Общие слова приветствия и благодарности от советской делегации (переведенные Г. Брейтбурдом) не удовлетворили присутствующих. Хотели слышать Ахматову. Акума вызвала меня на сцену.

— Что делать? Говорить не буду! Брейтбурд просит прочесть стихи. Сурков говорит — «Мужество».

— Не помню. Есть ли у кого-нибудь книжка?

— Нет.

Твардовский сказал, что напишет, взял мой пригласительный билет и пишет. В это время Акума спрашивает:

— Ирка, что читать? Я спросила:

— «Ты ль Данту диктовала…» — это хочешь?

— Да, да!

— Помнишь?

— Конечно, но все-таки напиши.

Я взяла у Твардовского билет и начала писать. Анна Андреевна сама докончила.

Она встала и начала читать. Я присела позади Твардовского. Как он слушал! Вполголоса повторял: «Что почести, что юность, что свобода…» Казалось, он слышал эти стихи впервые, возможно, так оно и было. Он произносил строки с благоговением, лицо его стало просветленным. Я не помню такой глубины восприятия даже среди поклонников Ахматовой.

Что почести?! Что юность?! Что свобода?!
Пред милой гостьей с дудочкой в руке…

Микола Бажан:

Киноаппараты почти вплотную придвинулись к ней. Неторопливо произнося каждое слово, она начала свою речь. Говорила по-русски, лишь цитаты из Данте и Леопарди произносила на языке оригинала. Просто, без какого бы то ни было эмоционального напряжения прочла отрывки из поэмы «Сон» и стихотворение о Данте. Сказала о своей давней влюбленности в Италию, в ее литературу. Говорила о том значении, которое для нее имела работа над переводами поэзии Леопарди. Книга переводов сразу же разошлась, потому что нигде, наверное, нет такой массовой тяги к познанию шедевров мировой литературы, как на родине поэтессы. Мысль о родине неотступно присутствовала в ее речи, о чем бы она ни говорила. Эта мысль наполняла ее душу и позже, отразившись в стихотворении, написанном через несколько дней, уже в Риме, накануне возвращения в Москву, в Ленинград, на родину.

Дмитрий Николаевич Журавлёв:

Ей вручили конверт и большую фигуру в рыцарском одеянии, что-то вроде великолепно оформленной куклы-игрушки. (Она показала нам эту красивую куклу.) Она отложила конверт в сторону и занялась разглядыванием оригинального подарка. Кто-то из членов юбилейного комитета, наклонившись, сказал: «Синьора! В этом конверте ваша премия!»

Микола Бажан:

Местные сановники пригласили ее как лауреата на банкет. Ахматова, постепенно освободившаяся от внутренней напряженности, но не утратившая своего величия королевы, выглядела тем не менее утомленной, даже подчеркнуто утомленной, чтобы, сославшись на это, не присутствовать на банкете. Она подошла к каждому из нас и шепнула:

— Приходите через час в гостиницу, ко мне.

Через час святой Доминик строго глянул на нас с фрески над дверями ее комнаты-кельи. Хозяйки хлопотали у стола. Сама Анна Андреевна, сбросив торжественное шелковое одеяние, нарядившись в костюмчик явно ленинградского пошива и подвязавшись фартучком, свободная от напряжения и официальности, оживленно хозяйничала. Добрая, гостеприимная, живая и приветливая, она рылась в чемодане, торжественно извлекая оттуда баночки с икрой, консервы, всевозможные сладости.

— На столе будет только наше. Я привезла все, даже черный хлеб. Даже это… — и она торжественно подняла вверх бутылку прозрачной «Столичной». — Сколько нас? Восемь? Все будем пить. И я тоже.

Дружной компанией расселись мы вокруг стола, шесть русских литераторов и один украинский. И стало так трогательно привычно и обыкновенно, как будто все это происходило в номере московской, ленинградской или киевской гостиницы, словно за окном не сверкали пенистые волны Ионического моря, не трепетала густая зелень цитрусовых рощ.

Ирина Николаевна Пунина:

На обратном пути из палаццо Урсино в отель нас пригласили в свой автомобиль французы. Уже стемнело. В декабре во всей Италии и на Сицилии готовятся к рождественским праздникам. В витринах магазинов, на балконах домов расставляются евангельские сцены: пастухи, идущие за Вифлеемской звездой, скачущие по склонам гор волхвы, младенец Иисус в яслях и склонившаяся над ним Мария. Все это искусно освещено гирляндами или свечками. В тот субботний вечер город казался особенно нарядным.

Машина притормозила на перекрестке. Акума обернулась ко мне:

— Слышишь, какой роскошный колокольный звон? Как в моем детстве!

Звон разносился со всех сторон из многочисленных церквей,

где заканчивалась вечерняя служба. Автомобиль поехал тише, всем казалось, что Катанья приветствует Анну Ахматову колокольным звоном.

В тот вечер многие пришли поздравить Анну Андреевну. Быстро заполнилось все пространство небольшого номера гостиницы. Дверь в коридор не закрывалась. Люди всё приходили, и Анна Андреевна благосклонно принимала поздравления, сохраняя спокойную величественность.

Я достала водку и закуски, в большом количестве данные нам в дорогу; но самое большое оживление и всеобщий восторг вызвал черный хлеб, который я зачем-то купила в Бресте. В тот вечер кусочки этого хлеба вызвали самые оживленные и веселые шутки. Непринужденное, почти озорное веселье особенно чувствовалось после официально торжественного чествования в парадном зале сицилийского парламента, где за каждым движением Ахматовой следил мраморный римский тогатус, бюст которого стоял в глубине президиума. Когда Анне Андреевне прислали фотографии торжеств, она, показывая их, говорила:

— Посмотрите, он отвернулся от меня, надменно презирает. А здесь он внимательно следит за этой чужестранкой.

Но в номере гостиницы, где поздним вечером 12 декабря 1964 года поздравляли Анну Ахматову с только что состоявшимся вручением ей премии «Этна-Таормина», все собравшиеся чувствовали себя свободно, стоя пили водку, гордясь Ахматовой, радуясь свободному общению и заново оценивая великую силу поэзии.

Сначала собралось человек двадцать — двадцать пять. После первых поздравлений и тостов в честь Анны Ахматовой итальянцы скоро ушли. У оставшихся разговор постепенно оживлялся. Обратились к стихам, переводам, изданиям. Постепенно все устроились вокруг стола. Беседа всех увлекла и продолжалась допоздна.

Александр Иванович Кондратович:

Вернувшись из Италии, Твардовский рассказывал:

— Вечером я решил зайти в номер гостиницы, чтобы лично поздравить Ахматову с премией. Она приняла меня так, словно мы были уже давно знакомы. Но я все же с некоторой опаской — женщина немолодая, может быть, сердечница — спрашиваю ее, а не отметить ли нам некоторым образом ее награждение? «Ну конечно же, конечно!» — обрадовалась она. «Тогда, может быть, я закажу по этому поводу бутылку какого-нибудь итальянского?» И вдруг слышу от нее: «Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?» И с такой располагающей простотой это было сказано

и с таким удовольствием! А у меня как раз оставалась в чемодане бутылка заветной, я тут же ринулся к себе, в свой номер…

Больше всего Твардовскому понравилось и навсегда расположило это открытое, неожиданное: «Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?» Где-то в далекой Сицилии, после торжественной церемонии самые простые слова… «До этого момента, — говорил Александр Трифонович, — я все еще представлял ее себе величественной, а тут у нас сразу пошел самый сердечный и дружеский разговор».

— Она все отлично видела и понимала, — говорил Твардовский. — Казалось бы, премия итальянская, а она спокойно, без какого-либо самообольщения: «А ведь меня, как поэта, здесь никто не знает». А я это и по себе знаю: меня в Италии принимали всегда как редактора, не как поэта. Я сказал ей об этом, и она понимающе улыбнулась…

Не ошибусь, если скажу, что эта встреча с Ахматовой была самым большим впечатлением Твардовского, вынесенным из той поездки в Италию.

Ирина Николаевна Пунина:

На следующий день была заказана для гостей конгресса поездка в Сиракузы. Анна Андреевна не захотела принять участие в этой поездке. Брейтбурд предложил устроить на другой день парадный обед в ее честь, пригласить нескольких итальянцев. Он условился о том, что наш номер соединят с соседним, таким образом появилась столовая, и Анна Андреевна принимала поздравления писателей, не поехавших в Сиракузы.

Вспоминая впоследствии Катанью, Анна Андреевна чаще всего рассказывала о римлянине, который следил за ней своими мраморными глазами во время торжеств, и о колокольном звоне, которым был наполнен весь город, когда она ехала из палаццо Урсино в свой номер.

Корней Иванович Чуковский:

В 1964 году, получив премию Таормина, она закупила в Италии целый ворох подарков для своих близких и дальних друзей, а на себя истратила едва ли двадцатую часть своей премии.

Лидия Корнеевна Чуковская:

28 февраля 1965. …По-видимому, поездкой она недовольна. Не Италией недовольна, а своей поездкой, то есть отношением тамошних людей к ней. Встречами с тамошними людьми.

— Ни одного родственного слова, ни одной свежей

интересной мысли, ни одного человека, с которым хотелось бы подружиться.

— Стихов они и своих-то не любят, о наших и говорить нечего.

— Меня они знают только по «Реквиему». Более ничего не знают и знать не хотят.

— Борис Леонидович жизнью своей оплатил мировую славу, а мировая слава уж наверняка мерзость.

— Вам ни за что не угадать, какое тамошнее учреждение устроило мою поездку, премию и проч. Попробуйте.

Я предположила: нечто вроде здешнего Министерства просвещения? Министерство культуры? Союз писателей?

— Ми-ни-стерство ту-ризма, — выговорила Анна Андреевна с отвращением. — То есть рекламы. Приветствовал меня там министр туризма…

— Ни один из тамошних издателей не предложил мне деньги…

— Статья Адельки на уровне речи Жданова… Все они ожидали, что я там останусь, попрошу политического убежища, а когда оказалось, что у меня и в мыслях этого нет, напустили Адельку…

(Так она называет какую-то тамошнюю даму, которая написала о ней, по ее словам, грубую и глупую статью.)

Потом слегка повеселела, рассказывая о своей встрече с Твардовским. Было, по ее словам, так. Когда она шла через проход посреди зала в том замке в Сицилии, где ее чествовали, она отыскивала глазами своих, то есть русских.

— Иду и озираю зал. Ищу наших, москвичей. Там ведь была и наша советская делегация. Смотрю — в одном ряду посреди зала, с самого края прохода сидит Твардовский. Шествую торжественно и бормочу себе под нос — тихонечко, но так, чтобы он услышал: «Зачем нянька меня не уронила маленькой? Не было бы тогда этой петрушки». Он, бедняга, вскочил и, закрыв рот ладонью, выскочил в боковую дверь: отсмеиваться… Не фыркать же тут, прямо в зале…

1965. Оксфордская мантия

Лидия Корнеевна Чуковская:

37 *мая 1965*. …Уезжала мучительно. Уехала, но не обошлось без болей в сердце. Я ее не провожала (занята), но Ника и Наталия Иосифовна рассказывают: до без четверти шесть ей не изволили сообщить, едет она или нет; она своим грозила, что если визу не дадут сегодня — вообще не поедет ни в какой Лондон, а отправится к себе в Комарово. Дали! Но на перроне уже сплошной нитроглицерин.

Владимир Эммануилович Рецептор (р. 1935), *актер, поэт, очеркист:*

Поездка в Англию состоялась в июне 1965 года: Лондон, Оксфорд, Стрэтфорд. Я слушал рассказ Анны Каминской, сопровождавшей Анну Андреевну в этом путешествии, и живо представлял себе этот хроникальный сюжет.

3 июня. Корабль из Дувра подходит к лондонскому причалу. На берегу большая толпа. Анна Андреевна, тяжело опершись на плечо своей молодой спутницы, спрашивает: «Почему я не умерла, когда была маленькой?..» <…>

Ахматову встречают с цветами. Заголовки лондонских газет с именем Ахматовой, среди которых выделяется: «Сафо из России»…

В номере отеля очень много цветов, это темно-красные розы, небольшие, еще не раскрывшиеся полностью, твердые. Цветы всё несут. Один букет особенно красив и огромен. Номер становится похож на оранжерею. Анна Андреевна говорит Ане: «Да вынеси ты хоть половину!»

4 июня. Ахматова осматривает Лондон. Знаменитые места. Вечером, по пути в Оксфорд, машина попадает в дорожную пробку…

5 июня утром. Торжественный завтрак в Оксфордском университете. Присвоение Анне Ахматовой почетного звания доктора honoris causa. В зале — Ю. Анненков, А. Райкин… Ее речь…

Два дня в Стрэтфорде. Комната отеля выходит на террасу. Терраса спускается в великолепный сад. Ахматова спрашивает: «Это сон? Или нет?..»

А ведь сон — это тоже вещица,
Soft embalmer, Синяя птица,
Эльсинорских террас парапет…

По шекспировским местам их везет тяжелая машина. Шофер — в белой рубашке с галстуком, короткая стрижка.

Дом, где родился актер Шекспир. В саду высажены все растения, упоминающиеся в его пьесах. Анна Андреевна не выходит из машины. Ей нездоровится. Аня быстро осматривает дом и сад и, вернувшись, рассказывает о них Ахматовой.

Дом жены Шекспира. Аня осматривает, Ахматова ждет ее в автомобиле.

Деревянные решетки на окнах, деревянный заборчик. Смоленая солома, высокие трубы — дом дочери Сюзанны в Стрэтфорде, дома на улице Генли, дом дочери Юдифи. Черепичная крыша…

К церкви Святой Троицы указывает дорогу знаменитая аллея. В церкви — могила, надгробная плита с надписью и тот самый знаменитый раскрашенный бюст, который любят описывать «антишекспиристы». Это лицо никак не соответствует нашим представлениям о высокой духовности.

Здесь Ахматова выходит из машины и движется к церкви. Осмотр гробницы. Шекспир — единственный из великих англичан, чей прах не перенесен в Вестминстер. Чтение надгробной надписи. Осмотр раскрашенного бюста…

Вечером следующего дня венцом шекспировской экскурсии должно стать посещение Мемориального театра в Стрэтфорде. Идет «Венецианский купец». Насколько шекспировская тема волнует Ахматову в этой поездке, говорит тревога о том, что ее знание английского языка может оказаться недостаточным для того, чтобы смотреть спектакль. Поэтому еще в Лондоне происходит посещение русского магазина, где совершается покупка третьего тома изданного у нас шекспировского восьмитомника. В нем «Венецианский купец» — в переводе Т. Щепкиной-Куперник.

Накануне спектакля в отеле две женщины — старая и молодая — читают шекспировскую пьесу.

Не знаю, отчего я так печален.
Мне это в тягость; вам, я слышу, тоже.
Но где я грусть поймал, нашел иль добыл,
Что составляет, что родит ее, —
Хотел бы знать!..

Когда подходит время ехать в театр — он стоит на самом берегу, и белые лебеди Эйвона подплывают совсем близко, — Анна Андреевна чувствует себя хуже вчерашнего. Она не сможет поехать на спектакль.

Аня боится оставлять ее одну, но Ахматова велит ей отправляться: «Это для тебя на всю жизнь…»

Юрий Павлович Анненков:

5 июня 1965 года на мою долю выпал счастливый случай присутствовать в амфитеатре Оксфордского университета на торжественной церемонии присуждения Анне Ахматовой звания доктора honoris causa. Трудно сказать, кого было больше среди переполнившей зал публики: людей зрелого возраста или молодежи, в большинстве, вероятно, студенческой. Появление Ахматовой, облаченной в классическую «докторскую» тогу, вызвало единодушные аплодисменты, превратившиеся в подлинную овацию после официального доклада о заслугах русской поэтессы.

Часа через два после этого события в моей отдельной комнате раздался телефонный звонок: говорил по-русски женский голос от имени Ахматовой. Узнав, что я нахожусь в Оксфорде, Ахматова просила меня возможно скорее приехать к ней. Я не замедлил исполнить ее желание.

— Страшно подумать: почти полных полвека! — сказала Ахматова, протянув мне руку.

Наша беседа длилась более двух часов. Воспоминания, вопросы, разговор обо всем. <…> Меня чрезвычайно тронуло, что Ахматова вспомнила даже о том, как в 1921 году она позировала мне в моей квартире, сказав, что это происходило в яркий, солнечный июльский день и что она была одета в очень красивое синее шелковое платье. <…>

Ахматова приехала в Оксфорд в сопровождении очень симпатичной молоденькой Ани Каминской, внучки Николая Пунина… Второй спутницей была американская студентка, проживающая в Англии, Аманда Чейс Хейт, изучающая русский язык и уже неплохо говорящая на нем. Теперь она готовит книгу о поэзии Ахматовой.

Я виделся с Ахматовой в Оксфорде три раза. Само собой разумеется, наши разговоры сводились главным образом к взаимным расспросам о литературе, об изобразительном искусстве, о музыке, о театре — в СССР и за рубежом, а также — о наших общих друзьях, живущих там и живущих здесь.

Борис Васильевич Анреп (1883–1969), *поэт, художник,*

адресат лирики Анны Ахматовой:

В 1965 году состоялось чествование А.А. в Оксфорде. <…> Я был в Лондоне, и мне не хотелось стоять в хвосте ее поклонников. Я просил Г. П. Струве передать ей мой сердечный привет и лучшие пожелания, а сам уехал в Париж… <…> Я оказался трусом и бежал, чтобы А.А. не спросила о кольце. <…> Теперь она международная звезда! Муза поэзии! Но все это стало для меня четвертым измерением.

Так мои мысли путались, стыдили, пока я утром в субботу пил кофе в своей мастерской в Париже. На душе было тяжело…

Громкий звонок. Я привскочил, подхожу к телефону. Густой мужской голос звучно и несколько повелительно спрашивает меня по-русски: «Вы Борис Васильевич Анреп?» — «Да, это я». — «Анна Андреевна Ахматова приехала только что из Англии и желает говорить с вами…» — «Борис Васильевич, вы?» — «Я, Анна Андреевна, рад услышать ваш голос» <…> «Приходите в восемь часов вечера». <…>

Весь день я был сам не свой — увидеть А.А. после 48 лет разлуки! и молчания! О чем говорить? <…> В кресле сидела величественная, полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась.

«Екатерина Великая», — подумал я. «Входите, Борис Васильевич». Я поцеловал ее руку и сел в кресло рядом. Я не мог улыбнуться, ее лицо тоже было без выражения

«Поздравляю вас с вашим торжеством в Англии». — «Англичане очень милы, а «торжество» — вы знаете, Борис Васильевич, когда я вошла в комнату, полную цветов, я сказала себе: «Это мои похороны». Разве такие торжества для поэтов?»

Сергей Васильевич Шервинский:

По возвращении в Москву не без улыбки рассказывала нам, как она шествовала по Оксфорду в мантии Ньютона.

Лидия Корнеевна Чуковская:

26 июня 1965. …Из чемоданчика вынула она целый ворох газетных вырезок…

Я начала читать. Не могу похвалиться, что справляюсь с английским без труда. Однако в газетных откликах разобралась. Они разные. Что ж! Пустовато. Хвалы, но за хвалами — пустота. И обидное невежество. Гумилёв расстрелян в 20-м году. Им все равно — в 20-м, в 21-м… Ахматова рассматривается чаще всего не как великий русский поэт, а как женщина-поэт, поэтесса. («Я научила женщин говорить…») Она женщина, но отнюдь не феминистка. Не всегда также можно понять из текста заметок,

молчала ли она двадцать лет, или двадцать лет работала, но ее не печатали. Прокламируется некое ее литературное воскресение во время Второй мировой войны, когда она почувствовала себя патриоткой. (А 14-й год? А — всегда?) Затем какая-то путаница с каким-то звонком Сталина в Ташкент, он будто бы приказал вылечить ее от тифа — хотя, мне помнится, звонил в Ташкент не Сталин, а Жданов, и не во время тифа, а раньше… Встречаются, впрочем, и толковые интервью: это те, в которых добросовестно воспроизведены собственные мысли Ахматовой об эстрадной поэзии: существуют стихи, которые звучат с эстрады, а на бумаге оказываются мнимостью; слова ее о Марии Петровых и о юных, но уже гонимых поэтах. (Явно подразумевается Бродский с товарищами.) Но то: «говорит Ахматова», а когда «говорят газетчики» — сплошное пустомельство. Анна Андреевна вернулась и снова села на диван рядом со мною.

— Вкусили?

Я сказала: толково кое-что, но много равнодушия и вранья.

— Много злобы. Здесь, в этом ворохе, собрано далеко не все. Интервьюировала меня одна журналистка. Поговорив со мною, опубликовала следующее соображение: «Сначала я думала, что это тяжелый случай нарциссизма…» И вот так — всё…

Я сказала: судя по вырезкам, не всё.

— Да, человеческая глупость разнообразна.

Анна Андреевна сунула газетные вырезки в чемоданчик. Вынула фотографии. Некоторые ужасны: не Анна Ахматова, а старушенция какая-то. Хорошая одна: трагическая маска. Без живой боли невозможно смотреть на ту, где Анну Андреевну почтительно сопровождают из одного здания Оксфорда в другое. Она уже в мантии. Выражение лица, поникшие плечи: люди! зачем вы ведете меня на эшафот? Она объяснила: «В этот день у меня сильно болело сердце». Я глядела, вглядывалась в ее лицо, мученически возвышающееся над мантией, и вспомнились мне строки из «Черепков»: «На позорном помосте беды, / Как под тронным стою балдахином». Здесь, на помосте торжеств, тронный балдахин — мантия! — кажется пестрым саваном…

— В Оксфорде я очень устала. Целые дни правила чужие диссертации. Кто бы мог подумать, что мне, при моей серости, придется заняться этим?.. Ну да, там все пишут диссертации об акмеизме, о Мандельштаме, о Гумилёве, обо мне. У них все перепутано и наврано, а я должна исправлять.

Я сказала: хорошо, что вы получили такую возможность.

— Нет, Лидия Корнеевна, я поняла, что на все это надо махнуть рукой. Ничего не исправишь. Переводы ужасны. Я видела «Реквием» — избави бог такое и во сне увидать, это наглая

халтура. «С морем разорвана связь» — будто бы с Балтийским. «Памятник мне» — будто памятник на могиле… И так всё сплошь. Самый точный перевод, сделанный Амандой (Хейт. — *Сост.)* и Питером (Норманом. — *Сост.),* — прозаический. Я его авторизовала. Но ведь это всего только проза.

1965. Свидание с Парижем

Жан-Марк Бордье, *поэт, переводчик, филолог:*

Тогда она остановилась в прекрасной гостинице недалеко от Елисейских Полей и принимала там весь цвет парижской интеллигенции. При ней постоянно находился мой бывший преподаватель в Сорбонне Никита Струве. В этой ситуации я не был особенно нужным и интересным. Но Анна Андреевна очень радушно меня приняла, и я помню, как сидел около нее и чистил для нее апельсин.

Георгий Викторович Адамович:

С наступлением «оттепели» кое-что изменилось. В газетах появились сведения о том, что Анна Андреевна собирается в Италию. На следующий год она приехала в Оксфорд, где университетскими властями была ей присуждена степень доктора honoris causa. Из Англии до Парижа недалеко, — будет ли она и в Париже? Можно ли будет с ней встретиться? Не зная, в каком она настроении, как относится к эмиграции и к тем, кто связан с эмигрантской печатью, не зная и того, насколько она свободна в своих действиях, я сказал себе, что не сделаю первого шага к встрече с ней, пока не уверюсь, что это не противоречит ее желанию.

Ночь. Телефонный звонок из Лондона. Несколько слов по-английски, а затем:

— Говорит Ахматова. Завтра я буду в Париже. Увидимся, да?

Не скрою, я был взволнован и обрадован. Но тут же, взглянув на часы, подумал: матушка Россия осталась Россией, телефонный вызов во втором часу ночи! На Западе мы от этого отвыкли. Откуда Анна Андреевна знает номер моего телефона? — недоумевал я. Оказалось, ей дала его в Оксфорде дочь покойного Самуила Осиповича Добрина, профессора русской литературы в Манчестерском университете, где я одно время читал лекции.

На следующий день я был у Ахматовой в отеле «Наполеон» на авеню Фридланд.

У Толстого, среди бесчисленных его замечаний, читая которые думаешь: «Как это верно!» — есть где-то утверждение, что в первое мгновение после очень долгой разлуки видишь всю перемену, происшедшую в облике человека. Однако минуту спустя изумление слабеет и порой даже кажется, что таким всегда человек и был. Не совсем то же, но почти то же было и со мной.

В кресле сидела полная, грузная старуха, красивая, величественная, приветливо улыбавшаяся, — и только по этой

улыбке я узнал прежнюю Анну Андреевну. Но, в согласии с утверждением Толстого, через минуту-другую тягостное мое удивление исчезло. Передо мной была Ахматова, только, пожалуй, более разговорчивая, чем прежде, как будто более уверенная в себе и в своих суждениях, моментами даже с оттенком какой-то властности в словах и жестах. Я вспомнил то, что слышал незадолго перед тем от одного из приезжавших в Париж советских писателей: «Где бы Ахматова ни была, она всюду — королева». В осанке ее действительно появилось что-то королевское, похожее на серовский портрет Ермоловой.

Мало-помалу Анна Андреевна оживилась, стала вспоминать далекое прошлое, стала что-то рассказывать, о чем-то расспрашивать, смеяться, спорить, короче — как-то «опростилась», перейдя на прежний наш легкий, прерывистый, петербургский тон и склад беседы, в которой все предполагалось понятым и уловленным с полуслова, без пространных объяснений.

О чем мы говорили? Главным образом, конечно, о поэзии, о стихах, и мне жаль, что, придя домой, я не записал беседы. Но так как было это сравнительно недавно, то почти все сказанное Анной Андреевной я помню довольно твердо и мог бы передать ее слова без искажения. Смущает и связывает меня только то, что, воспроизводя разговор, надо привести и то, что сказал ты сам: иначе не все окажется ясно. Постараюсь, однако, уделить самому себе внимания как можно меньше.

Анна Андреевна провела в Париже три дня. Был я у нее три раза. При первой же встрече я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу, где дважды была она в ранней молодости, больше чем полвека тому назад. Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своем юном парижском друге, будущей всесветной знаменитости, никому еще в те годы не ведомом. Был чудесный летний день, один из тех ранних, свежих, прозрачно-ясных летних дней, когда Париж бывает особенно хорош. За Ахматовой мы заехали вместе с моими парижскими друзьями, владеющими автомобилем и заранее радовавшимися встрече и знакомству с ней. Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже… сколько раз он тут у меня бывал», — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение. Оттуда поехали в Булонский лес, где долго сидели на залитой солнцем террасе какого-то кафе, и наконец

отправились на Монпарнас, завтракать в «Куполь», шумный, переполненный народом ресторан, до войны бывший местом ночных встреч парижской литературной и художественной богемы, в том числе и русской, эмигрантской.

Ахматова села, внимательно оглядела огромный квадратный зал, улыбнулась, вздохнула и наконец сказала:

— Если бы вы знали, что это!.. вот так сидеть… а вокруг все эти люди, эта молодежь… входят, выходят, смеются, веселые, оживленные, беспечные…

Фразу она оборвала, своего «если бы вы знали» не договорила, не объяснила. Но объяснений и не нужно было, и недопустимо было бы на них настаивать. Все было понятно. Вскоре разговор перешел на литературу: иных тем Анна Андреевна, по-видимому, избегала, касаясь их лишь случайно и нехотя. Еще до завтрака она, например, несколько раз произнесла слово «Ленинград». Я спросил ее:

— Вы говорите Ленинград, а не Петербург? — спросил потому, что слышал, будто советская интеллигенция, по крайней мере большая часть ее, предпочитает теперь говорить не Ленинград, а Петербург или иногда по-простонародному — Питер. Ахматова довольно сухо ответила:

— Я говорю Ленинград потому, что город называется Ленинград.

Я почувствовал, что о многом ей говорить трудно и больно, тут же пожалев, что задел один из таких предметов. В ее голосе мне почудился упрек, даже какой-то вызов: «Зачем задавать мне такие вопросы?» Не думаю, чтобы я ошибся в своей догадке.

Юрий Павлович Анненков:

Я вернулся в Париж 8 июня. Но 17 июня неожиданно Анна Ахматова тоже приехала в Париж, где пробыла четыре дня. По случайному совпадению она поселилась в отеле «Наполеон» на авеню Фридланд около площади Этуаль, отеле, управляемом Иваном Сергеевичем Маковским, сыном С. К. Маковского, поэта и основателя знаменитого художественно-литературного журнала «Аполлон», где были напечатаны ранние стихотворения Ахматовой. <…> Я пригласил Ахматову приехать ко мне к обеду на следующий день с Аней Каминской и с американской студенткой. Ахматова сразу же согласилась, и суббота 19 июня останется для меня одним из незабываемых дней. В рабочем кабинете и в библиотеке на стенах — мои портреты Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Казимира Малевича, Алексея Толстого, Никиты Балиева, Леонида Андреева, Валерия Инкижинова, а также —

гуашный портрет Ахматовой, знакомый ей лишь по фотографиям, так как он был закончен мною уже в Париже.

— Мне кажется, что я вернулась в мою молодость, — прошептала Ахматова, оглядываясь на эти рисунки.

— Мне тоже, потому что *вы* здесь, — ответил я.

Георгий Викторович Адамович:

Встретился я с Анной Андреевной во время ее пребывания в Париже, повторяю, три раза. Разговоров было много. Приведу некоторые их обрывки — не стремясь через два года к искусственной, поддельной последовательности и связности. Помню общее содержание бесед, но не помню их порядка…

— Довольны вы, что побывали в Париже, довольны ли оксфордскими торжествами и всем вообще

— Да, все было хорошо, слава богу, грешно было бы жаловаться. Но без ложки дегтя никогда не обходится… Вот посмотрите, что в ваших газетах обо мне пишут! Я только вчера прочла это.

Анна Андреевна протянула мне недавно полученный номер «Нового Русского слова» с большой статьей о ней. Я наскоро пробежал статью и не без недоумения спросил:

— Что же вам тут неприятно? Статья доброжелательная, ни одного дурного слова…

— Да, совершенно верно, похвалы, комплименты, ни одного дурного слова… Но между строк можно прочесть, что я какая-то мученица, что я страдалица, что я в современной России всем и всему чужда, повсюду одинока… Вы не знаете, как это мне вредило и как может еще повредить! Если у вас хотят обо мне писать, пусть пишут как о других поэтах: такая-то строка лучше, другая хуже, такой-то образ оригинален, другой никуда не годится. И пусть забудут о «мученице»…

— Анна Андреевна, могу я передать ваши слова редакторам эмигрантских газет и журналов?

— Не только можете, но окажете мне большую услугу, если сделаете это. Я настоятельно вас об этом прошу. Не надо делать меня каким-то вашим знаменем или рупором. Неужели эмигрантским критикам трудно это понять?

В день своего отъезда из Парижа Анна Андреевна была не совсем такой, как накануне: казалось, она чем-то озабочена или опечалена. Даже как будто растеряна. На вокзал я ехать не хотел — у меня были для этого основания — и пришел проститься с ней в отель. Она сказала:

— Да, не надо быть на вокзале. Я вообще боюсь вокзалов.

Боялась она их не по суеверию, а по состоянию здоровья: два

или три раза при отъездах у нее был сердечный припадок. О литературе, о поэзии мы, конечно, больше не говорили. Я спросил Ахматову, как живется ей в материальном, денежном отношении: «Поверьте, я спрашиваю об этом не из простого любопытства».

— У нас хорошо платят за переводы. Теперь я перевожу Леопарди… Так что ничего, концы с концами свожу.

— А если вы больны, если работать не можете?

— Тогда хуже. Пенсия, но очень маленькая.

И в первый раз, за все три дня, она заговорила о себе, о своей личной жизни, о том, что пришлось ей пережить в прошедшие десятилетия.

— Судьба ничем не обошла меня. Все, что может человек испытать, все выпало на мою долю.

В дверь постучались. Вошли люди, с цветами, с конфетами. Пора было собираться, укладывать в чемодан последние мелочи. До поезда оставалось не больше часа.

Анна Андреевна как-то беспомощно стояла посреди комнаты, стараясь улыбнуться.

— Ну, до свидания, не забывайте меня. Не прощайте, а до свидания! Бог даст, я на будущий год опять приеду в Париж. Спасибо.

Скорей движением рук и недоуменным выражением лица, чем словами, я спросил: за что спасибо?

— Да так, за все… Не за прошлое, так за будущее. Все мы друг другу чем-нибудь обязаны. Особенно теперь.

Выходя, я в дверях обернулся. Анна Андреевна помахала рукой и сказала: «Христос с вами, до свидания». Но свидания больше не было — и не будет.

Юрий Павлович Анненков:

21 июня в 11 часов утра Ахматова и Каминская уезжали в Москву с Северного вокзала. Я приехал туда проводить их. Анна Ахматова была уже в купе спального вагона Париж — Москва. Она сказала мне, что утром вследствие усталости и сильных душевных волнений у нее начались боли в груди и что ей пришлось принять специальные пилюли, но что теперь все уладилось и она чувствует себя хорошо. Я спросил, какое у нее осталось впечатление от этого почти трехнедельного пребывания за границей? Ахматова сказала, что она никак не ожидала такого радушного, такого теплого приема со стороны всех, кого она встретила и с кем ей удалось беседовать, и что она никогда не забудет этого путешествия. Мы трижды поцеловались.

Когда поезд тронулся, Ахматова и Аня, стоя у открытого окна вагона, очень ласково махали нам руками, пока вагон не

скрылся…

Владимир Сергеевич Муравьёв:

После приездов из-за границы она была несколько погасшая. Видимо, это было какое-то свидание с прошлым, которое было необходимо для формирования, образования судьбы. И необходимы были крушения, разочарования, невстречи и неузнавания, болезненное сообразование прошлого с настоящим, инобытие прошлого. Что-то узнавалось заново, появились новые поэтические задания, иные из них ощущались как непосильные. Я так понимал ее состояние, и наши тогдашние разговоры, насколько я помню, то косвенно подтверждали.

1966. Последние дни

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Последние месяцы жизни А.А. провела в Боткинской больнице. До этого она жила у Ардовых… Она все хотела приехать посмотреть мою новую квартиру, уже было собралась, но ей стало плохо. Отложили на два дня, но она очутилась не у меня, а в больнице. В испуге я помчалась к ней. Меня провожал Шаламов. Он остался ждать в раздевалке, а я поднялась наверх. Такой страшной я ее никогда не видала. Она лежала в полузабытьи, уже отрешенная от жизни, но все же узнала меня. Изредка, открыв глаза, она делала над собой явное усилие и обращалась ко мне. Меня поразило, как тщательно она подбирает, о чем заговорить — о самом добром, о том, что нас связывало, о прошлом… «Надя, я так болела в Ташкенте, а вы были со мной… мне так хотелось к вам приехать… вы берегите мои «листки», и я напишу еще…»

Виталий Яковлевич Виленкин:

…В январе 1966 года я увидел ее в больничной палате — как оказалось потом, в последний раз. Она уже давно лежала в Боткинской больнице, очень медленно поправляясь после очередного инфаркта.

Я пришел туда передать ей фрукты и на всякий случай попросил узнать, не хочет ли Анна Андреевна меня видеть. Меня тут же провели к ней в палату. Она лежала, не приподымаясь, но с высоко поднятым изголовьем. Спокойная, причесанная, с седой челкой. Явно обрадовалась и долго не отпускала. На трех соседних койках больные тихо разговаривали между собой. Принесли больничный ужин — кашу с киселем, но Анна Андреевна сказала, что «это подождет». Ни на что не жаловалась, с благодарностью перебирала всех, кто о ней заботится. И вдруг, оживившись, вспомнила про письмо, которое получила недавно из Парижа от одной давней своей поклонницы-француженки. Это письмо она тут же дала мне прочесть. В нем высказывалось сожаление, что Анна Андреевна не смогла из-за своей болезни еще раз приехать в Париж, а дальше ее горячо просили иметь в виду, что ее там ждут всегда, что в любое время в ее полном распоряжении квартира на бульваре Распай, автомобиль — с шофером, конечно; перечислялся еще какой-то «персонал обслуживания», включая, кажется, и парикмахера. В письме было подчеркнуто, что она будет там жить так, как ей заблагорассудится, встречаться только с кем найдет нужным,

выезжать только куда захочется и т. п.

Письмо это Анну Андреевну, по-видимому, и занимало и забавляло. «Ну, что скажете? — спросила она, когда я кончил читать, — По-моему, мне вот только этого и не хватало».

Надежда Яковлевна Мандельштам:

В привилегированном отделении, где лежала А. А., простых смертных не было, только тещи и матери номенклатурных работников, деятельницы двадцатых годов, случайно уцелевшие от разгромов, твердо помнящие, как и за что ставили к стенке, чтобы сохранить достижения революции. Они читали в газетах про дело С. и Д. и громко его комментировали: «Вот так подонки!.. В наши дни». «Каково мне это слушать? — жаловалась А.А. И шепотом: — Пусть Д. и С. потеснятся: мое место с ними». «В инфаркте шестой прокурор», — процитировала я. Она замахала руками: тише, услышат… И вдруг я увидела, что к ней вернулся страх. «Что вы, Ануш, вас не тронут…» — «А «Реквием»? Ведь это то же, что у них…» Я не могла ей сказать прямо в глаза, что у нас действительно произошла перемена к лучшему и умирающих не стягивают с больничной койки, чтобы отвезти на допрос. Та эпоха кончилась. Наступила новая: открытый суд по приглашениям, общественные обвинители, прокурор, защитник и небольшая горсточка лагерной пыли за преступное печатанье неподходящих литературных произведений. А чтобы литературные произведения не удирали в другой мир, писателям предлагается забирать их из редакции, где отказались их печатать, и получше прятать дома, а то и уничтожать. Второе даже патриотичнее: зачем писать и держать вещи, которые нельзя у нас напечатать? Но вас, Ануш, не тронут, право же, не тронут… Вам простят «Реквием»… В крайнем случае вы сами попросите прощения. Это был последний приступ страха — перед самой смертью.

Михаил Борисович Мейлах:

Но никогда не видел я Ахматову более прекрасной, чем в ее последней больнице. Думая об этом теперь, кажется, что в преддверии конца, которого тогда никто, ни в том числе и я, как ни странно, не могли себе представить, сокровенные черты, сделавшись зримыми, в последний раз преобразили царственный облик Ахматовой. Несмотря на тяжелую болезнь («…я сегодня плохая…»), она жила почти обычной жизнью: читала Платона в новом, только что вышедшем переводе Симона Маркиша, который тот принес ей туда, Алису Мейнелл, написала подробный критический отзыв об американском издании,

слушала музыку (перед одним из посещений — «Наваждение» Прокофьева, в котором справедливо слышала что-то бесовское). Последнее время Анна Андреевна интересовалась Кумраном и ранним христианством, что дало ей повод сравнить судьбу евреев в двадцатом веке с судьбою первых евреев-христиан. Ее навещали, и Анна Андреевна вспомнила, как в свое время Пастернак не пришел к ней в больницу, потому что боялся увидеть ее некрасивой. Мне показалось, что темнее стали глаза — быть может, из-за лекарств или просто освещения. Тогда ею было уже написано четверостишие:

А я иду, где ничего не надо,
Где самый милый спутник только тень,
Где веет ветер из другого сада,
А за окном могильная сирень.

А в ответ на высказанные кем-то медицинские соображения она сказала: «Теперь уже недолго осталось».

Анна Андреевна Ахматова:

10 февраля 1966. Сегодня три месяца, как я в больнице. Теперь могу решительно записать следующее: существует закон, по которому каждая больница от долговременного в ней пребывания медленно, но верно превращается в тюрьму. А через шесть дней объявят карантин для довершения сходства. Появятся «передачи» в наволочках, запертая (как в сумасшедшем доме) на ключ входная дверь, маски на лицах врачей, сестер, нянь и лютая скука. Помните, у П<ушки>на:

Иль от скуки околею
Где-нибудь в карантине…

Выздоравливающих перестанут выпускать гулять. Голуби, которых строго-настрого запрещено кормить, будут по-тюремному гулить за окнами.

18-е. Последний день. Завтра в полдень меня везут на Ордынку. Внешне я как будто ничего, но в самом деле никуда не гожусь.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Она, как всегда, сделала то, чего никто не ожидал, — воскресла. Меньше всего этого ожидали врачи, как она мне

сказала, уже сидя в коридоре и готовясь переезжать домой. (Какой там дом! Никакого дома у нее не было, а я побоялась взять ее к себе: как быть без телефона — вдруг что-нибудь случится и надо вызвать «неотложку».) В тот день ее смотрела врачиха и удивлялась, как это она выкарабкалась. «Вероятно, вам еще что-то надо сделать», — сказала я. «О господи, сколько ж еще делать», — ответила она.

Анатолий Генрихович Найман:

В середине февраля, кажется, 19-го, ее выписали, на начало марта были добыты путевки в санаторий — для нее и Ольшевской. Эти 10–12 дней на Ордынке ей становилось то лучше, то хуже, вызывали «неотложку», делали уколы, бегали за кислородными подушками…

3 марта 66-го года Ахматова с Ольшевской отправились в домодедовский санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами и вышколенным персоналом. К желтому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись, она огляделась и пробормотала: «L'Annee derniere a Marienbad». «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе была чуть ли не последней книгой, которую она прочла.

Анна Андреевна Ахматова:

Домодедово (3 марта 1966 г*).* Приехали с Ниной в санаторию. Большой пустой дом, чем-то напоминающий L'Annee passee a Marienbad.

Ночь в Москве ужасная. Я два раза принимала что-то от астмы и все-таки задыхалась. Лариса Александровна сообщила, что меня, вероятно, не примут в санаторию, что Крылова заявила, что я больничная больная, и развела такую панику, что я совсем упала духом. Все, как всегда, кончилось ничем.

4 марта. Лежу до 8-го (велел здешний врач). Здесь просто хорошо и волшебно тихо. Я вся в кумранских делах. Прочла в «Ариеле» (изр<аильский> журнал) о последних находках. Поражена, как, вероятно, все. Вместо 3-го века (см. Брокгауз — Ефрон о Новом Завете), время до 73 года н<ашей> э<ры> (т<о> е<сть> до войны). Никакой ошибки быть не может. Точно описан Апокалипсис с редакторск<ими> заглавия<ми> и поведение первых мучеников. Почему-то евреев (не христиан)

римляне вовсе не мучили. Они (римляне) были гениальными колонизаторами, а сам прокуратор Понтий Пилат выходил на улицу, чтобы разговаривать с Анной и Каиафой, потому что, войдя в его дворец, они бы осквернились и не смели вкушать пасху, а римские императоры, если день (раз в году) раздачи подарков приходился на пятницу, велели оставлять подарок для евреев (см. Момзена, т…. стр. …). Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан, еще до 73 г<ода>, т<о> е<сть> сразу после смерти Христа (33 год).

Мы так много и подробно знаем о поведении первых христиан.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Она уехала в санаторий с Ниной Ольшевской. Ехать туда ей не хотелось, не любила она санаториев, но поехала потому, что врачи настаивали, потому, что хотела, очень хотела поправиться и жить дальше и жить долго. «А там, — рассказывала Нина Антоновна, — ей вдруг все понравилось, и она обрадовалась и на другое утро проснулась радостная, с охотой собираясь отдыхать, лечиться, гулять, поправляться». Вот и все. Тут оно и грянуло.

Анатолий Генрихович Найман:

5 марта я с букетиком нарциссов отправился в Домодедово — 3-го, прощаясь, мы условились, что я приеду переписать набело перед сдачей в журнал воспоминания о Лозинском, которые вчерне были уже готовы и требовали лишь незначительных доделок и компоновки. Стоял предвесенний солнечный полдень, потом небо стало затягиваться серой пеленой — впоследствии я наблюдал, что так часто бывает в этот и соседние мартовские дни. Встретившая меня в вестибюле женщина в белом халате пошла со мной по коридору, говоря что-то тревожное, но смысла я не понимал. Когда мы вошли в палату, там лежала в постели, трудно дыша, — как выяснилось, после успокоительной инъекции, — Нина Антоновна; возле нее стояла заплаканная Аня Каминская, только что приехавшая. Женщина в халате закрыла за мной дверь и сказала, что два часа назад Ахматова умерла. Она лежала в соседней палате, с головой укрытая простыней; лоб, когда я его поцеловал, был уже совсем холодный.

Лев Владимирович Горнунг:

5.III.1966. Сегодня в полдень мне позвонил Арсений Тарковский и сообщил, что в 11 часов утра в санатории «Домодедово» от паралича сердца скоропостижно скончалась Анна Ахматова. В феврале Ахматова лежала в Боткинской

больнице по поводу инфаркта миокарда. Она выписалась из больницы, кажется, первого марта и на другой день позвонила Арсению Тарковскому от Ардовых. Сообщила, что чувствует себя неплохо, что за время болезни скинула в весе двенадцать килограммов, чему радовалась. Она была полна литературных планов на будущее, намеревалась поехать в Париж по приглашению Международной писательской организации. Третьего марта Анна Андреевна и жена Ардова Нина Антоновна Ольшевская уехали на машине в санаторий «Домодедово».

Пятого марта утром Анна Андреевна почувствовала себя плохо. Нина Антоновна срочно вызвала врачей. В 11 часов врачи, выйдя из палаты, сообщили Нине Антоновне, что Ахматова скончалась. Нина Антоновна тут же из санатория позвонила об этом домой Виктору Ефимовичу. Ардов сообщил ближайшим друзьям Ахматовой, в том числе и Арсению Тарковскому. Тело Ахматовой из санатория к концу дня было уже перевезено в морг института имени Склифосовского.

Известие о смерти Ахматовой быстро распространилось по Москве. Скульптор Зоя Масленникова позвонила Ардову, сказала, что хочет снять маску с лица Ахматовой, пока еще не поздно, и просила у Ардова содействия. Вечером Виктор Ардов сообщил Зое Масленниковой, что разрешение получено. Масленникова пригласила форматора, и в полночь они были в морге. Форматор приступил к работе, и маска была снята. Зоя Афанасьевна хотела еще сделать слепок руки, но рука показалась ей немного распухшей, и она не решилась.

В тот же день в 22 часа было передано по радио сообщение о кончине Анны Ахматовой, на другой день это сообщение было напечатано в «Правде».

Прощание

Михаил Викторович Ардов:

Этот день — 5 марта 1966 года — я не забуду никогда. В одиннадцать утра в ленинградской квартире моего брата Алексея зазвонил телефон. Кроме меня там никого не было, я поднял трубку и услышал голос своего отца, он говорил из Москвы:

— Миша, скончалась Анна Андреевна…

И он принялся излагать подробности — как это произошло и где… А я ничего этого воспринимать не мог, настолько я был ошарашен… Смерть Ахматовой… После разговора в моем сознании осталась только одна фраза:

— Похороны в Ленинграде.

Я повесил трубку и стал соображать: как же это все будет… Ахматову надо отпевать в церкви, а деятели из ленинградского Союза писателей постараются этому воспрепятствовать. И в голове моей созрел план.

Я помчался на киностудию «Ленфильм» и отыскал кабинет редакторши, которую звали Ирина Николаевна Тарсанова. Эта симпатичная, интеллигентная дама была женою поэта Михаила Александровича Дудина, а он в те годы возглавлял организацию ленинградских писателей

Поздоровавшись, я сказал:

— Ирина Николаевна, сегодня утром в санатории под Москвой умерла Ахматова. Этого еще никто в Ленинграде не знает, я сообщаю вам первой. Похороны, конечно же, будут здесь. Но вот какая проблема: Анна Андреевна была верующим человеком, и ее необходимо отпеть в православном храме. А я боюсь, что со стороны работников Союза писателей могут быть возражения…

Тарсанова была польщена, что я обратился к ней по такому случаю, и немедленно позвонила помощнице своего мужа. Сообщив о смерти Ахматовой, она сказала:

— Ее надо хоронить, как положено в России, — сначала отпеть в церкви, а потом уже устроить прощание… Вы меня понимаете?..

Собеседница, как видно, была понятливая, и возражений не последовало.

Вечером того же дня мы с братом Алексеем отправились на квартиру Ахматовой, вскоре туда приехал Иосиф Бродский. <…>

6 марта 1966 года. Мы с Бродским бредем по кладбищу в

Павловске, в том самом «Павловске холмистом»… Мы ищем место для могилы Ахматовой. Нас сюда послала И. Н. Пунина. Узкая дорожка между могилами упирается в забор, и там стоит сосна — рослая, стройная…

— Ну, — говорю я, — вот тут, пожалуй, можно было бы… Но нет, не пойдет… У Пастернака три сосны, а у нас будет только одна…

Иосиф грустно усмехается:

— Ей бы эта шутка понравилась…

Мы медленно бредем прочь от павловского кладбища… И вдруг нас осеняет… Зачем мы слушаем эту дуру Пунину? Ахматова сама точнехонько указала место для своей могилы. Мы вспоминаем последние строки «Приморского сонета»:

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…

Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

Мы спешим в Комарово на кладбище… Там широкая дорожка, она упирается в забор, а сзади — целый лес сосен (гораздо больше, чем в Переделкине). И мы понимаем: именно здесь…

А дальше начались многодневные хлопоты, мы боролись за то, чтобы нам отдали место в конце дорожки. Мы говорили, что могила Ахматовой будет предметом поклонения тысяч людей и т. д. А нам отвечали, что кладбище в Комарово — «перспективное» и должно развиваться в запланированном направлении, а посему на центральной аллее никого хоронить нельзя…

В наши хлопоты были вовлечены многие лица, в том числе поэт Михаил Дудин, тогдашний секретарь ленинградской писательской организации. В те дни он пребывал в самом Комарове, в Доме творчества. Он позвонил оттуда и сказал мне буквально следующее:

— Я там только что был, на кладбище… Они предлагают другое место, в стороне… По-моему, очень хорошее место, надо соглашаться… А я, грешник, с трудом удержался, чтобы не сказать ему: «Хорошо, Михаил Александрович. Если вам предлагаемое ими место так нравится, быть может, приберечь его для вас?..»

В конце концов все решилось в самый день похорон. Помогла, дай ей бог здоровья, Зоя Борисовна Томашевская. Ее приятель, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Фомин, в те годы состоял в должности главного архитектора Ленинграда.

Он-то и приказал местным деятелям прекратить сопротивление…

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Три дня тело держали в морге: праздник 8 Марта — Международный женский день. Люди звонили в Союз за справками, но им отвечали, что она уже в Ленинграде: боялись толпы на похоронах, 9 марта тело выставили в маленьком зале морга, с ней простилась небольшая кучка народу, а потом тело отвезли на аэродром и погрузили на самолет. Несколько человек, в том числе и я, провожали ее тем же самолетом.

Ольга Моисеевна Грудцова (урожд. Наппельбаум; 1905–1982), *мемуарист:*

Тарковский позвонил мне и сказал, что с Анной Андреевной можно проститься в морге больницы Склифосовского. Два дня не прекращались телефонные звонки друзей и знакомых, потому что день и час прощания менялся. Официального сообщения не было. В Союзе писателей гроб не поставили, музей Маяковского хотел провести траурный митинг у себя — не разрешили.

В назначенный час я поехала в морг. Шел дождь и мокрый снег. Грязный двор, серая стена морга, несколько каменных ступеней наверх. В комнате для прощания в открытом гробу Анна Андреевна, похудевшая, почти такая, какой была в пору моей юности. Царственная посадка головы, «горбоносый антиохийский профиль, горький рот», как написал Тарковский.

Перед гробом на коленях стоит вдова художника Бруни, у изголовья склонилась Анечка Пунина, рядом Мария Вениаминовна Юдина истово крестит Ахматову. Рыдает Надежда Яковлевна Мандельштам, плачет незнакомый мне мужчина. Появляется Тамара Владимировна Иванова, ее сын Вячеслав. Народ прибывает, мы выходим во двор. Идет дождь и мокрый снег. Сиротливо стоят Вознесенский, Слуцкий, Самойлов, Межиров, молодежь… Приезжает Евтушенко на машине, проходит в зал, через минуту возвращается и уезжает. Появляются ленинградцы: Брауны, Николай Леопольдович, Мария Ивановна и Коля (впоследствии приговоренный к семи годам лагерей).

Ардов открывает коротенький траурный митинг на лестнице. Выступает Лев Озеров, Эткинд, Тарковский… От волнения

Арсений говорит бессвязно, и не закончив, плачет.

Лев Адольфович Озеров:

У входа в морг собралось несколько человек, которые взяли на себя право сказать об Анне Андреевне Ахматовой в скорбный час, до выноса тела. Взобравшись на скользкую ступеньку и поддерживаемые участниками панихиды, говорили трое: Арсений Тарковский, Ефим Эткинд и я. Тарковский так волновался, что у него не попадал зуб на зуб. Но овладев собой, он произнес несколько скорбных фраз. Эткинд говорил об ахматовском Ленинграде и от имени ленинградцев. Я с трудом одолел волнение. То, что я хотел сказать, жило во мне как стихотворение, я чувствовал ответственность этого часа. Эта речь, произнесенная экспромтом, вернулась ко мне через некоторое время, записанная кем-то на пленку. Вот она — речь моя при выносе гроба Анны Андреевны Ахматовой из морга больницы Склифосовского 9 марта 1966 года.

«Никто не давал мне никаких полномочий для произнесения этой речи. Я произношу ее от своего собственного имени, по велению своего сердца. Ахматова… Анна Ахматова… Анна Андреевна Ахматова…

Большое имя, большая жизнь, большой путь… «Ахматова! — Это имя — огромный вздох…» Пятьдесят лет назад эти слова сорвались с уст Марины Цветаевой. И мы повторяем их сегодня. И мы будем их повторять всегда, потому что у больших художников нет дня смерти, есть только день рождения.

Об Ахматовой говорили и продолжают говорить: тихий голос, камерная тема, интимность… Если это так, то почему же этот тихий голос громовым эхом отзывается в сердцах людей России, всего мира?!

Почему так властно и сильно входили и входят в душу читателя ее волшебные строки?!

Почему любой подорожник, любой стебелек в ее поэтических руках становятся сказочными и волшебными?!

Может быть, и должен быть один-единственный ответ:

…Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада? Отвечает: «Я!»

Наступает, еще наступит время для полной и справедливой оценки поэтического наследия Анны Ахматовой, этой хранительницы святого для нее пушкинского начала.

Анна Андреевна Ахматова дожила до часа, когда Россия, весь мир сказал заслуженное ею слово благодарности за ее высокий

дар поэта, за ее подвижнический труд, за то, что она приняла на свое доброе, чуткое сердце непомерные страдания и при этом проявила благородство, долготерпение, мужество, имени которому нет.

Анна Ахматова увидела воочью свою мировую славу и умерла, насыщенная днями, как сказано в книге Иова

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит…

Умерла Анна Ахматова, великий русский поэт. Она утвердилась в наших сердцах и утвердится еще более в сердцах людей грядущих поколений как наследница русской классической поэзии, продолжатель традиций Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Иннокентия Анненского.

Завершилась большая жизнь и большое творчество Анны Ахматовой. Начинается, уже началось ее бессмертие…»

Ольга Моисеевна Грудцова:

Ардов объявляет: сейчас гроб оцинкуют («так полагается») и самолетом повезут в Ленинград. С аэродрома в Никольский собор. Гражданская панихида состоится в ленинградском Союзе писателей, погребение в Комарове. Кто хочет проводить Ахматову в Ленинград, пусть садится в машину с гробом, кто хочет подождать выноса, пусть ждет, «остальные — расходитесь».

Мы остались ждать… А дождь все лил, и падал снег. По сугробу рыхлого, мокрого снега шла высохшая, взлохмаченная старуха, в тряпье, с огромной сумкой в руках. Казалось, сама смерть идет в дырявых башмаках. Мы долго не отрывали от нее глаз.

Наконец вынесли забитый в деревянный ящик гроб. Во дворе осталась маленькая кучка людей. Гроб поставили в машину, провожали Тарковский, Брауны, Эткинд, молодой поэт Найман, Эмма Герштейн, Пунины… Машина тронулась, мы поехали вслед за ней.

Лев Владимирович Горнунг:

9.III.1966. Вынос тела из морга состоялся сегодня в 11 часов утра. Гроб с телом Ахматовой был перевезен на Шереметьевский аэродром, а оттуда самолетом в 15 часов 15 минут был отправлен в Ленинград. Гроб сопровождали Вениамин Каверин и Арсений Тарковский.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Тело из Москвы, в сущности, выкрали — такова российская традиция. Какие-то женщины устроили по этому поводу скандал на партийном собрании в Союзе: почему не дали проститься с Ахматовой? Некто из важных руководящих работников, как рассказывают, объяснил: «Мертвых, товарищи, нам бояться не надо…»

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Пунины совершенно не хотели заниматься похоронами Ахматовой. Они всучили мне свидетельство о смерти Анны Андреевны и сказали: «Иосиф, найдите кладбище». В конце концов я нашел место — в Комарове. Надо сказать, я в связи с этим на многое насмотрелся. Ленинградские власти предоставлению ей места на одном из городских кладбищ противились, власти Курортного района — в чьем ведении Комарово находится — тоже были решительно против. Никто не хотел давать разрешения, все упирались; начались бесконечные переговоры. Сильно помогла мне З. Б. Томашевская: она знала людей, которые могли в этом деле поспособствовать, — архитекторов и так далее.

Тело Ахматовой было уже в соборе Святого Николы, ее уже отпевали, а я еще стоял на комаровском кладбище, не зная — будут ее хоронить тут или нет. Про это и вспоминать даже тяжело.

Как только сказали, что разрешение получено, и землекопы получили по бутылке, мы прыгнули в машину и помчались в Ленинград. Мы еще застали отпевание. Вокруг были кордоны милиции, а в соборе Лёва метался и выдергивал пленку из фотоаппаратов у снимающих. Потом Ахматову повезли в Союз писателей, на гражданскую панихиду, а оттуда — хоронить в Комарове. Надо сказать, я слышал разговоры, что вот, дескать, Комарово — не русская земля, а финская. Но, во-первых, я не думаю, что Советский Союз отдаст когда-либо Комарово Финляндии, а во-вторых, могла же Ахматова *ходить* по этой земле… В общем, похороны — да и все последующие события — были во всех отношениях мрачной историей.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Добиться места на кладбище стоило немалых усилий. Это тоже дефицитная площадь, и сюда тоже врывается идеология. Пока тело было в церкви, шли непрерывные переговоры с Москвой, где через Суркова добивались куска земли. Начальник кладбища в Комарове наконец сдался, поставив условием, чтобы

над могилой не было церковной службы. Жить у нас трудно, почти невозможно, а умирать тоже не легко. Даже этот последний путь осложнен тысячами приказов и постановлений, не говоря уж о том, что даже гроб почти что дефицитный товар. И все же счастье, что А.А. легла в родную землю без бирки на ноге. Могло быть и иначе — путем всея земли.

Михаил Викторович Ардов:

Хор поет: «В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии Крест яко ярем вземшии и Мне последовавшие верою, приидите насладитеся, их же уготовах вам почестей и венцов небесных…»

Кинооператор приближается к гробу и поднимает камеру, на него тут же кидается Лев Николаевич Гумилёв, почти выбивает аппарат из рук..

И это повторяется в течение всего отпевания. Отпевание Ахматовой проходило у Николы Морского, в нижнем храме, 10 марта — на шестой день после смерти. Я помню, как мы с Найманом говорили: если бы 5-е число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал нормальному течению событий омерзительный советский праздник 8 Марта, если бы не борьба за место на кладбище — это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни.

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Увидела ее уже в Ленинграде, на первом отпевании в Никольском соборе, в правом приделе, в цинковом открытом гробу, величественную и спокойную, покрытую парчовой тканью, с черной кружевной шалью на седых волосах.

Толпа людей: свои и чужие, молодежь и старики, кинооператоры и корреспонденты, верующие и неверующие…

В соборе читают великопостную молитву «Господи, Владыко живота моего…».

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Ленинград. Церковь. Панихида. Многотысячная толпа кольцом окружала церковь Николы Морского. Внутри была давка. Щелкали киноаппараты, но у фотографов отняли потом пленки: вредная пропаганда церковных похорон, да и женщина не совсем та: постановления ведь никто еще не отменил. Пленки запрятаны в каком-то архиве, а у фотографов были неприятности, хотя они запаслись всеми возможными разрешениями.

После службы я вышла из церкви и села в автобус, приготовленный для перевозки гроба. Из церкви непрерывной лентой лился поток выходящих, и так же непрерывно вливались в

нее толпы людей, еще не успевших пройти мимо гроба. Шло медленное прощание. В толпе были старухи-современницы, но больше всего молодых незнакомых лиц. А обычные посетительницы церкви — измученные старые женщины в допотопном тряпье — отчаянно прорывались внутрь, ругая тех, кто пришел сюда по экстренному случаю — похороны — и оттеснил их, всегда посещающих службы… Организаторы похорон волновались: прощание затягивается — кто мог думать, что набежит такая толпа? — и нарушается график.

Михаил Викторович Ардов:

После отпевания гроб повезли в ленинградский Союз писателей. По удивительному совпадению он размещается в доме, который в свое время, как и Фонтанный дворец, принадлежал графу Шереметеву. На нем красовался все тот же герб с девизом «Deus conservat omnia» («Господь сохраняет все»).

Но и это еще не все. В Москве тело Ахматовой лежало в морге института Склифосовского, то есть в странноприимном доме, который построили для города все те же Шереметевы.

Бродский, Найман, я и прочие в Союз писателей не пошли, чтобы не слышать глупостей и пошлостей, которые произносили над гробом великого поэта «инженеры человеческих душ». Побывавшая там Л. Д. Большинцова впоследствии рассказала нам о примечательном эпизоде.

Во время прощания с телом Ахматовой некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. Та ничтоже сумняся отвечала:

— В следующий раз организуем лучше.

— Следующий раз будет через сто лет! — крикнули ей из толпы.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Второе прощание и гражданская панихида состоялись в Союзе писателей. Там давно уже ждала толпа и внутрь больше не пускали. Швейцар стоял у дверей, отгоняя рвущихся туда людей. Нас с Лёвой тоже не пустили, и мы попробовали улизнуть за угол, чтобы там, спрятавшись, переждать всю эту официальщину. Но кто-то из администрации узнал Лёву и водворил нас на место. Академик толстенького типа нес несусветную чушь про золотого петушка, от которого А.А. давно отказалась. Поэтические дамы с волосами разных цветов истерически клялись в верности Ахматовой, прогудел какой-то поэт, и церемония кончилась. В толпе — в церкви и в Союзе — я замечала неподвижное и сосредоточенное лицо Кушнера и отчаянные глаза Бродского.

Москвичи — их было немного — резко отличались от ленинградцев: они вели себя так, будто Ахматова, которую они привезли на самолете, принадлежит им.

Ида Моисеевна Наппельбаум:

Траурный митинг открыл Михаил Дудин. Своим звонким, высокого тембра голосом он сказал уносящее ввысь поэтическое прощальное слово.

У рояля композитор Борис Тищенко прощался с поэтом звуками трагической музыки своего реквиема.

Длинной лентой вокруг постамента шли те, кто знал ее, казалось, вечно. А затем пошли те, кто знал ее только по книгам, как любимого поэта. Их было очень много. Долго двигалась по улице вереница читателей.

И был строгий порядок. И тишина. И склоненные головы. И цветы, цветы…

Ольга Федоровна Берггольц (1910–1975), *поэт. Из стенограммы траурного митинга у гроба Анны Ахматовой 10 марта 1966 г.:*

Анна Андреевна Ахматова! Она учила меня любить поэзию XX века. Поправляла меня. Она была моей любимейшей дорогой учительницей.

Анне Андреевне Ахматовой пришлось пережить на своем веку много горького и несправедливого. Я была рядом с нею и видела то безграничное мужество, с которым она все переносила. В ней не было озлобленности и уныния. В ней жила вера в поэзию, в величие человеческой души.

Ее поразительный талант расцветал вплоть до самого последнего времени. Последняя ее книга «Бег времени» поражает мужественностью и, самым драгоценным в поэзии, — человечностью.

Дорогая Анна Андреевна!

Мы прощаемся с Вами как с человеком, который смертен и который умер, но мы никогда не простимся с Вами как с поэтом, с Вашей трагически-победоносной судьбой.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Снова двинулись автобусы. В нашем, где гроб, были Кома, Володя, Томашевская, влезла на минуту Аня, и Лёва назвал ее племянницей… После короткой остановки у Фонтанного Дома машины двинулись в Комарово, а впереди бежала милицейская машина. От чего она охраняла мертвую? Ведь, как известно, «моя милиция меня бережет»…

Жан-Марк Бордье:

Хорошо помню дорогу в лесу, снег, толпу и постоянно мелькавшую фигуру Иосифа Бродского, которого кое-кто уже тогда называл ее «преемником». Как молодой поэт и переводчик стихов Ахматовой, я был среди тех, кто на руках нес гроб поэтессы к могиле на кладбище, которое так подходило для тихого и величественного вечного сна.

Надежда Яковлевна Мандельштам:

Последние впечатления: на кладбище небольшая кучка народу, кое-кто из них живет в Комарове. Почти все лица знакомые. Вдруг возник, произнес речь и исчез какой-то Михалков, направленный сюда московским Союзом после скандала.

Михаил Владимирович Ардов:

Впрочем, без глупостей и пошлостей не обошлось и на кладбище. Там слово получил Михалков, он говорил «от имени московских писателей, которые не успели попрощаться с Ахматовой», а кроме того объявил: «Настоящее искусство не имеет срока».

Слава богу, это продолжалось недолго, возле гроба появился священник и предал покойную земле.

Сильва Соломоновна Гитович:

…Гроб опустили в могилу. Поставили деревянный дубовый крест. Могильный холм утопал в живых цветах. Уже смеркалось. Я торопилась и прямо с кладбища уехала в город. В Будку я не пошла, там собрались родные и близкие и еще раз служили панихиду.

Михаил Владимирович Ардов:

На могиле был установлен сосновый крест. (Кстати сказать, изготовленный на киностудии «Ленфильм» по просьбе А. Баталова.)

На похоронах Ахматовой особенно запомнился мне Арсений Тарковский. Он единственный произнес человеческие слова над ее могилой: «Пусть ей земля будет пухом».

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Я помню, что когда Арсений Тарковский начал свою надгробную речь словами «С уходом Ахматовой кончилось…» —

все во мне воспротивилось: ничто не кончилось, ничто не могло и не может кончиться, пока существуем мы… Не потому, что мы стихи ее помним или сами пишем, а потому, что она стала частью нас, частью наших душ, если угодно. Я бы еще прибавил, что, не слишком-то веря в существование того света и вечной жизни, я тем не менее часто оказываюсь во власти ощущения, будто она следит откуда-то извне за нами, наблюдает как бы свыше: как это она и делала при жизни… Не столько наблюдает, сколько хранит.

Златоустая Анна Всея Руси

Корней Иванович Чуковский:

Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на робкую пятнадцатилетнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Н. С. Гумилёва, который тогда же, при первом знакомстве, назвал ее своей ученицей.

То было время ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов. Прошло два-три года, и в ее глазах, и в осанке, и в ее обращении с людьми наметилась одна главнейшая черта ее личности: величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость: «царственная», монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии.

С каждым годом она становилась величественнее. Нисколько не заботилась об этом, это выходило у нее само собой. За все полвека, что мы были знакомы, я не помню у нее на лице ни одной просительной, заискивающей, мелкой или жалкой улыбки.

При взгляде на нее мне всегда вспоминалось некрасовское:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц…

Даже в позднейшие годы, в очереди за керосином, селедками, хлебом, даже в переполненном жестком вагоне, даже в ташкентском трамвае, даже в больничной палате, набитой десятком больных, всякий, не знавший ее, чувствовал ее «спокойную важность» и относился к ней с особым уважением, хотя держалась она со всеми очень просто и дружественно, на равной ноге.

Владимир Григорьевич Адмони:

Есть широко распространенное, общепризнанное и совершенно верное представление о том, каким был внешний облик Ахматовой. Невозмутимость, величественность, царственность — вот какие слова обычно звучат, когда говорят о том, какой была Ахматова. И такие же слова звучали при ее жизни. Вспоминаю, как Наум Яковлевич Берковский, с присущей ему красочностью и выразительностью, в 1958 году писал нам летом: «По Комарову ходит Анна Андреевна, imperatrix, с развевающимися коронационными сединами, и, появляясь на дорожках, превращает Комарово в Царское Село».

Ганс Вернер Рихтер:

Видя, как величественно она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени правили не цари, а царицы.

Всеволод Николаевич Петров:

Анна Андреевна казалась царственной и величественной, как императрица — «златоустая Анна Всея Руси», по вещему слову Марины Цветаевой. Мне кажется, однако, что царственному величию Анны Андреевны недоставало простоты — может быть, только в этом ей изменяло чувство формы.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Ахматова вошла в столовую, и мы встали ей навстречу. Первое, что запомнилось, это ощущение легкости маленькой узкой руки, протянутой явно не для пожатия, но при этом удивительно просто, совсем не по-дамски. Сначала мне померещилось, что она в чем-то очень нарядном, но то, что я

было принял за оригинальное выходное платье, оказалось черным шелковым халатом с какими-то вышитыми драконами, и притом очень стареньким — шелк кое-где уже заметно посекся и пополз… В этом своем странноватом халате Анна Андреевна, по-видимому, чувствовала себя среди нас, парадно-визитных, как в самом элегантном туалете. Больше того, что-то царственное, как бы поверх нас существующее и в то же время лишенное малейшего высокомерия сквозило в каждом ее жесте, в каждом повороте головы.

Татьяна Михайловна Вечеслова:

Как-то у меня на Бородинской собрались мои товарищи по балету, драматические актеры, художники… Все уже давно пришли, а Анны Андреевны еще не было. В ожидании ее мы болтали, не садясь за стол. Она появилась в дверях — и вдруг все встали, даже молодежь, которая никогда не видела и не знала ее, — встали не сговариваясь, и молодые и старые, в едином порыве. Невозможно было сидеть, если она стояла. Это происходило не по обязанности, не по этикету, а вот так просто делалось само собой. Своим появлением она влияла на окружающих. Она была скромна и благородна. Достоинство и деликатность были ее природными качествами.

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я всегда поражался, как легко и естественно Анна Андреевна становилась центром любого общества, театрального, литературного, старого, молодого, какого угодно, — без малейшего намерения, как теперь говорят, «занимать площадку». Легко и естественно, потому что это происходило не из почтительности к «живому классику» (явление, впрочем, само по себе достаточно редкое), а по праву таланта, ума, знаний, прозрений — словом, по праву высшего духовного приоритета.

Маргарита Иосифовна Алигер:

Таково уж было свойство Анны Андреевны: без всякого намерения, помимо своей воли, она вытесняла, затмевала всех окружающих, они тушевались, стирались из памяти. Их словно не было, когда была она.

Исайя Берлин:

Анна Андреевна Ахматова держалась с необычайным достоинством, ее движения были неторопливы, благородная голова, прекрасные, немного суровые черты, выражение безмерной скорби. Я поклонился — это казалось уместным,

поскольку она выглядела и двигалась, как королева в трагедии.

Наталия Александровна Роскина:

И внешности, и душевному ее складу было присуще необычайное благородство, которое придавало гармоничную величавость всему, что она говорила и делала. Это чувствовали даже дети. Она мне рассказывала, как маленький Лёва просил ее: «Мама, не королевствуй!» Страх оказаться рядом с ней мелким сковывал самых близких ей людей. Она это понимала и часто страдала от этого

Татьяна Михайловна Вечеслова:

О царственности облика Ахматовой в старости говорят и пишут, кажется, все, кто ее знал, — это уже трюизм. Но без него действительно трудно обойтись, когда вспоминаешь ту совершенно естественную, ненаигранную, спокойную величавость, которая в последние годы стала ей свойственна и в походке, и в жесте, и в повороте головы иногда, например, когда она что-нибудь внимательно слушала. Когда Анна Андреевна замедляла шаг перед закрытой дверью, казалось, что дверь должна перед ней сама отвориться, кресло — придвинуться, белая шаль — лечь на ее плечи, и даже непочтительная приставучая наша собака Изора — отстать. Я не любил только, когда к этой естественной царственности примешивалось в ее тоне еще что-то совсем другое, что-то Петербургское, светское, чопорное, подмораживающее окружающих. Но это случалось редко и только при других гостях. Впрочем, Анна Андреевна могла сама тут же и снять этот тон.

Елена Константиновна Гальперина-Осмёркина

При всем своем внутреннем величии Анна Андреевна не оставалась равнодушной к поклонению. Помню ее встречу у нас с Дмитрием Николаевичем Журавлёвым. Запомнился мне этот вечер, потому что Ахматова была в несвойственном ей веселом настроении. Журавлёв читал стихи Пушкина, и она нежно благодарила его, с улыбкой подавая ему руку ладонью вверх. И он всякий раз неизменно учтиво поворачивал эту руку и целовал ее особенно почтительно. Самое удивительное, что не совпадало с привычным мне образом Ахматовой, было невиданное мною ранее ее веселое кокетство.

Анатолий Генрихович Найман:

Она бывала капризна, деспотична, несправедлива к людям, временами вела себя эгоистично и как будто напоказ прибавляла

к явлению и понятию «Анна Ахматова» все новые и новые восторги читателей, робость и трепет поклонников, само поклонение как определяющее качество отношения к ней. Вольно и невольно она поддерживала в людях желание видеть перед собой фигуру исключительную, не их ранга, единственную — и нужную им, чтобы воочию убеждаться в том, сколь исключительным, какого ранга может быть человек. И то, что она в самом деле была такой фигурой, выглядело — с близкого расстояния — естественной основой и побудителем ее поведения, а главным и самостоятельным, чуть ли не обособившимся от первопричины, казалось поведение.

Иосиф Александрович Бродский. *Из бесед с Соломоном Волковым:*

Близкие знакомые называли ее «королева-бродяга», и действительно в ее облике — особенно когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры — было нечто от странствующей, бесприютной государыни.

Дмитрий Евгеньевич Максимов:

Фон, на котором выступает образ Ахматовой, — строжайший минимум бытового реквизита. Не просто безбытность, а великолепное, хотя и совсем не подчеркнутое, не «поданное», но осуществленное наделе презрение к быту. Скудный, пунктирный интерьер дома Анны Андреевны, если позволено употребить это слово, не имел ничего общего с палаццами писателей-нуворишей, владельцев двухэтажных дач, автомобилей и гарнитуров красного дерева. Бывая у Ахматовой везде, где она жила за последние 30 лет в Ленинграде, я всегда сталкивался с редчайшей, «студенческой» скромностью или даже, называя вещи своими именами, бедностью. Маленький, еле существующий письменный столик, кровать, шкаф (?), книжная полочка (?), «укладка» или чемодан для рукописей, кресло, стул или стулья — все это, с некоторыми вариантами, можно было встретить во всех жилищах Анны Андреевны. И с этим связывалось впечатление неухоженности, жизненного неустройства, наводящее на вопрос, не то реальный, не то риторический: обедала ли Анна Андреевна сегодня или ограничилась чаем и яичницей? Так думалось об Ахматовой даже в самые последние годы ее жизни, когда она стала получать приличные гонорары и, казалось, могла обновить свою обстановку и изменить образ своей жизни.

Но с такими мыслями и в этой обстановке мы, посетители Анны Андреевны, становились свидетелями поразительного явления, которое ошеломляло бы нас каждый раз, если бы мы не

ожидали увидеть его и, видя, к нему не привыкли. В комнатной беспредметности и щемящей бесприютности перед нами возникала, встречая и провожая нас до передней, повелительница мощной державы — поэтической или иной — не в этом суть.

Да где бы Ахматова ни находилась — дома, на прогулке, на эстраде, в гостях, — ее сопровождал ореол значимости и значительности. Я видел ее оживленно разговаривающей, больной, даже плачущей, но всегда она оставалась человеком необычайно сильным («всех сильней на свете»), С болью, порожденной не только жизнью, но и самим устройством ее души, ее «изначальным замыслом», она мужественно несла посланный ей судьбой «дополнительный» тяжелейший груз бед, который для других был бы непосильным. Не будучи аристократкой по рождению, она была аристократически простой, естественной в обращении, слегка торжественной, но без чопорности и надменности. Это был аристократизм человеческого достоинства, ума и таланта.

Не забуду, когда, сидя у нас дома на диване, Анна Андреевна величественно слушала граммофонную запись своего голоса (первую или одну из первых). Голос читал размеренно, на очень ровной интонации, без резких звуковых сдвигов и модуляций. Голос был низкий, густой и торжественный…

Аманда Хейт:

Анна Андреевна Ахматова в старости была мало похожа на портреты высокой гибкой молодой поэтессы, которые я видела, хотя в профиль можно было узнать, в самом деле, то самое лицо. Годы полуголодного существования отложились впоследствии некоторой излишней полнотой, но я чувствовала, что она несет ее как царица. И вообще, что-то королевское было во всем, что ее касалось. Она недвусмысленным образом давала аудиенцию — ибо как еще описать способ, которым она терпеливо принимала поток бесконечных посетителей: людей из издательств; людей, расспрашивающих ее о ее творчестве; людей, желающих знать о ее умерших современниках.

Наталия Александровна Роскина:

В последний раз я видела Анну Андреевну в Боткинской больнице, в середине февраля 1966 года. Она сидела в кресле в коридоре и ждала — не придет ли кто. Посетителей было то очень много, то никого. В тот день, кроме меня, никто не пришел, и я провела у Анны Андреевны больше двух часов…

Потом мы зашли в палату, и я вынула кое-что из сумки. Анна Андреевна посмотрела и обрадовалась: «Сок — вот спасибо! А то

все почему-то яблоки приносят». (Яблоки ей было трудно жевать.) Я побежала искать открывалку. Анна Андреевна отпила. Эта старая тучная женщина, сидевшая на высокой больничной кровати, в тапочках на босу ногу, все равно выглядела по-королевски с чашечкой сока в руке, а рядом сияли прекрасные нарциссы, которые накануне принес Кома Иванов. «Вишневый — это мой любимый». От этих слов я ушла в хорошем настроении, и ничто, ничто не подсказало мне, что я больше никогда ее не увижу.

Лев Адольфович Озеров:

Вынесли тело Ахматовой и положили его на помост, мимо которого стали двигаться люди — те, кто только что заполнял двор. Это длилось долго. Потом тело унесли, и через некоторое время появился цинковый гроб, в оконце которого я увидел Анну Андреевну в ее знаменитой шали. Это было видение царевны в гробу, возвышенное видение, запомнившееся на всю жизнь.

Краткая летопись жизни и творчества А. А. Ахматовой

1889, 11 (23) июня. В дачной местности Большой Фонтан под Одессой родилась Анна Андреевна Ахматова (урожд. Горенко, в замужестве Гумилёва.). Отец, Андрей Антонович Горенко (1848–1915), — инженер-механик Черноморского флота. Мать — Инна Эразмовна (1856?–1930; в девичестве Стогова).

1890–1905. Детские годы Ахматовой прошли в Царском Селе под Петербургом. Здесь она училась в Царскосельской (Мариинской) женской гимназии. Каникулы проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты.

1903. Знакомство с Н. С. Гумилёвым.

1905. Развод родителей. Переезд с матерью в Евпаторию, «… где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии…».

1906–1907. Учеба в выпускном классе Киево-Фундуклеевской гимназии.

1907. «На руке его много блестящих колец…» — первая публикация Ахматовой. Стихотворение появилось в парижском журнале «Сириус», издававшемся Н. С. Гумилёвым.

1908–1909. Учеба на юридическом отделении Киевских Высших женских курсов.

1910, 8 мая (25 апреля). Венчание с Н. С. Гумилёвым. Поездка в Париж.

1911. Поступает на Женские курсы в Петербурге. Знакомится с Блоком. Первая публикация под псевдонимом Анна Ахматова — стихотворение «Старый портрет» («Всеобщий журнал». 1911, № 3). Печатается в журналах «Gaudeamus», «Аполлон». Организован «Цех поэтов», Ахматова избрана секретарем.

1912, март. Выходит первый сборник стихов, «Вечер» (тираж 300 экз.).

1912, апрель-май. Путешествие с Н. С. Гумилёвым по Северной Италии.

1912, 18 сентября (1 октября). Родился сын Лев.

1913–1914. Стихи Ахматовой печатаются в «Гиперборее», «Аполлоне», «Русской мысли», «Ниве» и других периодических изданиях.

1914, март. Выходит вторая книга стихов, «Чётки» (тираж 1000 экз.).

1917, сентябрь. Выходит третий сборник стихов, «Белая стая».

1918, 5 августа. Официальный развод с Н. С. Гумилёвым.

1918, декабрь. Брак с ученым-ассириологом В. К. Шилейко.

1921. Выходит «Подорожник», четвертый сборник стихов (тираж 1000 экз.).

1921, лето. Разрыв с В. К. Шилейко.

1921, ночь с 3 на 4 августа. Арест Н. С. Гумилёва.

1921, 7 августа. Смерть А. Блока.

1921, 10 августа. На похоронах Блока узнает об аресте Н. С. Гумилёва, обвинявшегося в участии в контрреволюционном заговоре.

1921, 25 августа. Расстрел Н. С. Гумилёва.

1922, октябрь. Выходит пятый сборник стихов, «Anno Domini» (тираж 2000 экз.).

1922, январь. Знакомство с Б. Пастернаком.

1922, конец года. Выходит замуж за искусствоведа Н. Н. Пунина.

1925. «С середины двадцатых годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые — перепечатывать». «В 1925 г. ЦК вынес пост, (не опублик. в печати) об изъятии меня из обращения».

1933, Статья «Последняя сказка Пушкина», посвященная «Сказке о золотом петушке».

1934, ночь с 13 на 14 мая. В своей московской квартире на глазах Ахматовой арестован О. Мандельштам.

1935, 27 октября. Арест Н. Н. Пунина и Л. Н. Гумилёва.

1935, 30 октября. М. Булгаков помогает Ахматовой составить письмо Сталину с просьбой об облегчении участи мужа и сына.

1935, 3 ноября. Н. Н. Пунин и Л. Н. Гумилёв освобождены.

1936, январь. Вместе с Б. Пастернаком хлопочет в прокуратуре СССР о смягчении участи О. Мандельштама.

1936, 5—11 февраля. Поездка к сосланным в Воронеж Мандельштамам.

1938, 10 марта. Арестован Л. Н. Гумилёв.

1938, весна. Последняя встреча с О. Мандельштамом.

1938, ночь с 1 на 2 мая. В подмосковном доме отдыха «Саматиха» арестован О. Мандельштам.

1938, 19 сентября. Расстается с Н. Н. Пуниным.

1938, 24 декабря. В пересыльном лагере под Владивостоком скончался О. Мандельштам. Похоронен там же, в общей могиле.

1939, 26 июля. Решением Особого совещания при НКВД СССР Лев Гумилёв осужден на пять лет исправительно-трудовых лагерей.

1940, Выходит сборник стихов «Из шести книг».

1940, ночь на 27 декабря. Начало работы над «Поэмой без героя».

1941, июнь, Москва, за несколько дней до войны. Первая и

последняя встреча с Мариной Цветаевой.

1941, конец сентября. Ахматову самолетом эвакуируют из блокадного Ленинграда в Москву.

1941–1944. Живет в эвакуации в Ташкенте.

1943, 10 марта. Кончается срок ссылки Л. Н. Гумилёва; в конце 1944-го он добровольцем уходит на фронт.

1944, май — июнь. Возвращение из Ташкента в Москву, а затем в Ленинград.

1944, лето. Выезжает на Ленинградский фронт с чтением стихов.

1944, декабрь. Творческий вечер в Ленинградском доме писателей.

1945, 16 ноября. Первая встреча с английским философом и общественным деятелем Исайей Берлином.

1946, февраль. В журналах «Звезда» и «Ленинград» публикуются произведения Ахматовой.

1946, 2 апреля. Авторский вечер Ахматовой и Б. Пастернака в Московском клубе писателей.

1946, 3 *апреля.* Вечер московских и ленинградских поэтов в Колонном зале Дома союзов.

1946, 11 июля. Выступление Ахматовой по Ленинградскому радио.

1946, 14 августа. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград».

1946, 16 августа. Доклад А. А. Жданова на Ленинградском общегородском собрании писателей, работников литературы и издательств в Смольном.

1946, сентябрь. Исключение А. Ахматовой и М. Зощенко из Союза писателей СССР.

1948, 26 августа. Арест Н. Н. Пунина.

1948, 6 ноября. Арест Л. Н. Гумилёва. Ахматова сжигает большую часть архива и рукописей.

1950, март. Материалы в отношении Ахматовой выделены из следственного дела Л. Н. Гумилёва в особое производство.

1950, 24 апреля. Письмо А. Ахматовой И. В. Сталину: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, вправе ли я просить Вас о снисхождении к моему несчастью. 6 ноября 1949 г. в Ленинграде был арестован мой сын, Лев Николаевич Гумилёв, кандидат исторических наук. Сейчас он находится в Москве (в Лефортове). Я уже стара и больна и я не могу пережить разлуку с единственным сыном. Умоляю Вас о возвращении моего сына. Моей лучшей мечтой было увидеть его работающим во славу советской науки. Служение Родине для него, как и для меня, священный долг».

1950, 14 июня. Докладная записка министра госбезопасности СССР В. С. Абакумова И. В. Сталину «о необходимости ареста поэтессы Ахматовой».

1950, 13 сентября. Л. Н. Гумилёв приговорен Особым совещанием при МГБ СССР к заключению в исправительно-трудовых лагерях сроком на десять лет «за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию».

1951, 19 января. Решение о восстановлении Ахматовой в составе Союза писателей СССР.

1951, 22 мая. Первый инфаркт.

1953, 21 августа. В лагере в Абези умер Н. Н. Пунин.

1954, 5 мая. Встреча с английской студенческой делегацией в Ленинградском доме писателей.

1954, 15–26 декабря, Москва. Участие в работе II Всесоюзного съезда писателей.

1955, май. Ленинградское отделение Литфонда выделяет Ахматовой дачный домик в писательском поселке Комарово; это свое жилище Ахматова называла Будкой.

1955, сентябрь. Хлопоча за сына, записывается на прием к М. Шолохову.

1956, весна. Л. Н. Гумилёв освобождается из лагеря.

1957, февраль. Встреча (в доме Ардовых) с вернувшейся из ссылки Ариадной Эфрон, дочерью М. Цветаевой.

1958, 31 октября. Б. Пастернак исключен из Союза писателей после номинации на Нобелевскую премию (за роман «Доктор Живаго»),

1959, сентябрь. А. Твардовский, главный редактор «Нового мира», предлагает Ахматовой публиковаться в своем журнале.

1959, 30 мая. Скончался Б. Пастернак.

1961, октябрь. Ахматова госпитализирована в связи с обострением хронического аппендицита. После операции — третий инфаркт.

1962. Закончена работа над «Поэмой без героя».

1962, август. Выдвинута на Нобелевскую премию.

1962, 8 декабря. У Н. Н. Глен впервые перенесен на бумагу «Реквием».

1963. Хлопочет по делу обвиняемого в тунеядстве И. Бродского.

1964, май. В музее В. В. Маяковского состоялся торжественный вечер, посвященный 75-летию Ахматовой.

1964, 12 декабря. В замке Урсино (Италия) Ахматовой вручена литературная премия «Этна-Таормина», приуроченная к пятидесятилетию поэтической деятельности и к выходу в Италии

сборника ее избранных произведений.

1964, 15 декабря. Оксфордский университет (Англия) принимает решение присвоить А. А. Ахматовой степень почетного доктора литературы.

1965, 9 мая. Л. Шилов в Комарове записывает на магнитофон «Реквием» в чтении Ахматовой, дав обещание не распространять запись до тех пор, пока поэма не будет опубликована в СССР.

1965, 5 июня. Торжественная церемония облачения в мантию доктора литературы (Оксфорд).

1965, 17–21 июня. Встречи с Ю. Анненковым, Б. Анрепом и Г. Адамовичем в Париже.

1965. Выходит «Бег времени», последний прижизненный сборник Ахматовой.

1965, 19 октября. Торжественный вечер в Большом театре, посвященный 700-летию со дня рождения Данте. Последнее публичное выступление.

1965, 10 ноября. Четвертый инфаркт.

1966, 4 марта, санаторий в Домодедово (под Москвой). Последняя запись в дневнике. Вечером, ложась спать, жалела, что не захватила с собой Библию.

1966, 5 марта. В 11 часов утра Анна Андреевна Ахматова умерла.

1966, 10 марта. Отпевание в соборе Николы Морского (Ленинград). Похоронена А. А. Ахматова в поселке Комарово, под Ленинградом

Библиографическая справка

Тексты печатаются по следующим изданиям:

Анна Ахматова: Pro et Contra. В 2 т. / Сост., коммент., вступ. статья С. А. Коваленко. СПб., 2005.

Ардов М. В., Ардов Б. В., Баталов А. В. Легендарная Ордынка. СПб., 1997.

Ахматова А. А. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 5. Биографическая проза / Сост., коммент., вступ. статья С. А. Коваленко. М., 2001.

Ахматовский сборник / Сост. С. Дедюкин, Г. Суперфин. Париж, 1989.

Баженов М. Биохроника // Анна Ахматова. «Узнают голос мой…» М., 1995.

Виленкин В. Я. В сто первом зеркале. М., 1990. Воспоминания об Анне Ахматовой / Сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных; коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанов. М.,1991.

Герштейн Э. Г. Воспоминания. СПб., 1998.

Найман А. Г. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1989.

Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Ч. 1–4. М., 1996–2003.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. В 3 т. / Подгот. текста и коммент. Е. Ц. Чуковской, Е. Б. Ефимова, Ж. О. Хавкиной. М., 1997.

В оформлении книги использованы автопортрет А. Ахматовой, а также рисунки А. Модильяни, В. Милашевского, Н. Альтмана, С. Судейкина, А. Тышлера, Г. Неменовой, Л. Сморгона. В оформлении обложки использован рисунок М. Синяковой.

notes

Примечания

1

О себе *(лат.)*.

2

Пропуск в тексте.

3

В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена
В зеленый плащ и в платье огне-алом.
(Данте. Чистилище. XXX. 31–33. Пер. М. Лозинского.)

4

Список запрещенных книг *(лат.)*.

5

Книги имеют свою судьбу *(лат.)*.